

Владимир БОГОМОЛОВ

*Десять лет
существо*

Владимир
БОГОМОЛОВ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ



boranov

Владимир БОГОМОЛОВ

Десять лет

существо

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Б70

Дизайн Татьяны Костериной

Богомолов, В.О.
Б70 Десять лет спустя / Владимир Осипович Богомолов. — М.: Книжный Клуб 36.6, 2013. — 384 с.

ISBN 978-5-98697-306-7

В настоящий сборник повестей и рассказов Владимира Богомолова включены не только широко известные произведения, как повести «Иван», «Зося», рассказы «Первая любовь», «Кладбище под Белостоком», «Сердца моего боль», неоднократно переиздаваемые, так и менее известные читателям короткие рассказы и миниатюры, а также ранее не публиковавшиеся рассказы «Академик Челышев», «Десять лет спустя», несколько новелл, находившихся в творческом наследии писателя, и эссе «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-98697-306-7

© В.О. Богомолов (наследники), 2013
© «Книжный Клуб 36.6», оформление, 2013

АВТОР О СЕБЕ

Родился в июле 1926 года в Подмоскowie, в деревне Кирилловке, где и воспитывался у бабушки и деда до десятилетнего возраста.

Бабушка — воплощение доброты — маленькая, худенькая, любившая меня без меры (при живых разошедшихся родителях она считала меня сиротой), была и осталась самым светлым человеком в моей жизни.

Дед являл собой полную противоположность: огромный, феноменальной силы и, мягко говоря, суровости человек со сломанной судьбой. В двадцать пять лет он вернулся с русско-японской войны кавалером двух Георгиевских крестов и спустя неделю в престольный праздник, в пьяной драке на речке на льду ударами кулаков в головы убил двух молодых парней из соседнего села. Каторгу он отбывал на рудниках под Нерчинском — как рассказывала впоследствии бабушка, первые три года был подземным кандалником, прикованным цепью к тачке. Когда началась мировая война, он, как и многие осужденные, написал прошение царю и был отправлен на фронт, где в 1916 году стал полным Георгиевским кавалером. На родину в Саратовскую губернию он не вернулся и поселился под Москвой. Каторга ему дала многое: он был отменный плотник и кузнец, скоро и добротнo ставил избы, клал русские печи и голландки — к нему постоянно обращались из окрестных и дальних деревень.

Мне исполнилось, наверно, три года, когда он решил заняться моим трудовым воспитанием. Я должен был постоянно находиться рядом с ним, ловить его команды, подавать ему инструмент, бегать по его поручениям — именно бегать, а не ходить — и сопровождать его, причем и в четыре года, и в десять лет, если меня нечем было нагрузить, чтобы я не бездельничал, он давал мне в качестве поноски свой картуз. Это была весьма суровая школа; когда, к примеру, в четырехлетнем возрасте я, по глупости, сорвал с клумбы в соседском палисаде одну или две розы, дед солдатским ремнем выпорол меня так, что я потерял сознание и потом неделю пролежал на животе. С пяти лет он порол меня систематически, без какой-либо причины и весьма жестоко, чтобы, как он говорил, «добавить ума»; при этом мне категорически запрещалось плакать.

Я рассказываю о своем деду подробно потому, что в детстве, в огромном непонятном еще мире, он был главным для меня человеком и то, что он постоянно, год за годом вбивал в мое сознание, безусловно, осталось

и живет в памяти по сей день. Некоторые из его постулатов сегодня, своим языком, я сформулировал бы так:

«Ты пришел в эту жизнь, где ты никому не нужен. Не жди милости от людей или от Бога, — тебе никто и ничего не должен! Надейся только на самого себя, вкалывай в поте лица, выживай!»

«Чем бы ты ни занимался, выкладывайся в отделку. Делай все добросовестно, хорошо и, по возможности, лучше других».

«Власть — зло. Держись подальше от начальства! У них своя жизнь, а у тебя своя!»

«Никогда ни к кому не лезь! Не угодничай, не подлаживайся и никого не бойся. Не давай себя в обиду. Пусть лучше тебя убьют, чем унижат!»

В жизни сложилось так, что дед, война и армия, особенно зрелые и пожилые солдаты, сержанты и офицеры — некоторые из них были старше меня на 30 и даже на 35 лет, — оказались в детстве и в юности моими главными учителями, можно сказать, что они меня воспитали и сформировали мой характер и мои убеждения — жажда познания, и, в частности, чтение книг, овладела мною уже в совершеннолетнем возрасте, точнее, после войны.

В 1936 году, после гибели деда — на строительстве картофелехранилища свалившимся бревном ему перебило позвоночник, — мать взяла меня в Москву. Воспоминания о предвоенной жизни в столице тусклы и безрадостны — в такой бедности, точнее нищете, как в подростковом возрасте, я никогда больше не оказывался.

Начало войны я воспринял по недомыслию с мальчишеским оживлением и подъемом. Отправиться в армию меня подбили двое приятелей, оба были старше меня, они и надоумили прибавить себе два года, что сделать при записи добровольцем было просто. Спустя три месяца, в первом же бою, когда залегшую на мерзлом поле роту накрыло залпом немецких минометов, я пожалел об этой инициативе. Оглушенный разрывами, я приподнял голову и увидел влево и чуть впереди бойца, которому осколком пропорол шинель и брюшину; лежа на боку, он безуспешно пытался поместить в живот вывалившиеся на землю кишки. Я стал взглядом искать командиров и обнаружил впереди — по сапогам — лежавшего ничком взводного — у него была снесена затылочная часть черепа. Всего же во взводе одним залпом из 30 человек убило 11. Эта картина живет во мне уже шестое десятилетие — такого страха и ощущения безнадежности, как в эти минуты, я никогда больше не испытывал.

Спустя недели я привык ко всему и тяготы войны и окопной жизни переносил легче многих других. Как с малолетства приучил меня дед, я делал все добросовестно, без промедления выполнял команды и, несмотря на малое образование и возраст, постепенно рос. Я был последовательно рядовым, командиром отделения, помкомвзвода, командиром взвода — стрелкового, автоматчиков, пешей разведки, — в конце войны исполнял должность командира роты.

Война, армия и послевоенное офицерство в смысле познания людей и жизни дали мне чрезвычайно много. Я побывал в десятках областей России, Украины и Белоруссии, в Прибалтике, Польше, Германии и Маньчжурии — в сотнях городов и других населенных пунктов. Это был необычайно насыщенный опыт — к примеру, только за лето и осень срок пятого года мне довелось наблюдать немцев в Германии, китайцев в Маньчжурии, японцев на Южном Сахалине, чукчей и эскимосов на Чукотке.

Как офицер я был на хорошем счету, служилось легко, и меня ничуть не насторожило словосочетание в очередной сугубо положительной послевоенной аттестации: «...наряду с тем допускает элементы невыдержанности — в разговоре со старшими высказывает собственное несогласное мнение, на что ему дважды указывалось».

Как человек с малым образованием, я собирал и записывал афоризмы, изречения известных людей и, в частности, выловил высказывание второго тогда в государстве лица Г. Маленкова: «В сложной ситуации не только коммунист, но и каждый советский человек должен поступать так, как ему подсказывают его совесть и его убеждения». Я проносил этот афоризм в записной книжке около года, а потом при случае реализовал: в Германии на офицерском совещании по поводу чрезвычайного происшествия с весьма громкой оглаской выступил в защиту малоизвестного офицера — его дружно делали козлом отпущения (и, разумеется, сделали).

Меня пытались остановить, но я процитировал Маленкова и продолжал говорить. Я высказал свое «несогласное мнение» в лицо начальникам и — более того — заявил об их ответственности за произошедшее. На четвертые сутки я был арестован и освобожден только спустя 13 месяцев — без суда и без каких-либо извинений. Мне возвратили удостоверение личности, комсомольский билет, расчетную и вещевую книжки и через неделю выплатили денежное довольствие за 14 месяцев.

Я потерял в весе 9 килограммов, мне полагался отпуск за два года, и вместе с должностями в Прикарпатском округе мне предлагали путевку в военный санаторий. Я ни на что не соглашался, будучи убежден, что государство или армия должны принести мне официальные извинения, однако все делали вид, что ничего не произошло. Я обратился в военную прокуратуру, от нетерпения дал весьма энергичную телеграмму и вскоре получил ответ на форменном бланке с подписью, заверенной гербовой печатью. Полковник юстиции, словно не заметив моих конкретных вопросов, сообщил, что проведенные мною в тюремных камерах 13 месяцев (из них 9 месяцев в карцерных одиночках) являются «стажем службы на должностях офицерского состава Советской Армии» и только так должны быть отражены в личном деле и других документах.

На следующий день я написал рапорт об увольнении, дав себе слово больше никогда нигде не служить и не состоять, — эту клятву я неукоснительно держал, что во многом предопределило анахоретский образ моей

жизни и занятие литературой. Я решил также по возможности дистанцироваться — свести до минимума контакты с государством и всеми его учреждениями — эта линия поведения соблюдается мною уже пятое десятилетие.

Я разделял и разделяю понятия Отечество, Россия и государство, и когда относительно последнего у меня неоднократно возникало сомнение — а правильно ли я выстроил с ним свои отношения? — я доставал справку прокуратуры, и сразу все становилось на свои места.

В Москву, где перед войной окончил семилетку, я вернулся в полной неопределенности. Если в армии на различных должностях я вполне соответствовал, то как найти свое место в гражданской жизни с таким образованием и принятым решением «не служить и не состоять», я совершенно не представлял. Перед увольнением я прошел положенное госпитальное обследование, и при этом в затылочной части головы были обнаружены два мелких осколка, — я проносил их без малого десятилетие, ничуть о том не подозревая: в войну в медсанбатах и госпиталях мне ни разу не делали рентген черепа. Меня уволили по собственному желанию, хотя, как выяснилось в Москве, должны были комиссовать, поскольку эти крохотные кусочки металла являлись основанием для назначения пенсии. Я ее оформил и получал восемь лет, все это время занимаясь самообразованием.

По сути, я делал привычное, то же самое, что и в армии: собирал, классифицировал, сопоставлял и анализировал тематическую информацию — в войсковой разведке это называется «массированием компетенции». Я очень много читал, в том числе и о войне, меня коробило от множества нелепейших несуразностей, особенно в художественной литературе, полагаю, именно это побудило меня написать повесть «Иван». С одной стороны, это трагическая судьба двенадцатилетнего мальчика на войне, с другой — профессионально точное описание «зеленой тропы», переброски через линию фронта разведчика, в данном случае юного героя повести.

4.04.58 г. я отправил почтой по экземпляру рукописи в редакции журналов «Юность» и «Знамя», ровно через месяц, в один день, мне сообщили о решении этих редакций опубликовать повесть. В «Знамени», чтобы опередить «Юность», вынули из готовой корректуры десятки страниц, и досылком «Иван» был опубликован в июньском номере журнала. Это оказалось неожиданностью — перед тем «Ивана» через третьих лиц показали опытнейшему старшему редактору издательства «Художественная литература», кандидату наук, и он на листе бумаги написал сугубо отрицательный отзыв. Он обнаружил в «Иване» «влияние Ремарка, Хемингуэя и Олдингтона» и вчинил мне модное тогда обвинение в «окопной правде». Приговор его был безапелляционным: «Эту повесть или рассказ никто и никогда не напечатает». Этот вердикт по сей день хранится у меня в кабинете, рядом с полками, где находятся 218 публикаций переведенного более чем на сорок языков «Ивана».

Издательская моя судьба, в отличие от офицерской, сложилась довольно благополучно. Трудности возникли только при публикации романа

«Момент истины» («В августе сорок четвертого...»). Редакция «Юности» отправила несколько экземпляров рукописи на так называемые «экспертно-консультационные чтения» — было получено четыре официальных заключения Главных управлений КГБ и Министерства обороны. Во всех, как поговору, требовали изъять целиком две главы: со Сталиным и эпизод с генералами, а также убрать в остальном тексте отдельные абзацы и фразы.

Я не отдал ни одного слова, но противостояние длилось более года. Эти люди уловили в рукописи то, что впоследствии высказывали наиболее компетентные читатели и кратко сформулировал К.Симонов: «Это роман не о военной контрразведке. Это роман о советской государственной и военной машине сорок четвертого года и типичных людях того времени».

С июня 1959 года в течение более двух десятилетий меня многожды письменно и устно приглашали вступить в Союз писателей — Г.Березко, С.Щипачев, Л.Соболев, Ю.Бондарев, С.С.Смирнов, К.Симонов, С.Наровчатов, В.Карпов и др. Несколько раз предлагали оформить членство без прохождения приемной комиссии — «решением Секретариата».

Каждого, кто меня вербовал, я спрашивал: «Если я вступлю, стану ли я писать лучше, смогу ли сделать лучше хоть одну фразу?» Мне отвечали примерно одинаково, что писать лучше я не стану, но у меня будет поликлиника, дома творчества, какие-то ссуды, зарубежные поездки, талоны на покупку автомобиля. С.Наровчатов всерьез сказал мне, что в Союзе писателей есть какой-то старик-еврей, ритуальный агент, и если я стану членом, он меня «хорошо, достойно похоронит». Ни в чем этом я не нуждался, за предложения благодарил и, естественно, отказывался.

Трижды меня вербовали в Союз кинематографистов; в 1962 году — И.Пырьев, в 1967 году — Г.Марьямов, в 1988 году — А.Смирнов.

В 1963 году меня пригласил в ЦК КПСС зав. сектором литературы И.Черноуцан, в его кабинет тут же зашел заместитель заведующего идеологическим отделом Д.Поликарпов, и они сразу заговорили о членстве. Я им объяснил, что для того, чтобы писать прозу, достаточно иметь бумагу и ручку или карандаш, что же касается членского билета, то это на любителя. Я сказал им, что, если Союз писателей действительно организация добровольная, то тут нет предмета для разговора.

Замечу, что я никогда не считал себя лучше или умнее членов КПСС или творческих объединений, просто у них была своя жизнь, а у меня — своя, и любая иная оказалась бы неприемлемой. Я никогда не предлагал другим свой опыт, к сожалению, никем не повторенный, однако исключать его не следует. У меня — с переводными — около двухсот только отдельных книжных изданий моих произведений — четыре полки, — не считая более трехсот различных сборников и антологий, где опубликованы мои повести и рассказы, причем и после громогласно объявленной смерти советской литературы меня издают и переводят, как и раньше.

Опыт мой свидетельствует — для того, чтобы быть в литературе, для того, чтобы твои произведения бесперебойно выходили в свет и через

20, и через 35 лет после первой публикации, совершенно необязательны ни какое-либо членство, ни участие в литературных группировках, ни общественная деятельность — она десятилетиями сводилась и сводится к обслуживанию, поддержке и, более того, восславлению правящего режима — совершенно необязательны ни подмахивание конъюнктуре, ни пресмыкательство перед властью имущими, ни мелькание в средствах массовой информации, ни элементы публицити — все это ненужная корыстная суета...

Богомолов

Повести

ИВАН

1

В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре ноль-ноль, в девятом часу улегся спать.

Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час.

— Товарищ старший лейтенант... а товарищ старший лейтенант... разрешите обратиться... — Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плашки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода находившегося в боевом охранении. — Тут задержали одного... Младший лейтенант приказал доставить к вам...

— Зажгите лампу! — скомандовал я, мысленно выругавшись: могли бы разобраться и без меня.

Васильев зажег сплюсненную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил:

— Ползал в воде возле берега. Зачем — не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал...

Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной, намокшей плащ-палатки.

Гильза разгорелась, осветив просторную землянку, — у самых дверей я увидел худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробрала меня.

— Иди стань к печке! — велел я ему. — Кто ты такой?

Он подошел, рассматривая меня настороженно-сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато-серое от въевшейся в кожу грязи. Мокрые, неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь.

— Кто ты такой? — повторил я.

— Пусть он выйдет, — клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева.

— Подложите дров и ожидайте наверху! — приказал я Васильеву.

Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и, так же не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку.

— Ну, что же молчишь? Откуда ты?

— Я Бондарев, — произнес он тихо с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объясняла. — Сейчас же сообщите в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь.

— Ишь ты! — я не мог сдержать улыбки. — Ну а дальше?

— Дальше вас не касается. Они сделают сами.

— Кто это «они»? В какой штаб сообщить и кто такой пятьдесят первый?

— В штаб армии.

— А кто это пятьдесят первый?

Он молчал.

— Штаб какой армии тебе нужен?

— Полевая почта вэ-че сорок девять пятьсот пятьдесят...

Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить.

Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые; говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы; судя поговору, он был уроженцем города.

Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья, настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал.

— Сними с себя все и разотрись. Живо! — приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце.

Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с проступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце.

— Бери, бери! Оно грязное.

Он принялся растирать грудь, спину, руки.

— И штаны снимай! — скомандовал я. — Ты что, стесняешься?

Он так же молча, повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти-одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям.

— А сушить кто будет — дядя? — поинтересовался я.

— Мне все привезут.

— Вот как! — усомнился я. — А где же твоя одежда?

Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их.

Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне — меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с пятиалтынный, родинка. Пovyше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения.

— Что это у тебя?

Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал.

— Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине? — повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник.

— Это вас не касается. И не смейте кричать! — ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами, однако ватник взял. — Ваше дело — доложить, что я здесь. Остальное вас не касается.

— Ты меня не учи! — раздражаясь, прикрикнул я на него. — Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя

фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты, и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю.

— Вы будете отвечать! — с явной угрозой заявил он.

— Ты меня не пугай, — ты еще мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком: откуда ты?

Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону.

— Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но, пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду! — объявил я решительно.

Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал.

— Ты будешь говорить?

— Вы должны сейчас же доложить в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь, — упрямо повторил он.

— Я тебе ничего не должен, — сказал я раздраженно. — И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу!.. Кто это пятьдесят первый?

Он молчал, сбывшись, сосредоточенно.

— Откуда ты?.. — с трудом сдерживаясь, спросил я. — Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил!

После продолжительной паузы — напряженного раздумья — он выдавил сквозь зубы:

— С того берега.

— С того берега? — я не поверил. — А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?

— Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать — вы будете отвечать! И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только пятьдесят первый. Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня. И все! За мной приедут! — убежденно выкрикнул он.

— Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?

Он молчал.

Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали? — за войну я привык ничему не удивляться.

Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно и даже властно: он

не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление; его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью.

Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему; а я еще сосну часика два и отправлюсь проверять охранение.

Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка.

— Третий слушает, — я услышал голос начальника штаба капитана Маслова.

— Товарищ капитан, восьмой докладывает! У меня здесь Бондарев. Бон-да-рев! Он требует, чтобы о нем было доложено «Волге»...

— Бондарев?.. — переспросил Маслов удивленно. — Какой Бондарев? Майор из оперативного, поверяющий, что ли? Откуда он к тебе свалился? — засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный.

— Да нет, какой там поверяющий! Я сам не знаю, кто он: он не говорит. Требует, чтобы я доложил в «Волгу» пятьдесят первому, что он находится у меня.

— А кто это пятьдесят первый?

— Я думал, вы знаете.

— Мы не имеем позывных «Волги». Только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании?

— Звания у него нет, — невольно улыбаясь, сказал я. — Это мальчик... понимаете, мальчик лет двенадцати...

— Ты что, смеешься?.. Ты над кем развлекаешься?! — заорал в трубку Маслов. — Цирк устраивать?! Я тебе покажу мальчишка! Я майору доложу! Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе...

— Товарищ капитан! — закричал я, ошарашенный таким оборотом дела. — Товарищ капитан, честное слово, это мальчик! Я думал, вы о нем знаете...

— Не знаю и знать не желаю! — кричал Маслов запальчиво. — И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты...

— Так я думал...

— А ты не думай!

— Слушаюсь!.. Товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?

— Что делать?.. А как он к тебе попал?

— Задержан на берегу охранением.

— А на берег как он попал?

— Как я понял... — я на мгновение замялся. — Говорит, что с той стороны.

— «Говорит»! — передразнил Маслов. — На ковре-самолете? Он тебе плетет, а ты и развесил уши. Приставь к нему часового! — приказал он. — И, если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции — пусть занимается...

— Вы ему скажите: если он будет орать и не доложит сейчас же пятьдесят первому, — вдруг решительно и громко произнес мальчик, — он будет отвечать!..

Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и еще больше на Маслова.

Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я «временный». К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов — кстати, самый молодой из моих полковых начальников — не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды.

Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной... Не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться... Я был уверен, что Маслов неправ. Тем не менее мальчишке я сказал не без злорадства:

— Ты просил, чтобы я доложил о тебе, — я доложил! Приказано посадить тебя в землянку, — приврал я, — и приставить охрану. Доволен?

— Я сказал вам доложить в штаб армии пятьдесят первому, а вы куда звонили?

— Ты «сказал»!.. Я не могу сам обращаться в штаб армии.

— Давайте я позвоню, — мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку.

— Не смей!.. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?

Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо:

– Подполковника Грязнова.

Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии; я знал его не только понаслышке, но и лично.

– Откуда ты его знаешь?

Молчание.

– Кого ты еще знаешь в штабе армии?

Опять молчание, быстрый взгляд исподлобья – и сквозь зубы:

– Капитана Холина.

Холин – офицер разведывательного отдела штабарма – также был мне известен.

– Откуда ты их знаешь?

– Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь, – не ответив, потребовал мальчишка, – или я сам позвоню!

Отбрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым.

– Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать, – твердо заявил я, стараясь подавить волнение. – Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина.

– Откуда он их знает? – спросил Маслов устало.

– Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову.

– Если считаешь, что нужно, докладывай, – с каким-то безразличием сказал Маслов. – Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой. Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Несolidно!

– Так разрешите мне позвонить?

– Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай... А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит.

Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову...

– Ясно, – прервал меня Дунаев. – Ожидайте. Я доложу.

Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон.

— Восьмой?.. Говорите с «Волгой», — сказал телефонист.

— Гальцев?.. Здорово, Гальцев! — я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова; я не мог его не узнать: Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии, я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно. — Бондарев у тебя?

— Здесь, товарищ подполковник!

— Молодец! — я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к мальчишке. — Слушай внимательно! Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем — никаких разговоров! Вник?.. От меня передай ему привет. Холин выезжает за ним, думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия! Обращайся по деликатней, учти: он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш. Что он напишет — в пакет и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедля доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми, и пусть спит. Это наш парень. Вник?

— Так точно! — ответил я, хотя мне многое было неясно.

* * *

— Кушать хочешь? — спросил я прежде всего.

— Потом, — промолвил мальчик, не подымая глаз.

Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок.

Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся докрасна печке; мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою — иглы сосны и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу.

Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом.

— Да я не буду, не буду смотреть, — поспешно заверил я.

Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть два ведра воды и доставить в землянку вместе с большим казаном. Я уловил удивление в голосе сержанта, повторявшего в трубку мое приказание. Я заявил ему, что хочу мыться, а была половина второго ночи, и, наверно, он, как и Маслов, подумал, что я выпил или же мне делать нечего. Я приказал также подготовить Царивного — расторопного бойца из пятой роты — для отправки связным в штаб полка.

Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, что мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком: «...2... 4, 5...» Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал.

Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом; пальцы у него были с коротко обгрызенными ногтями, в ссадинах; шея и уши — давно не мытые. Время от времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, посапывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода, — не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан, — а он все еще скрипел пером; на всякий случай я поставил ведро с водой на печку.

Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, послунив, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил так же тщательно.

Я вынес пакет связному — он ожидал близ землянки — и приказал:

— Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву...

Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено: как известно, у разведчиков имеются свои, недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.

Теперь я готов был ухаживать за ним, как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решался: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.

— Давай я спину тебе потру, — не выдержав, предложил я нерешительно.

— Я сам! — отрезал он.

Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку — он должен был ее надеть, — и помещивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин: пшенную кашу с мясом.

Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим; только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные: правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, наверно, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.

Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчужденность уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.

Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и оставил котелок; затем так же молча выпил кружку очень сладкого — я не пожалел сахара — чаю с печеньем из моего допайка и поднялся, вымолвив тихо:

— Спасибо.

Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нарах. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладошку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «создать все условия»... Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать...

Стараясь не шуметь, я собрался — надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат — и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать.

Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно.

Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.

Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу, — ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями: по ночам немцы методично, — как говорил наш командир полка, «для профилактики», — каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и самую реку.

Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацана», быть может решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику.

Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плес Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..

Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении — я учил его чуть ли не наизусть, — в этом, рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: «...если же температура воды ниже + 15°, то

переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможна». Это если ниже +15°, а если примерно +5°?

Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.

Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошел нас очередью. Я приказал немедленно заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.

В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулеметной площадкой окопе.

— Товарищ старший лейтенант, как там, с огольцом разобрались? — глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил, стоя у пулемета, и не курил.

— А что такое? — поинтересовался я, настораживаясь.

— Так. Думается, не просто это. В такую ночь последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец — его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.

— Да, мутность есть вроде, — подтвердил другой не очень уверенно. — Молчит и смотрит, говорят, волчонком. И раздет почему?

— Мальчишка из Новоселок, — неторопливо затянувшись, соврал я (Новоселки было большое, наполовину сожженное село километрах в четырех за нами). — У него немцы мать угнали, места себе не находит... Тут и в реку полезешь.

— Вон оно что!..

— Тоскует, бедолага, — понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня; свет сигарки освещал его широкое темное, поросшее щетиной лицо. — Страшней нет, чем тоска! А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так, — мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета.

— Бдительный я, — глухим голосом упрямо объявил Юрлов. — И ты меня не укоряй, не переделаешь! Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена!.. Хватит!.. А в тебе доброты и доверия под самую завязку, одолжил бы немцам чуток, души помазать!.. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите: где одёжа его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это; я считаю — подозрительно!..

— Ишь, спрашивает, как с подчиненного, — усмехнулся пожилой. — Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стылость, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся...

...Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блуждал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.

К моему удивлению, мальчик не спал.

Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно — легкий пар шел изо рта.

— Еще не приехали? — в упор спросил мальчик.

— Нет. Ты спи, спи. Приедут — я тебя разбужу.

— А он дошел?

— Кто он? — не понял я.

— Боец. С пакетом.

— Дошел, — сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нем и о пакете.

Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:

— Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?

— Нет, не слышал. А что?

— Так. Раньше не говорил. А сейчас — не знаю. Нервеность во мне какая-то, — огорченно признался он.

Вскоре приехал Холин. Рослый темноволосый красавец лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким

чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:

— Иван!

При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски.

Это была встреча больших друзей — несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:

— ...Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь...

— В Диковке немцев — к берегу не подойдешь, — сказал мальчик, виновато улыбаясь. — Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середине выбился да еще судорога прихватила — думал, конец...

— Так ты что — вплавь?! — изумленно вскричал Холин.

— На полене. Ты не ругайся — так пришлось. Лодки наверху и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? Враз застукают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло... не знаю, как выплыл.

Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу, — мальчика снесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл...

Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил:

— Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить — нам соглядатаи ни к чему. Вник?..

Это «вник» подполковника Грязнова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вникни!».

Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.

На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным под-

воротничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника — их в полку было несколько, — только на гимнастике не было погон; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.

Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.

— Ну, где ты пропал? — однако сказал он, выказывая недовольство. — Давай еще кружку и садись.

На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им еда: сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в сумочном чехле. На нарах лежал дубленый мальчицкий полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.

Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками, нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки: мне и себе до половины, а мальчику на палец.

— Со свиданьем! — весело, с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку.

— За то, чтоб я всегда возвращался, — задумчиво сказал мальчик.

Холин, быстро взглянув на него, предложил:

— За то, чтобы ты поехал в суворовское училище и стал офицером.

— Нет, это потом! — запротестовал мальчик. — А пока война — за то, чтоб я всегда возвращался! — упрямо повторил он.

— Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу!

Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен: выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая.

Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел неторопливо, будто неохотно.

— Ты ешь давай, ешь! — приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.

— Отвык помногу, — вздохнул мальчик. — Не могу.

К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» — мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:

— Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на середку стола, предложил нам:

— Угощайтесь.

— Нет, брат, — отказался Холин. — После водки не в цвет.

— Тогда поехали, — вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол. — Подполковник ждет меня, чего же сидеть?.. Поехали! — потребовал он.

— Сейчас поедем, — с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка; он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место. — Сейчас поедем, — повторил он невесело и поднялся.

Меж тем мальчик примерил шапку.

— Вот черт, велика!

— Меньше не было. Я сам выбирал, — словно оправдываясь, пояснил Холин. — Но нам только доехать, что-нибудь придумаем...

Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул:

— Сколько же добра пропадает, а!

— Оставь ему! — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения. — Ты что, голодный?

— Ну что ты!.. Просто фляжка — табельное имущество, — отшутился Холин. — И конфеты ему ни к чему...

— Не будь жмотом!

— Придется... Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!.. — снова вздохнул Холин и обратился ко мне: — Убери

часового от землянки. И вообще посмотри. Чтоб нас никто не видел.

Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:

— А в машине сена — целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся — и до самого штаба.

— Ну, Ванюша, прощай! — я протянул руку мальчику.

— Не прощай, а до свидания! — строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлобья.

Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу разглядел его.

— Родионов, — тихо позвал я часового.

— Я, товарищ старший лейтенант! — послышался совсем рядом, за моей спиной хриплый, простуженный голос.

— Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.

— Слушаюсь! — Боец исчез в темноте.

Я обошел кругом — никого не было. Шофер «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.

Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и приоткрыл ее.

— Давайте!

Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, послышался короткий разговор вполголоса — Холин разбудил водителя, — заработал мотор, и «додж» тронулся.

3

Старшина Катасонов — командир взвода из разведроты дивизии — появился у меня три дня спустя.

Ему за тридцать, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями, глазки голубовато-серые, живые. Симпатичным, выражающим кротость лицом Катасонов походит на кролика. Он скромн, тих и неприметен. Говорит, заметно шепелявя, — может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из луч-

ших в нашей армии охотников за языками. В дивизии его зовут ласково: «Катасоныч».

При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев — эти дни я не раз думал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике: он должен знать. Ведь это он, Катасонов, в ту ночь ждал с лодкой у Диковки, где «немцев столько, что к берегу не подойдешь».

Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей, не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей.

Они зашились, а я зол и раздражен: только что прослушал по телефону нудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном: требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим: он редкостный любитель писанины.

Послушав его, можно подумать, что, если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело, выходит, во мне. Маслов требует, чтобы я «лично вкладывал душу» в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, «вкладываю», но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря: мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться, и с нетерпением жду: когда же пришлют настоящего командира батальона — пусть он отдувается!

Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет.

— Ты чего, ко мне? — оборачиваясь к нему, наконец спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать: Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП¹ и оказывать содействие.

— К вам, — говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь. — Немца бы посмотреть...

¹ НП — наблюдательный пункт.

— Ну что ж... посмотри, — помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона.

Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП.

Катасонов в стереотрубу «смотрит немца». И я тоже смотрю, хотя мне все знакомо.

За широким плесом Днепра — сумрачного, щербатого на ветру — вражеский берег. Вдоль кромки воды — узкая полоска песка; над ней — террасный уступ высотой не менее метра, и далее отлогий, кое-где поросший кустами глинистый берег; ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров в восемь, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расползутся по окопам, будут постреливать в темноту и до утра пускать осветительные ракеты.

У воды на песчаной полоске того берега — пять трупов. Три из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно, тронуты разложением — я наблюдаю их вторую неделю. А два свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном — тельняшка, ясно различимая в стереотрубу.

— Ляхов и Мороз, — не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов.

Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось.

...Четверо суток назад разведгруппа — пять человек — ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. Языка взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось (правда, по дороге один погиб, подорвавшись на mine, а язык уже в лодке был ранен пулеметной очередью). Эти же двое — Ляхов (в тельняшке) и Мороз — залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей.

Убиты они были в глубине вражеской обороны; немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание.

— Забрать их надо бы... — закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов.

Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве.

— Ванюшка-то?.. — Катасонов смотрит на меня, и лицо его озаряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой. — Чудный малец! Только характерный, беда с ним! Вчера прямо баталия была.

— Что такое?

— Да разве ж война — занятие для него?.. Его в школу посылают, в суворовскую. Приказ командующего. А он уперся — и ни в какую! Одно твердит: после войны! А теперь воевать, мол, буду, разведчиком.

— Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет.

— Э-э, разве его удержишь! Ему ненависть душу жжет!.. Не пошлют — сам уйдет. Уже уходил раз... — вздохнув, Катасонов смотрит на часы и спохватывается: — Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду? — указывая рукой, спрашивает он.

Спустя мгновения, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит подлеском.

* * *

С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа третьего батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов Катасонов в течение двух суток «смотрит немца», делая заметки и кроки в полевом блокноте. Мне докладывают, что всю ночь он провел на НП у стереотрубы, там же он находится и утром, и днем, и вечером, и я невольно ловлю себя на мысли: когда же он спит?

На третий день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми. Вымолвив: «Подержись и не говори, что мало!» — стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев и я изгибаюсь от боли.

— Ты мне понадобишься! — предупреждает он, затем, взяв трубку, звонит в третий батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым.

— ...К тебе подъедет Катасонов — поможешь ему!.. Он сам объяснит... И покорми в обед горяченьким!.. Слушай дальше: если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после тринадцати ноль-ноль, — наказывает Холин. — И ты мне тоже потребуешься! Подготовь схему обороны и будь на месте...

Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на десять старше его. И к Рябцеву и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера; точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба, но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он, чувствуется, убежден, что разведка — самое главное в боевых действиях войск и поэтому все обязаны ему помогать.

И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я собираюсь заниматься и есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит:

— Захвати схему обороны, и пойдем посмотрим твои войска...

Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало наслышан от разведчиков о нем, о его бесстрашии и находчивости, и я молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины.

Спустя примерно четверть часа, просмотрев поденное дело¹ и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский «додж» с кузовом, затянутым брезентом, стоит недалеко под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту; рядом — Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают; когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону. Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня, по обыкновению стеснительно улыбаясь.

¹ Поденное дело — дело, куда в батальоне подшиваются все приказы, распоряжения и приказания штаба полка.

— Ну ладно, давай! — говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает. — Посмотрите все хорошенько и отдыхайте! Часика через два-три я подойду...

Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. «Додж» отъезжает в сторону третьего батальона. Настроение у Холина приподнятое, он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный день; так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди: вдоль опушки свежестрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения — траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более ста метров.

При некомплекте личного состава в батальоне отрыть ночами такой ход (причем силами одной лишь роты!) было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу, но он, глянув мельком, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты — основной и вспомогательные. Я показываю.

— Тишина-то какая! — не без удивления замечает он и, став за кустами близ опушки, в цейссовский бинокль рассматривает Днепр и берега — отсюда, с небольшого пригорка, видно все как на ладонке. Мои же «войска» его, по-видимому, мало интересуют.

Он смотрит, а я стою сзади без дела и, вспомнив, спрашиваю:

— А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда?

— Мальчик? — рассеянно переспрашивает Холин, думая о чем-то другом. — А-а, Иван!.. Много будешь знать — скоро состаришься! — отшучивается он и предлагает: — Ну что ж, давай опробуем твое метро!

В траншее темно. Кое-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем, чуть пригнувшись, и кажется, конца не будет этому сырому, мрачному ходу. Но вот впереди светает, еще немного — и мы в окопе боевого охранения, метрах в пятнадцати от Днепра.

Молодой сержант, командир отделения, докладывает мне, искоса разглядывая широкогрудого, представительного Холина.

Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи, верно, потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке.

Я знаю, что Холин — под настроение — любитель поговорить и побалагурить. Вот и теперь, достав пачку «Беломора», он угощает меня и бойцов папиросами и, прикуривая сам, весело замечает:

— Ну и жизнь у вас! На войне, а вроде ее и нет совсем. Тишь да гладь — божья благодать!..

— Курорт! — мрачно подтверждает пулеметчик Чупахин, долговязый, сутулый боец в ватных куртке и брюках. Стянув с головы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Проходит несколько секунд — выстрелы доносятся с того берега, и пули тонко посвистывают над головой.

— Снайпер? — спрашивает Холин.

— Курорт, — угрюмо повторяет Чупахин. — Грязевые ванны под присмотром любящих родственников...

...Той же темной траншеей мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. Хотя это вполне естественно, что противник бодрствует и ведет непрерывное наблюдение, Холин вдруг делается хмурым и молчаливым.

На НП он в стереотрубу минут десять рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов, листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Я с ним не согласен, но молчу.

— Ты знаешь, кто это там, в тельняшке? — спрашивает он меня, имея в виду убитых разведчиков на том берегу.

— Знаю.

— И что же, не можешь их вытащить? — говорит он с недовольством и презрительно. — На час дела! Все указаний свыше ждешь?

Мы выходим из блиндажа, и я спрашиваю:

— Чего вы с Катасоновым высматриваете? Поиск, что ли, готовите?

— Подробности в афишах! — хмуро бросает Холин, не взглянув на меня, и направляется чащобой в сторону третьего батальона. Я, не раздумывая, следую за ним.

— Ты мне больше не нужен! — вдруг объявляет он, не оборачиваясь. И я останавливаюсь, растерянно смотрю ему в спину и поворачиваю назад, к штабу.

«Ну, подожди же!..» Бесцеремонность Холина раздражила меня. Я обижен, зол и ругаюсь вполголоса. Проходящий в стороне боец, поприветствовав, оборачивается и смотрит на меня удивленно.

А в штабе писарь докладывает:

— Майор два раза звонили. Приказали вам доложиться...

Я звоню командиру полка.

— Как там у тебя? — прежде всего спрашивает он своим медлительным, спокойным голосом.

— Нормально, товарищ майор.

— Там к тебе Холин приедет... Сделай все, что потребуется, и оказывай ему всяческое содействие...

«Будь он неладен, этот Холин!..» Меж тем майор, помолчав, добавляет:

— Это приказание «Волги». Мне сто первый звонил...

«Волга» — штаб армии; «сто первый» — командир нашей дивизии полковник Воронов. «Ну и пусть! — думаю я. — А бегать за Холиным я не буду! Что попросит — сделаю! Но ходить за ним и напрашиваться — это уж, как говорится, извини-подвинься!»

И я занимаюсь своими делами, стараясь и не думать о Холине.

После обеда я захожу в батальонный медпункт. Он размещен в двух просторных блиндажах на правом фланге, рядом с третьим батальоном. Такое расположение весьма неудобно, но дело в том, что и землянки и блиндажи, в которых мы размещаемся, отрыты и оборудованы еще немцами, — понятно, что о нас они менее всего думали.

Новая, прибывшая в батальон дней десять назад военфельдшер — статная, лет двадцати, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами — в растерянности прикладывает руку к... марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, и пытается мне доложить. Это не рапорт, а робкое, невнятное бормотание; но я ей ничего не говорю. Ее предшественник, старший лейтенант Востриков — старенький, страдавший астмой военфельдшер, — погиб недели две назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопен. А она?.. Пока я ею недоволен.

Военная форма — стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра, и хромовые сапожки на стройных ногах — все ей очень

идет: военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть.

Между прочим, она мне землячка, тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно б, влюбился и, ответь она мне взаимностью, был бы счастлив без меры, бегал бы вечером на свидания, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в Нескучном... Но, увы, война! Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего военфельдшер. Причем не справляющийся со своими обязанностями.

И я неприязненным тоном говорю ей, что в ротах опять «форма двадцать»¹, а белье как следует не прожаривается и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир, не бралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санинструкторов и санитаров.

Она стоит передо мной, вытянув руки по швам и опустив голову. Тихим, прерывистым голосом без конца повторяет: «Слушаюсь... слушаюсь... слушаюсь», — заверяет меня, что старается и скоро «все будет хорошо».

Вид у нее подавленный, и мне становится ее жаль. Но я не должен поддаваться этому чувству — я не имею права ее жалеть. В обороне она терпима, но впереди форсирование Днепра и нелегкие наступательные бои — в батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизней во многом будет зависеть от этой девушки с погонами лейтенанта медслужбы.

В невеселом раздумье я выхожу из землянки, военфельдшер — следом.

Вправо, шагах в ста от нас, бугор, в котором устроен НП дивизионных артиллеристов. С тыльной стороны бугра, у подножия — группа офицеров: Холин, Рябцев, знакомые мне командиры батарей из артполка, командир минометной роты третьего батальона и еще два неизвестных мне офицера. У Холина и еще у двух в руках карты или схемы. Очевидно, как я и догадывался, подготавливается поиск, и проведен он будет, судя по всему, на участке третьего батальона.

Заметив нас, офицеры оборачиваются и смотрят в нашу сторону. Рябцев, артиллеристы и минометчик приветственно ма-

¹ Проверка по «форме двадцать» — осмотр личного состава подразделения на вшивость.

шут мне руками; я отвечаю тем же. Я ожидаю, что Холин окликнет, позовет меня — ведь я должен «оказывать ему всяческое содействие», но он стоит ко мне боком, показывая офицерам что-то на карте. И я оборачиваюсь к военфельдшеру.

— Даю вам два дня. Навести в санслужбе порядок и доложить!

Она что-то невнятно бормочет под нос. Сухо козырнув, я отхожу, решив при первой возможности добиваться ее откомандирования. Пусть пришлют другого фельдшера. И обязательно мужчину. До вечера я нахожусь в ротах: осматриваю землянки и блиндажи, проверяю оружие, беседую с бойцами, вернувшись из медсанбата, и забиваю с ними «козла». Уже в сумерках я возвращаюсь к себе в землянку и обнаруживаю там Холина. Он спит, развалясь на моей постели, в гимнастерке и шароварах. На столе записка: «Разбуди в 18.30. Холин».

Я пришел как раз вовремя и бужу его. Открыв глаза, он садится на нарах, позёвывая, потягивается и говорит:

— Молодой, молодой, а губа-то у тебя не дура!

— Чего? — не поняв, спрашиваю я.

— В бабах, говорю, толк понимаешь. Фельдшерица подходящая! — пройдя в угол, где подвешен рукомойник, Холин начинает умываться. — Если серьги вдеть, то можно... Только днем ты к ней не ходи, — советует он, — авторитет подмочишь.

— Иди ты к черту! — выкрикиваю я, озлясь.

— Грубиян ты, Гальцев, — благодушно замечает Холин. Он умывается, пофыркивая и отчаянно брызгаясь. — Дружеской подначки не понимаешь... И полотенце вот у тебя грязное, а могла бы постирать. Дисциплинки нет!

Вытерев лицо «грязным» полотенцем, он интересуется:

— Меня никто не спрашивал?

— Не знаю, меня не было.

— И тебе не звонили?

— Звонил часов в двенадцать командир полка.

— Чего?

— Просил оказывать тебе содействие.

— Он тебя «просит»?.. Вон как! — Холин ухмыляется. — Здорово у вас дело поставлено! — он окидывает меня насмешливо-пренебрежительным взглядом. — Эх, голова — два уха! Ну какое ж от тебя может быть содействие?..

Закурив, он выходит из землянки, но скоро возвращается и, потирая руки, довольный, сообщает:

— Эх и ночка будет — как на заказ!.. Все же Господь не без милости. Скажи, ты в бога веруешь?.. А ты куда это собираешься? — спрашивает он строго. — Нет, ты не уходи, ты, может, еще понадобишься...

Присев на нары, он в задумчивости напевает, повторяя одни и те же слова:

Эх, ночка темна,
А я боюся,
Ах, проводите
Меня, Маруся...

Я разговариваю по телефону с командиром четвертой роты и, когда кладу трубку, улавливаю шум подъехавшей машины. В дверь тихонько стучат.

— Войдите!

Катасонов, войдя, прикрывает дверь и, приложив руку к пилотке, докладывает:

— Прибыли, товарищ капитан!

— Убери часового! — говорит мне Холин, перестав напевать и живо поднимаясь.

Мы выходим вслед за Катасоновым. Моросит дождь. Близ землянки — знакомая машина с тентом. Выждав, пока часовой скроется в темноте, Холин расстегивает сзади брезент и шепотом зовет:

— Иван!..

— Я, — слышится из-под тента тихий детский голос, и через мгновение маленькая фигурка, появившись из-под брезента, спрыгивает на землю.

— Здравствуй! — говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданным дружелюбием протягивает руку.

Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим, щеки румянятся, Катасонов отряхивает с его полушубочка сенную труху, а Холин заботливо предлагает:

– Может, ляжешь, отдохнешь?

– Да ну! Полдня спал и опять отдыхать?

– Тогда достань нам чего-нибудь интересное, – говорит мне Холин. – Журнальчик там или еще что... Только с картинками!

Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красноармейца» и «Фронтовых иллюстраций». Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел – он откладывает их в сторону.

Сегодня он неузнаваем: разговорчив, то и дело улыбается, смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холину и Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно теплое чувство. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю ее и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы.

Тем временем Холин и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объемистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан. Засунув узел под нары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холин вполголоса говорит Катасонову обо мне:

– ...Ты бы послушал, как шпрехает – как фриц! Я его весной в переводчики вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует...

Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных, уговаривали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею: на разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком.

Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает:

– Ночь-то уж больно хороша!..

Он и Холин полусшепотом разговаривают о предстоящем деле, и я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам.

Для этого ими привезена малая надувная лодка «штурмовка», однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне. «Клевые тузики!» – шепчет он.

Вот черти — пронюхали!.. В батальоне пять рыбацких плоскодонок — мы их возим с собой уже третий месяц. Причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего две лодки, а не пять.

Мальчик грызет леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Просмотрев журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне:

— Вот это я прочту. Слушай, а патефона у тебя нет?

— Есть, но сломана пружина.

— Бедненько живешь, — замечает он и вдруг спрашивает: — А ушами ты можешь двигать?

— Ушами?.. Нет, не могу, — улыбаюсь я. — А что?

— А Холин может! — не без торжества сообщает он и обращается: — Холин, ну-ка покажи — ушами!

— Всегда — пожалуйста! — Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами; лицо его при этом остается совершенно неподвижным.

Мальчик, довольный, торжествующе смотрит на меня.

— Можешь не огорчаться, — говорит мне Холин, — ушами двигать я тебя научу. Это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки.

— А вы меня с собой возьмете? — неожиданно для самого себя спрашиваю я.

— Куда с собой?

— На тот берег.

— Видали, — кивает на меня Холин, — охотничек! А зачем тебе на тот берег?.. — и, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает: — Ты плавать-то хоть умеешь?

— Как-нибудь! И гребу и плаваю.

— А плаваешь как — сверху вниз? по вертикали? — с самым серьезным видом интересуется Холин.

— Да уж, думаю, во всяком случае не хуже тебя!

— Конкретнее. Днепр переплывешь?

— Раз пять, — говорю я. И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время. — Свободно раз пять, туда и обратно!

— Силе-ен мужик! — неожиданно хохочет Холин, и они втроем смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катасонов застенчиво улыбается.

Вдруг, сделавшись серьезным, Холин спрашивает:

— А ружьишком ты не балуешься?

— Иди ты!.. — раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса.

— Вот видите, — указывает на меня Холин, — завелся с пол оборота! Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться!

— Тогда я лодку не дам.

— Ну, лодку-то мы и сами возьмем — что у нас, рук нет? А случего позвоню комдиву, так ты ее на своем горбу к реке припрешь!

— Да будет вам, — вступается мальчик примиряюще. — Он и так даст. Ведь дашь? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да уж придется, — натянуто улыбаясь, говорю я.

— Так идем посмотрим! — берет меня за рукав Холин. — А ты здесь побудь, — говорит он мальчику. — Только не возись, а отдыхай.

Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его — там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, бинты. Перед тем как надеть ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью.

— Ух и нож! — восхищенно восклицает мальчик, и глаза у него загораются. — Покажи!

Я протягиваю ему нож; повертев его в руках, он просит:

— Слушай, отдай его мне!

— Я бы тебе отдал, но понимаешь... это подарок.

Я его не обманываю. Этот нож — подарок и память о моем лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте, вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку.

...На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой — первым в нашей дивизии — начал переправляться на правый берег. Связанные из бревен, жердей и бочек плотики миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел

над Котькиным плотиком... Что было там дальше, я не видел — трубка в руке телефониста прохрипела: «Гальцев, вперед!..» И я, а за мной вся рота — сто с лишним человек, — прыгнув через бруствер, бросились к воде, к точно таким же плотикам... Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу...

Я еще не решил, что сделаю с финкой: оставлю ее себе или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулок на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне...

— Я тебе другой подарю, — обещаю я мальчику.

— Нет, я хочу этот! — говорит он капризно и заглядывает мне в глаза. — Отдай его мне!

— Не жлобься, Гальцев, — бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова. — Не будь крохобором!

— Я тебе другой подарю. Точно такой! — убеждаю я мальчика.

— Будет у тебя такой нож, — обещает ему Катасонов, осмотрев финку. — Я достану.

— Да я сделаю, честное слово! — заверяю я. — А это подарок, понимаешь — память!

— Ладно уж, — соглашается наконец мальчик обидчивым голосом. — А сейчас оставь его — поиграться...

— Оставь нож и идем, — торопит меня Холин.

— И чего мне с вами идти? Какая радость? — застегивая ватник, вслух рассуждаю я. — Братъ вы меня с собой не берете, а где лодки, и без меня знаете.

— Идем, идем, — подталкивает меня Холин. — Я тебя возьму, — обещает он. — Только не сегодня.

Мы выходим втроем и подлеском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий, холодный дождь. Темно, небо затянуто сплошь — ни звездочки, ни просвета.

Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев — из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестренка полутора лет была убита на руках у мальчика во время отступления.

— Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось, — шепчет Холин. — Он и в партизанах был, и в Тростянце — в лагере смерти... У него на уме одно: мстить до последнего! Как рассказывает про лагерь или вспомнит отца, сестренку, — трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть...

Холин на мгновение умолкает, затем продолжает еле слышным шепотом:

— Мы тут два дня бились — уговаривали его поехать в суворовское училище. Командующий сам убеждал его: и похорошему и грозился. А в конце концов разрешил сходить, с условием: последний раз! Видишь ли, не посылать его — это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили: не посылать! Так он сам ушел. А при возвращении наши же — из охранения в полку у Шилина — обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого: ночь была темная, а никто ничего не знал!.. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удается. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лезут в боевых порядках немцев не далее войскового тыла¹. А проникнуть и легализироваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, пять—десять дней разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удается. Дело в том, что взрослый в любом обличье вызывает подозрение. А подросток, бездомный побирушка — быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу... Если б ты знал его поближе — о таком мальчишке можно только мечтать!.. Уже решено: если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его...

— Почему они, а не ты?

— Я бы взял, — шепчет Холин, вздыхая, — да подполковник против. Говорит, что меня самого еще надо воспитывать! — усмехаясь, признается он.

Я мысленно соглашаюсь с подполковником: Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчишке он сдерживается, мне даже кажется, что он побаивается Ивана.

Метрах в ста пятидесяти до берега мы сворачиваем в кустарник, где, заваленные ельником, хранятся плоскодонки. По

¹ На театре военных действий тыл подразделений, частей и соединений носит название войскового тыла (или же тактического), а тыл армий и фронтов — оперативного тыла.

моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались.

Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов осматривают лодки, щупают и простукивают днища и борта. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла в уключины, «гребут». Наконец выбирают одну, небольшую, с широкой кормой, на трех-четыре человек, не более.

— Вериги эти ни к чему. — Холин берется за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо. — Остальное сделаем на берегу. Сперва опробуем на воде...

Мы поднимаем лодку — Холин за нос, мы с Катасоновым за корму — и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами.

— А ну вас к маме! — вдруг тихо ругается Холин. — Подайте!..

Мы «подаем» — он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками ухватывается с двух сторон за края бортов и, чуть пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке.

У берега я обгоняю их — предупредить пост охранения, по видимому, для этого я и был им нужен.

Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем осторожно, чтобы не нашуметь, опускаем лодку на воду.

— Садитесь!

Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму — лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами — одним гребя, другим табаня, — разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт, так что того и гляди, зальется вода, потом, став на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище.

— Клевый тузик! — одобрительно шепчет Катасонов.

— Пойдет, — соглашается Холин. — Он, оказывается, действительно спец лодки воровать — дрянных не берет!.. Покайся, Гальцев, скольких хозяев ты обездолил?..

С правого берега то и дело, отрывистые и гулкие, над водой стучат пулеметные очереди.

— Садят в божий свет, как в копеечку, — шепелявя, усмеяется Катаносов. — Расчетливы вроде и прижимисты, а посмотришь — сама бесхозяйственность! Ну что толку палить

вслепую?.. Товарищ капитан, может, потом, под утро, ребят вытащим? — нерешительно предлагает он Холину.

— Не сегодня. Только не сегодня...

Катасонов легко подгрывает. Подчалив, мы вылезаем на берег.

— Что ж, забинтуем уключины, забьем гнезда солидолом, и все дела! — довольно шепчет Холин и поворачивается ко мне:

— Кто у тебя здесь в окопе?

— Бойцы, двое.

— Оставь одного. Надежного и чтоб молчать умел! Вник? Я заскочу к нему покурить — проверю!.. Командира взвода охранения предупреди: после двадцати двух ноль-ноль разведгруппа, возможно, — так и скажи ему: возможно! — подчеркивает Холин, — пойдет на ту сторону. К этому времени чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемет. — Холин указывает рукой вниз по течению. — Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну!.. Кто пойдет, как и зачем, — об этом ни слова! Учти: об Иване знаешь только ты! Подписки я от тебя брать не буду, но, если сболтнешь, я тебе...

— Что ты пугаешь? — шепчу я возмущенно. — Что я, маленький, что ли?

— Я тоже так думаю. Да ты не обижайся, — он похлопывает меня по плечу. — Я же должен тебя предупредить... А теперь действуй!..

Катасонов уже возится с уключинами. Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега.

Командир взвода охранения встречается мне неподалеку — он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку.

Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котькин нож, на груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок: стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом, ножки табурета торчат из-под нар.

— Слушай, ты не сердись, — просит меня мальчик. — Я нечаянно... честное слово, нечаянно...

Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно.

— Ты не сердишься? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да нет же, — отвечаю я, хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру.

Я молча устанавливаю все на места, мальчик помогает мне. Он поглядывает на пятно и предлагает:

— Надо воды нагреть. И с мылом... Я ототру!

— Да ладно, без тебя как-нибудь...

Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых — я не сомневаюсь, что Холин и Катасонов, позовившись с лодкой, проголодались не менее меня.

Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика:

— Ну как, прочел?

— Ага... Переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают. А им еще потом ордена навесили.

— А у тебя за что орден? — интересуюсь я.

— Это еще в партизанах...

— Ты и в партизанах был? — словно услышав впервые, удивляюсь я. — А почему же ушел?

— Блокировали нас в лесу, ну, и меня самолетом на Большую землю. В интернат. Только я оттуда скоро подорвал.

— Как — подорвал?

— Сбежал. Тягостно там, прямо невтерпеж. Живешь — крупу переводишь. И знай зубри: рыбы — позвоночные животные... Или значение травоядных в жизни человека...

— Так это тоже нужно знать.

— Нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему?.. Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю: зачем я здесь? Для чего?..

— Интернат — это не то, — соглашаюсь я. — Тебе другое нужно. Тебе бы вот в суворовское училище попасть — было бы здорово!

— Это тебя Холин научил? — быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно.

— При чем тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже повоевал: и в партизанах и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно: отдыхать, учиться! Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?..

— Это Холин тебя научил! — говорит мальчик убежденно. — Только зря!.. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдышать может тот, от кого пользы мало.

— Это верно, но ведь ты еще маленький!

— Маленький?.. А ты в лагере смерти был? — вдруг спрашивает он; глаза его вспыхивают лютой, недетской ненавистью, крохотная верхняя губа подергивается. — Что ты меня агитируешь, что?! — выкрикивает он взволнованно. — Ты... ты ничего не знаешь и не лезь!.. Напрасные хлопоты...

Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь.

— Все куришь, — недовольно замечает мальчик. Он любуется ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок. — От курева легкие бывают зеленые.

— Зеленые? — рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин. — Ну и пусть зеленые. Кому это видно?

— А я не хочу, чтобы ты курил! У меня голова заболит.

— Ну ладно, я выйду.

Холин подымается, с улыбкой смотрит на мальчика: заметив покрасневшее лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит:

— Опять возился?.. Это никуда не годится! Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись!

Мальчик послушно укладывается на нарах. Холин, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня «нервишки тряпичные», но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нем какую-то рассеянность или обеспокоенность; при всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется.

Он курит на воздухе минут десять (очевидно, не одну папиросу), возвращается и говорит мне:

— Часа через полтора пойдем. Давай ужинать.

— А где Катасоныч? — спрашивает мальчик.

— Его срочно вызвал комдив. Он уехал в дивизию.

— Как уехал?! — мальчик живо приподнимается. — Уехал и не зашел? Не пожелал мне удачи?

— Он не мог! Его вызвали по тревоге, — объясняет Холин. — Я даже не представляю, что там случилось... Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают...

— Мог бы забежать. Тоже друг... — обиженно и взволнованно говорит мальчик. Он по-настоящему расстроен. С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает:

— Так мы что же, вдвоем пойдем?

— Нет, втроем. Он пойдет с нами, — быстрым кивком указывает на меня Холин.

Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь.

— Ты не улыбься и не смотри, как баран на новые ворота. Тебе без дураков говорят, — заявляет Холин. Лицо у него серьезное и, пожалуй, даже озабоченное.

Я все же не верю и молчу.

— Ты же сам хотел. Ведь просился! А теперь что ж, трусишь? — спрашивает он, глядя на меня пристально, с презрением и неприязнью, так, что мне становится не по себе. И я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит.

— Я не трушу! — твердо заявляю я, пытаюсь собраться с мыслями. — Просто неожиданно как-то...

— В жизни все неожиданно, — говорит Холин задумчиво. — Я бы тебя не брал, поверь: это необходимость! Катасоныча вызвали срочно, понимаешь — по тревоге! Представить себе не могу, что у них там случилось... Мы вернемся часа через два, — уверяет Холин. — Только ты сам принимай решение. Сам! И случ-чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так случ-чего не скули: «Холин сказал, Холин просил, Холин меня втравил!..» Чтобы этого не было! Учти: ты сам напросился. Ведь просился?.. Случ-чего мне, конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься!.. Кого за себя оставить думаешь? — после короткой паузы деловито спрашивает он.

— Замполита... Колбасова, — подумав, говорю я. — Он парень боевой.

— Парень он боевой. Но лучше с ним не связываться. Замполиты — народец принципиальный; того и гляди, в политдонесение попадем, тогда неприятностей не оберешься, — поясняет

Холин, усмехаясь, и закатывает глаза кверху. — Спаси нас бог от такой напасти!

— Тогда Гущина, командира пятой роты.

— Тебе виднее, решай сам! — замечает Холин и советует: — Ты его в курс дела не вводи: о том, что ты пойдешь на тот берег, будут знать только в охране. Вник?.. Если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться?.. Ничего! К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на два часа. Куда?.. Допустим, в село, к бабе! Решил осчастливить какую-нибудь дуреху, — ты же живой человек, черт побери! Мы вернемся через два... ну, максимум через три часа, — подумаешь, большое дело!..

...Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное, и, если командование узнает, неприятностей действительно не оберешься. Но я уже решился и стараюсь не думать о неприятностях — мыслями я весь в предстоящем...

Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, месяца три назад я со своей ротой провел — причем весьма успешно — разведку боем. Но что такое разведка боем?.. Это, по существу, тот же наступательный бой, только ведется он ограниченными силами и накоротке.

Мне никогда не приходилось ходить в разведку, и, думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться...

Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем: мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катасонов не зашел пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары.

Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела.

Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению метров шестьсот до оврага — Холин показывает на карте.

— Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку, — объясняет он.

Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков третьего батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны.

В случае если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедля обнаружить себя, пуская красные ракеты — сигнал вызова огня, — отвлечь внимание немцев и любой ценой прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин.

В случае если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет «поддерживающие средства» — две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, две минометные и пулеметная рота — должны интенсивным артналетом с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллерийско-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке.

Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает:

— Тебе все ясно?

— Да, будто все.

Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит: а не потеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае артобстрела?

Холин разъясняет, что «он» — кивок в сторону мальчика — совместно с Катасоновым из расположения третьего батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый буторок. Что же касается артиллерийского налета, то цели пристреляны заранее и будет оставлен «проход» шириной до семидесяти метров.

Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво-печальный, устремив взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается.

Я рассматриваю на карте синие линии — эшелонированную в глубину оборону немцев — и, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю:

— Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Неужто в ней нет «слабины», разрывов, допустим, на стыках соединений?

Холин, прищурив карие глаза, смотрит на меня насмешливо.

— Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите! — заявляет он с некоторым пренебрежением. — Вам все кажется, что против вас основные силы противника, а на других участках слабенькое прикрытие, так, для видимости! Неужели же ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего?.. Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снилось! И за стыками они смотрят в оба — дурей себя не ищи: глупенькие да-авно перевелись! Глухая, плотная оборона на десятки километров, — невесело вздыхает Холин. — Чудак-рыбак, тут все не раз продумано. В таком деле с кондачка не действуют, учти!..

Он встает и, подсев к мальчику на нары, вполголоса и, как я понимаю, не в первый раз инструктирует его:

— ...В овраге держись самого края. Помни: весь низ минирован... Чаще прислушивайся. Замирай и прислушивайся!.. По траншеям ходят патрули, значит, подползешь и выжидай!.. Как патруль пройдет — через траншею и двигай дальше...

Я звоню командиру пятой роты Гущину и, сообщив ему, что он остается за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, я снова слышу тихий голос Холина:

— ...Будешь ждать в Федоровке... На рожон не лезь! Главное, будь осторожен!

— Ты думаешь, это просто — быть осторожным? — с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик.

— Знаю! Но ты будь! И помни всегда: ты не один! Помни: где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник тоже...

— А Катасоныч уехал и не зашел, — с чисто детской непоследовательностью говорит мальчик обидчиво.

— Я же тебе сказал: он не мог! Его вызвали по тревоге. Иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит! Ты же знаешь, что у него никого нет и ты ему дороже всех! Ведь знаешь?

— Знаю, — шмыгнув носом, соглашается мальчик, голос его дрожит. — Но все же мог забежать...

Холин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, я торопливо сучусь, но толком делать что-либо не в состоянии и, плюнув на все, сажусь писать письмо матери: я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я все рву и бросаю в печку.

— Время, — взглянув на часы, говорит мне Холин и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться.

Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары и облачается в зеленый маскхалат. Поглядывая на него, я одеваюсь так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они трещат в паху, и я в нерешимости смотрю на Холина.

— Ничего, ничего, — ободряет он. — Смелей! Порвешь — новые выпишем.

Маскхалат мне почти впору, правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги; они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность: чтобы «не наследить» на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маскхалата.

Вскоре мы готовы: финки и гранаты «Ф-1» подвешены к поясным ремням (Холин берет еще увесистую противотанковую — РПГ-40); пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху; прикрытые рукавами маскхалатов, надеты компасы и часы со светящимися циферблатами; ракетницы осмотрены, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах.

Мы уже готовы, а мальчик все лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону.

Из большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый изодранный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые, с заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее белье, старенькие, все штопанные, фуфайка и шер-

стяные носки, маленькая засаленная заплечная котомка, портянки и какие-то тряпки.

В кусок рядна Холин заворачивает продукты мальчику: небольшой — с полкилограмма — круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления, и сало не наше, армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли, да и хлеб не формовой, а подовый — из хозяйской печки.

Я гляжу и думаю: как все предусмотрено, каждая мелочь...

Продукты уложены в котомку, а мальчик все лежит не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление диска.

Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади.

— Смола, — говорит он. — Пусть отчистят.

— А может, их на склад и выписать новые? — предлагает Холин.

— Нет, пусть эти почистят.

Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю: ни дать ни взять бездомный отреспубли, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления.

В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки: шестьдесят или семьдесят немецких оккупационных марок. И все.

— Попрыгали, — говорит мне Холин; проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем. И мальчик тоже, хотя что у него может зашуметь?

По старинному русскому обычаю мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение недетской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и шесть дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке.

* * *

Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков (чтобы лучше видеть в темноте), мы идем к лодке: я впереди, мальчик шагах в пятнадцати сзади меня, еще дальше Холин.

Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался: никто, кроме нас, не должен его теперь видеть — Холин самым решительным образом предупредил меня об этом.

Справа из темноты доносятся негромкие слова команды: «Расчеты — по местам!.. К бою!..» Трещат кусты, и слышится матерный шепот — расчеты изготавливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов.

В операции, кроме нас, участвуют около двухсот человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас, шквалом огня обрушившись на позиции немцев. И никто из них не подозревает, что проводится вовсе не поиск, как был вынужден сказать Холин командирам поддерживающих подразделений.

Невдалеке от лодки находится пост охранения. Он был парный, но, по указанию Холина, я приказал командиру охранения оставить в окопе только одного — немолодого толкового ефрейтора Демина. Когда мы приближаемся к берегу, Холин предлагает мне пойти заговорить ефрейтора — тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Все эти предосторожности, на мой взгляд, излишни, но конспиративность Холина меня не удивляет: я знаю, что не только он — все разведчики таковы. Я отправляюсь вперед.

— Только без комментариев! — внушительным шепотом предупреждает меня Холин. Эти предупреждения на каждом шагу мне уже надоели: я же не мальчик и сам соображаю, что к чему.

Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня; отозвавшись, я подхожу, спрыгиваю в траншею и становлюсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке.

— Закуривай, — предлагаю я, достав папиросы и взяв одну себе, другую сую ему.

Мы присаживаемся на корточки, он чиркает отсыревшими спичками, наконец одна загорается, он подносит ее мне и прикуривает сам. В свете спички я замечаю, что в подбрустверной нише на слежавшемся сене кто-то спит, успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише — Катасонов. Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. Я, еще не сообразив, приподнимаю

ее — посеревшее, кроткое, как у кролика, лицо; над левым глазом маленькая аккуратная дырочка: входное пулевое отверстие...

— Глупо получилось-то, — тихо бормочет рядом со мной Демин, его голос доходит до меня будто издалека. — Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь, со мной говорил, а этот вылезать стал и только, значит, из окопа поднялся и тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрелов вроде не слышали... Капитан бросился к нему, трясет: «Капитоныч!.. Капитоныч!..» Глянули — а он наповал!.. Капитан приказал никому не говорить...

Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега...

— Без комментариев! — слышится со стороны реки его повелительный шепот. И я все понимаю: мальчик уходит на задание и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя — он ничего не должен знать.

Выбравшись из траншеи, я медленно спускаюсь к воде.

Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ним на корме, взяв автомат на изготовку.

— Садись ровнее, — шепчет Холин, накрывая нас плащ-палаткой. — Следи, чтобы не было крена!

Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Посмотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит: это сигнал начала операции.

Ему тотчас отвечают: справа из темноты, где в большом пулеметном окопе на фланге третьего батальона находятся командиры поддерживающих подразделений и артиллерийские наблюдатели, хлопает винтовочный выстрел.

Развернув лодку, Холин начинает грести — берег сразу исчезает. Мгла холодной ненастной ночи обнимает нас.

Я ощущаю на лице мерное горячее дыхание Холина. Он сильными гребками гонит лодку; слышно, как вода тихо всплескивает под ударами весел. Мальчик замер, притаясь под плащ-палаткой рядом со мной.

Впереди, на правом берегу, немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край, — вспышки не так яркие из-за дождя. И ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам.

С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга третьего батальона будут давать каждые пять-семь минут: они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег.

— Сахар! — шепчет Холин.

Мы кладем в рот по два кусочка сахара и старательно сосем их: это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха.

Мы находимся, верно, уже где-то на середине плеса, когда впереди отрывисто стучит пулемет — пули свистят и, выбивая звонкие брызги, шлепают по воде совсем неподалеку.

— МГ-34, — шепотом безошибочно определяет мальчик, доверчиво прижимаясь ко мне.

— Боишься?

— Немножко, — еле слышно признается он. — Никак не привыкну. Нервеность какая-то... И побираться — тоже никак не привыкну. Уж и тошно!

Я живо представляю, каково ему, гордому и самолюбивому, унижаться попрошайничая.

— Послушай, — вспомнив, шепчу я, — у нас в батальоне есть Бондарев. И тоже гомельский. Не родственник случаем?

— Нет. У меня нет родственников. Одна мать. И та не знаю, где сейчас... — голос его дрогнул. — И фамилия моя по правде Буслов, а не Бондарев.

— И зовут не Иван?

— Нет, звать Иваном. Это правильно.

— Тсс!..

Холин начинает грести тише — видимо, в ожидании берега. Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту: кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь.

Мы движемся еле-еле; еще миг, и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив весла, ступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу.

Минуты две мы напряженно вслушиваемся. Слышно, как капли дождя мягко шлепают по воде, по земле, по уже намок-

шей плащ-палатке; я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьется мое сердце. Но подозрительного — ни шума, ни голоса, ни шороха — мы уловить не можем. И Холин дышит мне в самое ухо:

— Иван — на месте. А ты вылазь и держи...

Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, ступаю в воду на прибрежный песок, поправляю автомат и беру лодку за корму. Я чувствую, что мальчик поднялся и стоит в лодке рядом со мной.

— Сядь. И накинь плащ-палатку, — ощупав его рукой, шепчу я.

— Теперь уж все равно, — отвечает он чуть слышно.

Холин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шепотом сообщает:

— Порядок! Все подшито, прошнуровано...

Оказывается, те кусты у воды, в которых мы должны оставить лодку, всего шагах в тридцати ниже по течению.

Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадемся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалеку, мы падаем на песок под уступом и лежим неподвижно, как мертвые. Уголком глаза я вижу мальчика — одежда его потемнела от дождя. Мы с Холиным вернемся и переоденемся, а он...

Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. «Трупы наших разведчиков», — догадываюсь я.

— Что это? — чуть слышно спрашивает мальчик.

— Фрицы, — быстро шепчет Холин и увлекает его вперед. — Это снайпер с нашего берега.

— Ух, гады! Даже своих раздевают! — с ненавистью бормочет мальчик, оглядываясь.

Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов, где спрятана лодка, до этих трупов триста с чем-то метров. А до оврага нужно пройти еще примерно столько же.

Вскоре мы минуем еще один труп. Он совсем разложился — тошнотворный запах чувствуется на расстоянии. С левого берега, врезаясь в дождливое небо у нас за спиной, снова уходит трасса. Овраг где-то близко; но мы его не увидим: он не освещается ракетами, верно, потому, что весь низ его минирован,

а края окаймлены сплошными траншеями и патрулируются. Немцы, по-видимому, уверены, что здесь никто не сунется.

Этот овраг — хорошая ловушка для того, кого в нем обнаружат. И весь расчет на то, что мальчик проскользнет незамеченным.

Холин наконец останавливается и, сделав нам знак присесть, сам уходит вперед.

Скоро он возвращается и еле слышно командует:

— За мной!

Мы перемещаемся вперед еще шагов на тридцать и присаживаемся на корточки за уступом.

— Овраг перед нами, прямо! — отогнув рукав маскхалата, Холин смотрит на светящийся циферблат и шепчет мальчику: — В нашем распоряжении еще четыре минуты. Как самочувствие?

— Порядок.

Некоторое время мы прослушиваем темноту. Пахнет трупом и сыростью. Один из трупов — он заметен на песке метрах в трех вправо от нас, — очевидно, и служит Холину ориентиром.

— Ну, я пойду, — чуть слышно говорит мальчик.

— Я провожу тебя, — вдруг шепчет Холин. — По оврагу. Хотя бы немного.

Это уже не по плану!

— Нет! — возражает мальчик. — Пойду один! Ты большой — с тобой застукают.

— Может, мне пойти? — предлагаю я нерешительно.

— Хоть по оврагу, — спрашивает Холин шепотом. — Там глина — наследишь. Я пронесу тебя!

— Я сказал! — упрямо и зло заявляет мальчик. — Я сам!

Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. А может, мне только кажется...

— До встречи, — помедлив, шепчет он Холину.

— До встречи! — Я чувствую, что они обнимаются и Холин целует его. — Главное, будь осторожен! Береги себя! Если мы двинемся — ожидай в Федоровке!

— До встречи, — обращается мальчик уже ко мне.

— До свидания! — с волнением шепчу я, отыскивая в темноте его маленькую узкую ладошку, и крепко сжимаю ее. Я ощущаю желание поцеловать его, но сразу не решаюсь. Я страшно

волнуюсь в эту минуту. Перед этим я раз десять повторяю про себя: «До свидания», чтобы не ляпнуть, как шесть дней назад: «Прощай!»

И, прежде чем я решаюсь поцеловать его, он неслышно исчезает во тьме.

7

Мы с Холиным притаились, присев на корточки вплотную к уступу, так, что край его приходился над нашими головами, и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо, холодный, осенний дождь, которому, казалось, и конца не будет. От воды тянуло мозглой сыростью.

Прошло минуты четыре, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, слышались шаги и тихий невнятный гортанный говор.

«Немцы!..»

Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать — я, может, раньше его расслышал и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке.

Шаги приближались. Теперь можно было различить, как грязь хлюпала под ногами нескольких человек. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось как бешеное.

— Verfluchtes Wetter! Hohl es der Teufel...¹

— Halte's Maul, Otto!.. Links halten...²

Они прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновения при вспышке ракеты мы в реденькой пелене дождя разглядели их, рослых (может, мне так показалось потому, что я смотрел на них снизу), в касках с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холиным, сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый — в блестящем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобурой. Автоматы висели у них на груди.

Их было четверо — дозор охранения полка СС, боевой дозор германской армии, мимо которого только что про-

¹ Проклятая погода! И какого черта... (нем.)

² Придержи язык, Отто!.. Принять левее!.. (нем.)

скользнул Иван Буслов, двенадцатилетний мальчишка из Гомеля, значившийся в наших разведдокументах под фамилией «Бондарев».

Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде шагах в десяти от нас. Было слышно, как в темноте они попрыгали на песок и направились в сторону кустов, где была спрятана наша лодка.

Мне было труднее, чем Холину. Я не был разведчиком, воевал же с первых месяцев войны, и при виде врагов, живых и с оружием, мною вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание, вернее, жажду, потребность, необходимость немедля убить их! Я завалю их как миленьких, одной очередью! «Убить их!» — я, верно, ни о чем больше не думал, вскинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холин. Почувствовав мое движение, он, словно тисками, сжал мне предплечье — опомнившись, я опустил автомат.

— Они заметят лодку! — растирая предплечье, прошептал я, как только шаги удалились.

Холин молчал.

— Надо что-то делать, — после короткой паузы снова зашептал я встревоженно. — Если они обнаружат лодку...

— Если!.. — в бешенстве выдохнул мне в лицо Холин. Я почувствовал, что он способен меня задушить. — А если застукают мальчишку?! Ты что же, думаешь оставить его одного?.. Ты что: шкура, сволочь или просто дурак?..

— Дурак, — подумав, прошептал я.

— Наверно, ты неврастеник, — произнес Холин раздумчиво. — Кончится война — придется лечиться...

Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет, за ним — другой, прямо над нами, и снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, то там по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли.

Тошнотный трупный запах отчего-то усилился. Я отплеывался и старался дышать через рот, но это мало помогало.

Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни мне так не хотелось курить. Но единственно, что я мог, — вытащить папиросу и нюхать ее, разминая пальцами.

Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался.

— В овраге глина, будь она проклята! — вдруг зашептал Холин. — Сейчас бы хороший ливень, чтоб смыл все...

Мыслями он все время был с мальчиком, и глинистый овраг, где следы хорошо сохраняются, беспокоил его. Я понимал, сколь основательно его беспокоило: если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега через передовую, за Иваном наверняка будет снаряжена погоня. Быть может, с собаками. Где-где, а в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей.

Я уже жевал папиросу. Приятного в этом было мало, но я жевал. Холин, верно, услышав, поинтересовался:

— Ты что это?

— Курить хочу — умираю! — вздохнул я.

— А к мамке не хочется? — спросил Холин язвительно. — Мне вот лично к мамке хочется! Неплохо бы, а?

Мы выжидали еще минут двадцать, мокрые, дрожа от холода и вслушиваясь. Рубашка ледяным компрессом облегала спину. Дождь постепенно сменился снегом — мягкие, мокрые хлопья падали, белой пеленой покрывая песок, и неохотно таяли.

— Ну, кажется, прошел, — наконец облегченно вздохнул Холин и приподнялся.

Пригибаясь и держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке, то и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Я был почти уверен, что немцы обнаружили лодку и устроили в кустах засаду. Но сказать об этом Холину не решался: я боялся, что он осмеет меня.

Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков. Мы сделали от них не более пяти шагов, как Холин остановился и, притянув меня к себе за рукав, зашептал мне в ухо:

— Останешься здесь. А я пойду за лодкой. Чтоб случ-чего не всыпаться обоим. Подплыву — окликнешь меня по-немецки. Тихо-тихо!.. Если же я нарвусь, будет шум — плыви на тот берег. И если через час не вернусь — тоже плыви. Ты ведь можешь пять раз сплавать туда и обратно? — сказал он насмешливо.

— Могу, — подтвердил я дрожащим голосом. — А если тебя ранят?

— Не твоя забота. Поменьше рассуждай.

— К лодке подойти лучше не берегом, а подплыть со стороны реки, — заметил я не совсем уверенно. — Я смогу, давай...

— Я, может, так и сделаю... А ты случ-чего не вздумай рыпаться! Если с тобой что случится, нас взгреют по первое число. Вник?

— Да. А если...

— Без всяких «если»!.. Хороший ты парень, Гальцев, — вдруг прошептал Холин, — но неврастеник. А это в нашем деле самая страшная вещь...

Он ушел в темноту, а я остался ждать. Не знаю, сколько длилось это мучительное ожидание: я так замерз и так волновался, что даже не сообразил взглянуть на часы. Стараясь не произвести и малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтоб хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался.

Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рупором ко рту и зашептал:

— Хальт... Хальт...

— Тихо, черт! Иди сюда...

Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги.

— Как там у оврага, тихо? — прежде всего поинтересовался Холин.

— Тихо.

— Вот видишь, а ты боялась! — прошептал он, довольный. — Садись с кормы, — взяв у меня автомат, скомандовал он и, как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения.

Усевшись на корме, я стянул сапоги и вылил из них воду.

Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трассу. Она прошла прямо над нами; надо было поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению.

— Ты куда? — спросил я, не понимая.

Не отвечая, он энергично работал веслами.

— Куда мы плывем?

— На вот, погрейся! — оставив весла, он сунул мне в руки маленькую плоскую фляжечку. Закоченевшими пальцами, с трудом свинтив колпачок, я глотнул — водка приятным жа-

ром обожгла мне горло, внутри сделалось тепло, но дрожь по-прежнему била меня.

— Пей до дна! — прошептал Холин, чуть двигая веслами.

— А ты?

— Я выпью на берегу. Угостишь?

Я глотнул еще и, с сожалением убедившись, что во фляжечке ничего нет, сунул ее в карман.

— А вдруг он еще не прошел? — неожиданно сказал Холин. — Вдруг лежит, выжидает... Как бы я хотел быть сейчас с ним!..

И мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы находились против оврага, чтобы «случ-чего» снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. А оттуда, из темноты, то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого снега обнаружить нас было, наверно, невозможно, но это чертовски неприятно — находиться под обстрелом на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю и нет ничего, за чем можно было бы укрыться. Холин же, подбадривая, шептал:

— От таких глупых пуль может сгинуть только дурак или трус! Учти!..

Катасонов был не дурак и не трус. Я в этом не сомневался, но Холину ничего не сказал.

— А фельдшерица у тебя ничего! — немного погодя вспомнил он, очевидно желая как-то меня отвлечь.

— Ни-че-го, — выбивая дробь зубами, согласился я, менее всего думая о фельдшерице; мне представилась теплая землянка медпункта и печка. Чудесная чугунная печка!..

С левого, бесконечно желанного берега еще три раза давали трассу. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу.

— Ну, вроде прошел, — наконец сказал Холин и, задев меня вальком, сильным движением весел повернул лодку.

Он удивительно ориентировался и выдерживал направление в темноте. Мы подплыли неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охранения.

Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно: «Стой! Кто идет?..» Я назвал пароль — меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег.

Я был совершенно измучен и, хотя выпил грамм двести водки, по-прежнему дрожал и еле передвигал закоченевшими ногами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку, и мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отделения Зуевым, моим любимцем, несколько развязным, но бесшабашной смелости сержантом. Он шел впереди.

— Товарищ старший лейтенант, а язык где же? — оборачиваясь, вдруг весело спросил он.

— Какой язык?

— Так, говорят, вы за языком отправились.

Шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву.

— Язык у тебя во рту! Вник?! — сказал он резко, отчетливо выговаривая каждое слово. Мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуеву, а может, даже взял его за ворот: этот Холин был слишком прям и вспыльчив — он мог так сделать. — Язык у тебя во рту! — угрожающе повторил он. — И держи его за зубами! Тебе же лучше будет!.. А теперь возвращайтесь на пост!..

Как только Зуев остался в нескольких шагах позади, Холин объявил строго и нарочито громко:

— Трепачи у тебя в батальоне, Гальцев! А это в нашем деле самая страшная вещь...

В темноте он взял меня под руку и, сжав ее у локтя, насмешливо прошептал:

— А ты тоже штучка! Бросил батальон, а сам на тот берег за языком! Охотничек!

* * *

В землянке, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем.

Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно рассматривал ее. Очувтившись в землянке, он сразу как-то сник, вид у него был усталый и озабоченный.

Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с солеными огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой.

— Эх, если бы знать, что сейчас с ним! — воскликнул вдруг Холин, поднимаясь. — И в чем там дело?

— Что такое?

— Этот патруль — на том берегу — должен был пройти на полчаса позже. Понимаешь?.. Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам.

— Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали — не меньше часа, — и все было тихо.

— Что — прошел? — спросил Холин с раздражением. — Если хочешь знать, ему нужно пройти более пятидесяти километров. Из них около двадцати он должен сделать до рассвета. И на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей!.. Ну ладно, разговорами не поможешь!.. — Он убрал карту со стола. — Давай!

Я налил водки в две кружки.

— Чокаться не будем, — взяв одну, предупредил Холин.

Подняв кружки, мы сидели несколько мгновений в безмолвии.

— Эх, Катасоныч, Катасоныч... — вздохнул Холин, насупившись, и срывающимся голосом проговорил: — Тебе-то что! А мне он жизнь спас...

Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал: — Еще!

Выпив сам, я налил по второму разу: себе немного, а ему до краев. Взяв кружку, он повернулся к нарам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес:

— За то, чтоб ты вернулся и больше не уходил. За твое будущее!

Мы чокнулись и, выпив, принялись закусывать. Несомненно, в эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись и сидим в тепле и в безопасности. А он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью...

Я никогда не испытывал особой любви к детям, но этот мальчишка — хотя я встречался с ним всего лишь два раза — был мне так близок и дорог, что я не мог без щемящего сердце волнения думать о нем.

Пить я больше не стал. Холин же без всяких тостов молча хватил третью кружку. Вскоре он опьянел и сидел сумрачный, угрюмо поглядывая на меня покрасневшими, возбужденными глазами.

— Третий год воюешь?.. — спросил он, закуривая. — И я третий... А в глаза смерти — как Иван! — мы, может, и не заглядывали... За тобой батальон, полк, целая армия... А он один! — внезапно раздражаясь, выкрикнул Холин. — Ребенок!.. И ты ему еще ножа вонючего пожалел!..

8

«Пожалел!..» Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь.

Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа, теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов — тисочки, сверла, зубила, — мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок.

Рукоятку он сделал на совесть — финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котькиной и выгравированным на шишечке ее рукоятки инициалам «К. Х.». Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой; я понимал его: я ведь и сам не так давно был подростком.

Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им: глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь? — я и представить себе не мог, не раз вспоминая его.

А дни были горячие: дивизии нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках Информбюро, «вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу...».

Финкой я почти не пользовался; правда, однажды в рукопашной схватке я пустил ее в ход, и, если бы не она, толстый,

грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову.

Немцы сопротивлялись отчаянно. После восьми дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то в начале ноября, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым.

Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу — она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издалека, сразу как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. «Моего» — я мог теперь говорить так со всем основанием: перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона.

В роще, где мы расположились, было тихо, поседевшие от инея листья покрывали землю, пахло пометом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я живал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное...

Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, сожженными, подбитыми и просто брошенными; убитые немцы в различных позах валялись на дороге, в кюветах; серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге, метрах в пятидесяти от подполковника Грязнова, его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Еще четверо — я не мог разобрать их званий — лазали в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал — из-за ветра я не расслышал что.

При моем приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами, смуглое мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно:

— Ты жив, Гальцев?!

— Жив! А куда я денусь? — улыбнулся я. — Здравия желаю!

— Здравствуй! Если жив, — здравствуй!

Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что, кроме Грязнова, меня никто не услышит, обратился:

— Товарищ подполковник, разрешите узнать: что Иван, вернулся?

— Иван?.. Какой Иван?

— Ну мальчик, Бондарев.

— А тебе-то что, вернулся он или нет? — недовольно спросил Грязнов и, нахмуясь, посмотрел на меня черными хитроватыми глазами.

— Я все-таки переправлял его, понимаете...

— Мало ли кто кого переправлял! Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности!

— Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, личное... У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить... — расстегнув шинель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику. — Прошу, передайте. Как он хотел иметь его, вы бы только знали!

— Знаю, Гальцев, знаю, — вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел ее. — Ничего. Но бывают лучше. У него этих ножей с десятков, не меньше. Целый сундучок собрал... Что поделаешь — страсть! Возраст такой. Известное дело — мальчишка!.. Что ж... если увижу, передам...

— Так он что... не вернулся? — в волнении проговорил я.

— Был. И ушел... Сам ушел...

— Как же так?

Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким, глуховатым басом тихо сказал:

— Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел... И винить его не могу: я его понимаю. Это долго объяснять, да и не к чему тебе...

Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое и задумчивое:

— Ненависть в нем не перекипела. И нет ему покоя... Может, еще вернется, а скорей всего к партизанам уйдет... А ты о нем забудь и на будущее учти: о закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут... Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нем — ты не обижайся — не положено! Так что впредь

запомни: ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева, ничего не видел и не слышал. И никого ты не переправлял! А потому и спрашивать нечего. Вник?..

...И я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска: в предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев — пулеметной очередью Холину перебило ноги; приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал противотанковую гранату... Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал.

Но забыть об Иване — как посоветовал мне подполковник — я, понятно, не мог. И, не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе.

9

В боях под Ковелем я был тяжело ранен и стал «ограниченно годным»: меня разрешалось использовать лишь на нестроевых должностях в штабах соединений или же в службе тыла. Мне пришлось расстаться с батальоном и с родной дивизией. Последние полгода войны я работал переводчиком разведотдела корпуса на том же 1-м Белорусском фронте, но в другой армии.

Когда начались бои за Берлин, меня и еще двух офицеров командировали в одну из оперативных групп, созданных для захвата немецких архивов и документов.

Берлин капитулировал 2 мая в три часа дня. В эти исторические минуты наша опергруппа находилась в самом центре города, в полуразрушенном здании на Принц-Альбрехтштрассе, где совсем недавно располагалась «Гехайме-стаатс-полицай» — государственная тайная полиция.

Как и следовало ожидать, большинство документов немцы успели вывезти либо же уничтожили. Лишь в помещениях четвертого — верхнего — этажа были обнаружены невесть как уцелевшие шкафы с делами и огромная картотека. Об этом радостными криками из окон возвестили автоматчики, первыми ворвавшиеся в здание.

— Товарищ капитан, там во дворе в машине бумаги! — подбежав ко мне, доложил солдат, широкоплечий приземистый коротыш.

На огромном, усеянном камнями и обломками кирпичей дворе гестапо раньше помещался гараж на десятки, а может, на сотни автомашин; из них осталось несколько — поврежденных взрывами и неисправных. Я огляделся: бункер, трупы, воронки от бомб, в углу двора — саперы с миноискателем.

Невдалеке от ворот стоял высокий грузовик с газогенераторными колонками. Задний борт был откинут — в кузове из-под брезента виднелись труп офицера в черном эсэсовском мундире и увязанные в пачки толстые дела и папки.

Солдат неловко забрался в кузов и подтащил связки к самому краю. Я финкой взрезал эрзац-веревку.

Это были документы ГФП — тайной полевой полиции — группы армий «Центр»; относились они к зиме 1943/44 года. Докладные о карательных «акциях» и агентурных разработках, розыскные требования и ориентировки, копии различных донесений и спецсообщений, они повествовали о героизме и малодушии, о расстрелянных и о мстителях, о пойманных и неуловимых. Для меня эти документы представляли особый интерес: Мозырь и Петриков, Речица и Пинск — столь знакомые места Гомельщины и Полесья, где проходил наш фронт, — вставали передо мной.

В делах было немало учетных карточек — анкетных бланков с краткими установочными данными тех, кого искала, ловила и преследовала тайная полиция. К некоторым карточкам были приклеены фотографии.

— Кто это? — стоя в кузове, солдат, наклонясь, тыкал толстым коротким пальцем и спрашивал меня: — Товарищ капитан, кто это?

Не отвечая, я в каком-то оцепенении листал бумаги, просматривал папку за папкой, не замечая мочившего нас дождя. Да, в этот величественный день нашей победы в Берлине моросил дождь, мелкий, холодный, и было пасмурно. Лишь под вечер небо очистилось от туч и сквозь дым проглянуло солнце.

После десятидневного грохота ожесточенных боев воцарилась тишина, кое-где нарушаемая автоматными очередями. В центре города полыхали пожары, и если на окраинах, где

много садов, буйный запах сирени забивал все остальные, то здесь пахло гарью; черный дым стелился над руинами.

— Несите все в здание! — наконец приказал я солдату, указывая на связки, и машинально открыл папку, которую держал в руке. Взглянул — и сердце мое сжалось: с фотографии, приклеенной к бланку, на меня смотрел Иван Буслов...

Я узнал его сразу по скуластому лицу и большим, широко расставленным глазам — я ни у кого не видел глаз, расставленных так широко.

Он смотрел исподлобья, сбычась, как тогда, при нашей первой встрече в землянке на берегу Днепра. На левой щеке, ниже скулы, темнел кровоподтек.

Бланк с фотографией был не заполнен. С замирающим сердцем я перевернул его — снизу был подколот листок с машинописным текстом: копией спецсообщения начальника тайной полевой полиции 2-й немецкой армии.

«№... гор. Лунинец. 26.12.43 г. Секретно.

Начальнику полевой полиции группы «Центр»...

...21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги, чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10–12 лет, лежавший в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калинковичи—Клинск.

При задержании неизвестный (как установлено, местной жительнице Семиной Марии он назвал себя «Иваном») оказал яростное сопротивление, прокусил Титкову руку и только при помощи подоспевшего ефрейтора Винц был доставлен в полевую полицию...

...Установлено, что «Иван» в течение нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса... занимался нищенством... ночевал в заброшенной риге и сараях. Руки и пальцы ног у него оказались обмороженными и частично пораженными гангреной...

При обыске «Ивана» были найдены... в карманах носовой платок и 110 (сто десять) оккупационных марок. Никаких вещественных доказательств, уличавших бы его в принадлежности к партизанам или в шпионаже, не обнаружено... Особые

приметы: посреди спины, на линии позвоночника, большое родимое пятно, над правой лопаткой – шрам касательного пулевого ранения...

Допрашиваемый тщательно и со всей строгостью в течение четырех суток майором фон Биссинг, обер-лейтенантом Клямт и фельдфебелем Штамер, «Иван» никаких показаний, способствовавших бы установлению его личности, а также выяснению мотивов его пребывания в запретной зоне и в расположении 23-го армейского корпуса, не дал.

На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи.

В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55.

...Титкову ... выдано вознаграждение... 100 (сто) марок. Расписка прилагается...»

Октябрь – декабрь 1957 г.

ЗОСЯ

1

Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный...

После месяца тяжелых наступательных боев — в лесах, по пескам и болотам, — после месяца нечеловеческого напряжения и сотен смертей, уже в Польше, под Белостоком, когда в обескровленных до предела батальонах остались считанные бойцы, нас под покровом ночи неожиданно сняли с передовой и отвели — для отдыха и пополнения в тылах фронта.

Так остатки нашего мотострелкового батальона оказались в небольшой и ничем, наверно, не примечательной польской деревушке Новы Двур.

Я проснулся лишь на вторые сутки погожим июльским утром. Солнце уже поднялось, пахло медом и яблоками, царила удивительная тишина, и все было так необычно, что несколько секунд я оглядывался и соображал: что же произошло?.. Куда я попал?..

Наш тупорылый «додж» стоял в каком-то саду, под высокой ветвистой грушей, возле задней стены большой и добротной хаты. Рядом со мной на сене в кузове, натянув на голову плащ-палатку, спал мой друг, старший лейтенант Виктор Байков. Еще полмесяца назад и он и я командовали ротами, но после прямого попадания мины в командный пункт Витька исполнял обязанности командира батальона, а я — начальника штаба, или, точнее говоря, адъютанта старшего.

Я спрыгнул на траву и, разминаясь, прошелся взад и вперед около машины.

Сидя на земле у заднего ската и держа обеими руками автомат, спал часовой — молоденький радист с перебинтованной головою: последнюю неделю из-за нехватки людей мы были

вынуждены оставлять в строю большинство легкораненых, впрочем, некоторые и сами не желали покидать батальон.

Я заглянул в его измученное грязное лицо, согнал жирных мух, ползавших по темному пятну крови, проступившей сквозь бинты; он спал так крепко и сладко, что я не решился — рука не поднималась — его разбудить.

Обнаружив под трофейным одеялом в углу кузова заготовленную Витькиным ординарцем еду, я с аппетитом выпил целую крынку топленого молока с ломтем черного хлеба; затем достал из своего вещмешка обернутый в кусок клеенки одно-томник Есенина, из Витькиного — полпечатки хозяйственного мыла и, отыскав щель в изгороди, вылез на улицу.

Мощенная булыжником дорога прорезала по длине деревню; вправо, неподалеку, она скрывалась за поворотом, влево — уходила по деревянному мосту через неширокую речку; туда я и направился.

С моста сквозь хрустальной прозрачности воду отлично, до крохотных камешков, проглядывалось освещенное солнцем песчаное дно; поблескивая серебряными чешуйками, стайки рыб беззаботно гуляли, скользили и беспорядочно сновали во всех направлениях; огромный черный рак, шевеля длинными усами и оставляя за собой тоненькие бороздки, переползал от одного берега к другому.

Шагах в семидесяти ниже по течению, стоя по пояс в воде, спиной к мосту и наклонясь, сосредоточенно возились трое бойцов; в одном из них я узнал любимца батальона гармониста Зеленко, гранатометчика, только в боях на Днепре уничтожившего четыре вражеских танка. Тихонько переговариваясь, они шарили руками меж коряг и под берегом: очевидно, ловили раков или рыбу.

Около них на ветках ивняка сохло выстиранное обмундирование. Там же, на берегу, над маленьким костром висели два котелка; на разостланной шинели виднелись банка консервов, какие-то горшки, буханка хлеба и горка огурцов.

Бойцы были так увлечены, а мне в это утро более всего хотелось побыть одному — я не стал их окликать и, спустясь к речке по другую сторону дороги, пошел тропинкой вдоль берега.

День выдался отменный. Солнце сияло и грело, но не пекло нещадно, как всю последнюю неделю. От земли, от высокой

сочной луговой травы поднимался свежий и крепкий аромат медвяных цветов и росы; в тишине мерно и весело, с завидной слаженностью трещали кузнечики.

Голубые, с перламутровым отливом стрекозы висели над самым зеркалом воды и над берегом; я было попытался поймать одну, чтобы рассмотреть хорошенько, но не сумел.

С удовольствием вдыхая чудесный душистый воздух, я медленно шел вдоль берега, глядел и радовался всему вокруг.

Как может перемениться жизнь человека! Просто даже не верилось, что еще недавно я, изнемогая от жары, напряжения и жажды, сидел в пулеметном окопчике на высоте 114 (я стрелял лучше других и в бою, когда мог, всегда брался за пулемет) и короткими отрывистыми очередями косил рослых, как на подбор, немцев, из танковой гренадерской дивизии СС «Фельдхерн-халле», перебегавших и упрямо ползших вверх по склону.

Как-то не верилось, что совсем недавно, когда кончились патроны, не осталось гранат и десятка три немцев ворвались на высоту в наши траншеи, я, ошалеv от удара прикладом по каске и озверев, дрался врукопашную запасным стволом от пулемета; выбиваясь из сил и задыхаясь, катался по земле с дюжим эсэсовцем, старавшимся — и довольно успешно — меня задушить, а затем, когда его прикончили, зарубил немца-огнеметчика чьей-то саперной лопаткой.

Все это было позавчера, но оттого, что я сутки спал и только проснулся, оттого, что это были самые сильные впечатления последних дней, мне казалось, что бой происходил всего несколько часов тому назад.

Я не удержался, раскрыл на ходу томик и начал было вполголоса читать, однако тут же решил покончить сперва со всем малоприятным, но неизбежным. На небольшом песчаном пляжике я скинул сапоги, быстро разделся и дважды старательно выстирал грязные, пропитанные потом, пылью, ружейным маслом и чьей-то кровью гимнастерку и шаровары, ставшие буквально черными портянки и пилотку. Затем, крепко отжав, развесил все сушиться на ветках орешника, спустился в воду и, простирнув самодельные плавки, начал мыться сам. Я намылился и со сладостным ожесточением принялся скрести ногтями голову и долго скоблил и тер все тело песком, пока кожа не покраснела и не покрылась кое-где царапинками. Последний

раз я мылся по-настоящему недели три назад, и вода около меня, как и при стирке, сразу сделалась мутновато-темной.

Потом я плавал и, ныряя с открытыми глазами, гонялся в прозрачной воде за стайками мальков и доставал со светлого песчаного дна раковины и камешки; самые из них интересные и красивые я отобрал, решив, пока мы будем здесь находиться, составить небольшую коллекцию. Дома, в Подмосковье, у меня хранился в сенцах целый сундук всяких необычных камешков и раковин — собирать их я пристрастился еще в раннем детстве.

Немного погодя я вышел на берег, ощущая бодрость и приятную легкость во всем теле и чувствуя себя точно обновленным. Перевернув на ветках орешника быстро сохнувшие гимнастерку и шаровары, я со спокойной душой взял наконец книжку.

Я любил и при каждой возможности читал стихи, но Есенина открыл для себя недавно, когда в начале наступления, в развалинах на окраине Могилева, нашел этот однотомник; стихи поразили и очаровали меня.

На передовой я не раз урывками, с жадностью и восторгом читал этот сборничек, то и дело находя в нем подтверждение своим мыслям и желаниям; многие четверостишия я знал уже наизусть и декламировал их (чаще всего про себя) к месту и не к месту. Но отдаться стихам Есенина безраздельно, в покойной обстановке мне еще не доводилось.

Я начал читать, то заглядывая в книжку, то по памяти; начал с ранних, юношеских стихотворений:

...Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.

...Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Светлая речка в берегах, поросших ивняком, скошенный луг со стожками зеленого сена и молодыми березками на той сто-

роне, золотистые ржи, уходящие к самому горизонту, и даже небо, светло-синее, с перистыми, прозрачно-невесомыми облаками, — все до боли напоминало исконную срединную Россию и больше того — подмосковную деревушку, где родилась моя мать и где прошло в основном мое детство. И потому все вокруг было удивительно созвучно стихам Есенина, его восторженной любви к родному краю, к раздолью полей и лугов, к русской природе и человеку.

С волнением я читал, вернее, увлеченно декламировал, размахивая рукой и повторяя по два-три раза то, что мне более всего нравилось:

...Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове...

Ах, до чего же хорошо, до чего же здорово!.. Я читал и читал, нараспев, захлеб, растроганный до слез и забыв обо всем.

...Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне...

Очарованный, я был как в забытьи, и не знаю даже, почему обернулся — сзади меж двух орешин стояла и с любопытством смотрела на меня невысокая необычайно хорошенькая девушка лет семнадцати.

Она не смеялась, нет; лицо ее выражало лишь любопытство или интерес, но в глазах — зеленоватых, блестящих, загадочных, — как мне показалось, прыгали смешинки.

Я крайне смутился, и в то же мгновение она исчезла. Я успел разглядеть маленькие босые ноги и крепкую ладную фигурку под полинялым платьицем, из которого она выросла; успел заметить корзинку в ее руке.

Она появилась словно бы мимолетом и исчезла внезапно и неслышно, как сказочное видение. Понятно, я не верил в чудеса, и мне подумалось даже, что она спряталась в орешнике. Я проворно натянул шаровары — смешно же, наверно, я выглядел со своей декламацией, в самодельных, из портяночного материала плавках — и обошел весь кустарник, не обнаружив, однако, ни девушки, ни каких-либо видимых ее следов.

В раздумье вернулся я на берег, раскрыл томик и начал было снова читать, но не мог — мне вроде чего-то не хватало. Ну что за чертовщина; собственно говоря, — чего?.. И вдруг со всей ясностью я осознал, что мне страшно хочется еще увидеть эту девушку, хоть на минутку, хотя бы одним глазком.

Я даже спрятался, присев под кустом, и прислушивался, надеясь, что, быть может, она появится. В самом деле, почему бы ей вновь не прийти сюда?.. Да что я ее съем или обижу?..

По-весеннему радостно звучало тихое птичье щебетание; в траве по-прежнему весело и неумолчно стрекотали кузнечики; но ни звука шагов, ни шороха я, как ни силился, уловить не смог.

Единственно, что я вскоре различил, — негромкий, нарастающий шум мотора. Спустя какую-то минуту, оборотясь, я увидел медленно ехавший через мост «виллис»; в офицере на переднем сиденье я сразу узнал командира нашей бригады подполковника Антонова. Живо сообразив, какая получится неприятность, если подполковник застанет и часового и комбата спящими, я с лихорадочной быстротой оделся, натянул сапоги и, на ходу поправляя и одергивая еще влажные местами гимнастерку и шаровары, во весь дух помчался к деревне.

Грешным делом я почему-то надеялся, что командир бригады проследует, направляясь в другой батальон, или же, не заметив наш «додж», проедет в конец деревни, и я успею добежать. Но увы... Выскочив на улицу, я увидел машину комбрига возле дома, где мы остановились.

Я не успел дойти до калитки, как со двора появился подполковник — высокий, молодцеватый, в свежих, тщательно отутюженных шароварах и гимнастерке с орденскими планками, в новенькой полевой фуражке и начищенных до блеска сапогах. Обтянутая черной глянцевитой лайкой кисть протеза недвижно торчала из левого рукава. Было ему лет тридцать

пять, но мне в мои девятнадцать он казался пожилым, если даже не старым.

Он приказал водителю отъехать, отвечая на мое приветствие, молча поднял руку к фуражке и, окинув меня быстрым сумрачным взглядом, поинтересовался:

— Вас что, корова жевала?.. Погладить негде?.. — он взял у меня книгу, с ловкостью двумя цепкими пальцами раскрыл, посмотрел и отдал обратно.

В ту же минуту из калитки, застегивая пуговицы воротничка, потирая глаза и оглядываясь по сторонам, торопливо вышел Витька, заспанный, без пилотки и без ремня, грязный и небритый.

— Чудесно! — сказал подполковник. — Комбат спит как убитый, начальник штаба почитывает стишата, а люди предоставлены сами себе! Охранение не выставлено, единственный часовой и тот спит! Кино! — возмущенно закричал он. — Безответственность!!! Немыслимая!!!

Витька недоуменно и растерянно посмотрел на меня. И только тут я вспомнил, что позапрошлой ночью, когда километрах в четырех от передовой мы грузились на машины, он приказал мне по прибытии на место выставить сторожевое охранение и набросать план действий в случае нападения противника. Однако люди валились с ног от усталости, а никакого наступления со стороны немцев не ожидалось (они ожесточенно сопротивлялись и даже контратаковали, но только на коротке — обороняясь). К тому же по дороге я убедился, что между передовой и Новы Двур, куда мы следовали, расположены части второго эшелона, что само по себе предохраняло от внезапного нападения. Успокоенный этим, я не смог более держаться, и сон мгновенно сморил меня.

Несомненно, я один был во всем виноват, но сказать об этом сейчас не решался: комбриг не любил, когда перед ним пытались оправдываться и не терпел пререканий; считалось, что если он чем-либо недоволен, то лучше всего молчать. Виноват был я, а отвечать теперь в основном приходилось Витьке, причем я знал, что как бы ему ни доставалось, в любом случае он и слова не скажет обо мне.

Мы стояли перед комбригом: я, вытянув руки по швам, покраснев и виновато глядя ему в лицо, а Витька — наклонив голову, как бычок, готовый ринуться вперед.

— В чем дело?! Объяснитесь! — после короткой паузы потребовал подполковник. — Может, война окончилась?.. — с самым серьезным видом язвительно осведомился он. — Тогда не хворые были бы и доложить, порадовать командование!..

И снова, помолчав, недовольно, с сердцем заявил:

— Воевать вы еще можете, но из боя вас выведешь и — ни к черту не годитесь! Один спит, другой стишками развлекается, а бойцы у вас на речке, посреди деревни, голышом, как на пляже, устроились! — с негодованием сообщил он. — И еще водку, наверное, пьют!

— Люди измучены, — хрипловатым голосом упрямо проговорил Витька, хотя делать это ему бы не следовало. — Они заслужили отдых...

— Это не отдых, а разложение! — раздражаясь, вскричал комбриг. — Вы неопытны и не понимаете азбучных истин! Бездействие, как и безделье, разлагает армию! Пока придет пополнение и техника, мы простоим, возможно, не менее полутора-двух месяцев. Вы, что же, так и будете погоду пинать?! Да вы мне весь батальон разложите!.. С завтрашнего дня, — приказал он, — каждое утро два часа строевой подготовки со всем личным составом! И три часа занятий по уставам и по тактике — ежедневно!..

В глубине двора послышался резкий неприятный скрип: створка ворот стоящей на задах большой риги приоткрылась, и оттуда, из темноты, появился лейтенант Карев — новоиспеченный командир роты, третий из уцелевших офицеров батальона. Ну надо же было ему в эту минуту вылезти! Долгоногий, худощавый юноша, он в одних шароварах стал на траве, жмурясь от яркого солнца, и, не видя нас, с удовольствием потянулся вверх руками, улыбаясь и выгнув грудь.

— Потягушеньки! — сдерживая негодование, с язвительной насмешливостью произнес подполковник. — Это просто кино! — яростно воскликнул он. — А план действий на случай нападения противника у вас есть?! О боевом обеспечении вы позаботились?..

Витька, засопев, одарил меня исподлобья мгновенным бешеным взглядом; злой желвак перекатывался на его похуделой щеке.

— Я вас спрашиваю обоих, — повторил подполковник, — о боевом обеспечении вы позаботились?!

— Я, т-товарищ подполковник, п-понимаете... — начал я, но тут же умолк.

— Плана нет, — со свойственной ему прямоотой без обиняков сказал Витька угрюмо. — И боевого обеспечения тоже. Это безответственность и мой недосмотр. Я за это отвечаю.

— Я недоволен вами! — властно и зло объявил Витьке подполковник (эти три слова выражали у него крайнее неодобрение) и немного погодя обратился ко мне: — Вот вы развлекаетесь, а донесения, требуемые по выходе из боя, отправлены?.. Похоронные заполнены? Списки потерь составлены?

Чувствуя себя кругом виноватым, я, потупясь, молчал.

— Даю вам час времени, — сообщил нам подполковник. — Выставить охранение, навести порядок и доложить!

И после короткой паузы продолжал:

— Создайте людям все условия. Обед сегодня по усиленной раскладке. Получить и выдать всему личному составу по сто граммов водки. Но никаких пьянок и никаких женщин!..

Он вскинул руку к фуражке и вместо ожидаемого обычного «Выполняйте!», уже поворачась и отходя, приказал:

— Отдыхайте!

Мы с Витькой, не двигаясь, наблюдали, как он быстрым и твердым шагом подошел к машине, сел, и тотчас «виллис», набирая скорость, покатился и скрылся за поворотом.

Витька перевел взгляд, посмотрел на меня, на томик Есенина в моей руке и, буквально дрожа от ярости, бешено выдохнул:

— Сюсюк!!!

И возмущенно, с непередаваемым презрением выкрикнул то, что уже не раз говорил мне, когда я читал стихи и упускал что-либо по службе:

— Пи-и-ижонство!.. А также гнилой сентиментализм!..

Минут десять спустя я сидел за столиком в саду и торопливо составлял требуемые документы. К сожалению, я почти не знал батальонного делопроизводства и к тому же с детства испытываю неприязнь ко всякому письму. Но оба писаря были убиты и по необходимости мне предстояло несколько дней самой упорной писанины.

Прибыли вызванные по тревоге командиры подразделений — старшина-артиллерист и четверо сержантов, — подошел и лейтенант Карев. Не отрываясь от бумаг, я сообщил, что необходимо немедленно выставить охранение, представить отчетность по трем формам, а также выделить наряд на полевую кухню и послать машину на бригадный обменный пункт. Как я и ожидал, они начали спорить меж собой и препираться: в одной роте осталось четырнадцать человек, а в другой лишь пять, из них двое раненых; люди отсыпаются, моются, стирают и сушат обмундирование и так далее и тому подобное. Начался шумный разговор, но Витька прикрикнул, и все мгновенно умолкли.

Он брился, стоя у машины, поглядывая в зеркальце и напевая про себя, вернее мыча мотив какого-то воинственного марша, что было у него признаком дурного настроения. Я чувствовал себя перед ним виноватым и, составляя документы, спешил и старался вовсю.

Мне он не сказал больше ни слова, но его ординарцу Семенову — ушлому, редкой смелости, однако бесцеремонному бойцу — крепенько попало. Поставленный часовым возле штабной машины, Семенов вздумал грызть яблоки. В другой день Витька не обратил бы на это внимания, но тут он с чувством высказал Семенову все, что о нем думал, и пригрозил, что заставит «месяц на кухне картошку чистить».

Отдав необходимые приказания, я отпустил командиров подразделений и снова занялся донесениями, когда послышался звонкий приятный голосок, певший по-польски, и я не без волнения увидел ту самую девушку, что уже видел мельком в орешнике на берегу.

Она шла тропинкой через сад, раскачивая в руке плетеную корзинку, ловко и грациозно ступая маленькими загорелыми ногами — как бы чуть пританцовывая — и, словно не замечая нас, напевала что-то веселое.

Витька — он кончал завтракать, — опустив руку с куском хлеба, смотрел на девушку как зачарованный.

— Кто это? — прожевывая, с некоторой растерянностью спросил он Семенова, как только она скрылась за углом хаты. — Семенов, кто это?

— Как кто? — обиженно сказал Семенов. — Хозяйкина дочь...

– Ясен вопрос, – медленно проговорил Витька и, поняв по его лицу и по голосу, какое впечатление произвела на него маленькая полька, я не на шутку огорчился.

Дело в том, что он был старше меня, несравненно молодцеватей и представительнее: он уже знал женщин и, более того, считал себя – да и мне казался – бывалым и лихим сердцеедом.

– Города берут смелостью, – серьезно и значительно говорил он, – а женщин – нахальством.

При этом у него делалось такое лицо, словно он сподобился постичь что-то настолько таинственное и необъяснимое, чего ни мне, ни другим понять никогда не суждено.

Не знаю, где он это услышал, у кого позаимствовал, но он так говорил, и я тогда в это верил.

Теперь-то, спустя многие годы, мне совершенно ясно, что Витька не был бабником, да и нахальничать, наверно, не умел – это не соответствовало его характеру; просто легкий успех у двух-трех одиноких женщин, встреченных им на дорогах войны, вскружил ему голову и породил излишнюю мужскую самоуверенность. Но тогда я всего этого не понимал и, убежденный в его неотразимости и нисколько не сомневаясь, что в любом случае ему будет отдано предпочтение, помнится, болезненно огорчился, заметив впечатление, произведенное на него девушкой, которая мне так понравилась.

С хмурым лицом подписав уже готовое донесение, он по моей просьбе расписался еще на нескольких листах чистой бумаги, чтобы я и без него мог отправить наиболее срочные документы, и ушел в подразделения.

Вернулся он через несколько часов, уже после полудня. Все это время я, не разгибаясь, сидел над бумагами, по неопытности путаясь и переписывая документы, затем наконец отправил два донесения с мотоциклистом в штаб бригады и, получив в ответ приказание незамедлительно представить отчетность еще по пяти формам, а также донести «о всех мероприятиях по маскировке, сохранению военной тайны, ПХЗ¹, ПВО и ПТО», пришел в совершенное отчаяние. Та нескончаемая писанина, какая одолевает штабы, когда часть выводят из боя, и с которой

¹ ПХЗ – противохимическая защита. ПВО – противовоздушная оборона. ПТО – противотанковая оборона.

в батальоне еле справляются три-четыре человека, навалилась на меня одного со всей своей силой и неумолимостью. С непривычки отнималась рука, болела и плохо соображала голова, я чувствовал, что не справлюсь, но поделаться ничего было нельзя — любому бойцу или сержанту, кого я захотел бы привлечь себе в помощники, потребовался бы допуск к секретной работе; Витька же и Карев были заняты с людьми в батальоне.

В душе несомненно завидуя им и мечтая поразмяться: побродить с однотономником во ржах за деревней или поплавать, позагорать на речке, — я сидел как привязанный и писал, мучаясь и многое переделывая. Между тем Зося — так звали маленькую польку, — помогая матери, возилась по хозяйству. Ее ясный голосок слышался то у хаты, то на огороде, то совсем близко за моей спиной или где-нибудь сбоку.

Каждый раз, когда она, напевая и ловко уклоняясь от веток, проходила или пробежала через сад у меня перед глазами, я непроизвольно смотрел ей вслед и, проводив взглядом ее легкую фигурку, давал себе слово больше не отвлекаться и не обращать на нее внимания; однако спустя некоторое время она появлялась опять, и все повторялось.

Ее мать, пани Юлия, седоволосая, лет сорока пяти женщина, с моложавым, добрым лицом и припухлыми усталыми глазами, стирала в тени у хаты: затем они обе ушли на огород, откуда доносились их негромкие голоса: живой и веселый — Зоси и медленный глуховатый — матери.

В полдень пани Юлия принесла мне чуть ли не полную крынку парного тепловатого молока и, что-то сказав, поставила на стол. Я поблагодарил заученным «бардзо дзенкую» и, когда она ушла, с удовольствием выпил часть, оставив бóльшую половину Витьке.

Он вернулся веселый и, как всегда, полный энергии и жажды деятельности. Приветливый — словно утром ничего не произошло и комбриг не ругал его по моей вине, — он подошел ко мне и выложил на стол два спелых желтоватых яблока — видно, кто-то угостил его, а он принес мне. Пока я их ел, он, присев рядом на корточки, с увлечением рассказал, какой богатый обед удалось организовать на батальонной кухне, и посмеялся, что кое-кто даже не пришел обедать — так хорошо здесь с продуктами и столь надоело бойцам котловое варево.

Тут же он предложил приготовить свое любимое блюдо — пельмени по-сибирски, — живо поднялся и послал Семенова на мотоцикле раздобыть муки и мяса, а сам, смахнув пыль с сапог, пошел в хату знакомиться с хозяевами.

Минут через пять я увидел его на дворе возле поленницы, — скинув ремень и гимнастерку, он колот дрова.

С малолетства привычный ко всякой крестьянской работе, ловкий, широкогрудый, обладая медвежьей, без преувеличения, силой, он легко и скоро разделался с небольшим штабелем — как семечки пощелкал — и помог пани Юлии уложить на колотые ровными четвертинками поленца. Потом в ожидании Семенова какое-то время сидел на виду во дворе и, тихонько пощипывая струны, сосредоточенный и важный, любовно настраивал свою гитару.

Это была его гордость и очень дорогая игрушка — захваченная в немецком генеральском блиндаже, инкрустированная перламутром роскошная концертная гитара, изготовленная собственноручно знаменитым венским мастером Леопольдом Шенком, чье имя и фамилия вместе с тремя призовыми медалями были выведены золотом на нижней деке, в провале голосника.

Витька болезненно дорожил этим редкостным по красоте и звучанию инструментом и даже приятелям неохотно давал в руки, что не раз служило поводом для товарищеской подначки. Во время боев гитара хранилась на складе хозчасти батальона в специальном футляре, под замком, обернутая еще поверх для пущей предосторожности трофейными одеялами.

Я слышал, как подъехал Семенов и как Витька одобрил привезенное им мясо. Когда примерно через час я отправился к хате, чтобы подписать документы, стряпня была в полном разгаре.

Пани Юлия готовила салат из огурцов и редиски со сметаной, а Витька и под его руководством Семенов и Зося дружно и споро делали пельмени. На широкой кафельной плите уже что-то тушилось или жарилось.

Зося раскатывала нарезанное маленькими кружочками тесто в крохотные тонкие блиночки, а Семенов во второй или третий раз — для большей нежности — пропускал фарш через мясорубку.

Витька же, с головой, покрытой вместо поварского колпака чистым носовым платком, успевая приглядывать за помощниками, поправлять, поторапливать и подбадривать их, выполнял самые трудные и ответственные операции: кончиком финки проворно клал небольшие кусочки фарша на раскатанные блинчики, затем, подготовив таким образом несколько рядов, быстрыми сноровистыми пальцами мгновенно защипывал края.

Я не стал заходить в хату: Витька, прямо на подоконнике подписав принесенные мною документы, поинтересовался:

— Еще много?

— Хватит, — промолвил я, уголком глаза незаметно наблюдая за старательными движениями Зосиных рук.

— Ты давай закругляйся! — распорядился он и, посмотрев на часы, с шутливой официальностью объявил: — В шестнадцать тридцать — обед по усиленной раскладке. Форма одежды — парадная; явка офицерского состава — обязательна! — он весело приложил руку к носовому платку на голове. — Выполняйте!..

3

Я пришел последним, когда в большой, сравнительно прохладной комнате, за столом, по-праздничному уставленным едой и питьем, уже сидели и хозяева и гости. Кроме Карева, Семенова и меня, приглашены были, надо полагать хозяйкой, еще трое — худой, с тонким орлиным носом, вислыми, как у запорожца, усами и светлыми на загорелом лице глазами старик Стефан — двоюродный брат пани Юлии, и две женщины: рыжегато-седая, не улыбкающая соседка, за весь обед не сказавшая и пяти, наверное, слов и посматривавшая на нас недоверчиво, с очевидной настороженностью, и Ванда, молодая, красивая, с подбритыми бровями, сильным телом и высокой торчащей грудью.

Витька чинно помещался во главе стола. Возле него сидели с одного боку пани Юлия, а с другого — Стефан. Когда я вошел, старик рассказывал, как невесело и трудно жилось при немцах. Хотя наведывались они в Новы Двур не часто, но внезапно и довольно опустошительно: рыская по хатам, ригам и погре-

бам, забирали вещи и некоторые продукты: год тому назад, оцепив неожиданно деревушку, угнали всех мужчин от семнадцати до пятидесяти пяти лет, а отступая, увели лошадей — нещадно, до единой.

Последствия этого недавнего мародерства тревожили Стефана, пожалуй, более всего.

— Что делать, а?.. — озабоченно спрашивал он у Витьки. — Ни землю вспахать, ни дров привезти, что же теперь — капут?..

Он свободно, с незначительным акцентом говорил по-русски, нередко и к месту употребляя простонародные речения, старые присловицы и прибаутки. Как далее я узнал, многие годы он служил солдатом в царской армии, воевал еще с японцами, в Маньчжурии, а спустя десять лет — и с немцами, где-то в Галиции. Слушая, он тут же с ходу переводил; разговор за столом велся в основном с его помощью.

Я сел на свободное место между Стефаном и молчаливой полькой; напротив меня оказались Карев и Зося.

Она была в нарядной цветастой блузке с короткими рукавами; у шеи, в небольшом вырезе виднелась тонкая серебряная цепочка, на каких носят нательные крестики. Впрочем, и блузку и цепочку я разглядел позднее: первое время — до того, как немного охмелеть, — я и глаз на Зося не решался поднять.

Стол по военному времени был обильный и весьма аппетитный: тарелки с салатами и огурцами; вазочки, полные сметаны; два блюда с розоватыми, веером разложенными ломтиками сала; большущая, только что снятая с плиты сковорода молодого тушеного картофеля; горки щедро нарезанного, нашего армейского, а также хозяйкиного невешеного, домашней выпечки, светлого и пышного хлеба. Еще предстояли пельмени, придерживаемые Витькой как гвоздь обеда.

И питья тоже хватало: графины с бимбером — ароматным и очень крепким польским самогоном, пол-литра водки, полученной Семеновым на нас четверых, и высокие бутылки с коричневатой пенистой брагой.

На комод за спиной Карева торжественно покоилась великолепная Витькина гитара; чуть выше на стене висело несколько фотографий, причем я обратил внимание на две большие, одинакового размера карточки чем-то весьма похожих мужчин — юноши и пожилого — в польской военной форме.

Витька налил бимбер в стаканы себе и Стефану и, передав графин Кареву, плеснул мне в рюмку немного водки, заметив при этом вскользь, что я не совсем здоров.

Это было неверно. Просто я не любил, да и не умел пить, и он наверняка побаивался, что я опьянею.

— За освобождение Польши! — поднимаясь со стаканом в руке, провозгласил он затем.

Мы выпили и принялись закусывать. Я проголодался, но, чувствуя себя несколько стесненно, ел маленькими кусочками, медленно и осторожно, стараясь не чавкнуть и правильно держать вилку, от которой совсем отвык.

Стефан продолжал рассказывать, как им жилось при немцах, как их обирали. Витька, с аппетитом уминая тушеный картофель, слушал его, не перебивая, но, думается, и без особого сочувствия: мы прошли Смоленщину и Белоруссию — порушенные города и спаленные дотла деревни, где в целой округе не то что коровы, но и кошки живой не сыщешь; мы видели такое страшное опустошение и обнищание, после которых Польша да и Западная Белоруссия, как бы они ни пострадали, могли нас только удивлять и радовать своим сравнительным достатком.

Витька не терпел, чтобы его называли «пан», как это принято в Польше, и здесь он уже успел провести разъяснительную работу: Стефан, обращаясь к нему или к кому-нибудь из нас, говорил «товарищ офицер» или же просто «товарищ».

Не знаю, подействовало ли на меня то небольшое количество водки, но, выпив затем в два приема еще около стакана браги и почувствовав себя чуть свободнее, смелее, я начал вскоре украдкой поглядывать на Зосю.

Нет, я не обманулся, мне ничуть не пригрезилось... Все было пленительно в этой маленькой девушке: и прекрасное живое лицо, и статная женственная фигурка, и мелодический звук голоса, и темно-зеленые сияющие глаза, и то радушие и вопрошающее любопытство, с каким она смотрела на нас.

Держалась она непринужденно и просто, как и подобает хозяйке. Помогая матери, угощала гостей, бегала в кухню за посудой, улыбалась и, чтобы поддержать компанию, даже пригубила бимбера — поморщилась, но глотнула. Потом, не скрывая заинтересованности, внимательно вслушивалась в русскую речь Стефана, будто старалась постичь, о чем он

говорит и какое впечатление производят на нас его слова, не упуская при этом милым женским движением поправлять густые и непослушные каштановые волосы.

Иногда наши взгляды на мгновение встречались, и с невольным трепетом я ловил в ее глазах поощряющую приветливость, ласковость и еще что-то, волнующее, необъяснимое, причем мне подумалось, что до этой минуты никто и никогда не смотрел на меня так...

Карев, сын какого-то ленинградского профессора, самый из нас учтивый и предупредительный, успевал галантно ухаживать за женщинами: подкладывал им на тарелки закуску, предлагал хлеб и наливал брагу в стаканы. Понаблюдав, я решил последовать его примеру и, поддев большой ложкой горстку салата, хотел положить на тарелку Ванде, но она поспешно и весело воскликнула: «Дзенкуе! Не!..»¹ — подкрепив отказ энергичным жестом; на меня посмотрели, и, в смущении зацепив рукавом высокую вазочку со сметаной, я едва не опрокинул ее, тут же дав себе слово больше не вылезать.

Витька обычно легко сходился с людьми, особенно простыми, а тем более с крестьянами. И здесь, спустя полчаса, выпив не один стакан бимбера, он уже обращался к Стефану приятельски, на «ты», дымил вместе с ним забористым самосадом, звучно смеялся, шутил и называл его доверительно, по-свойски — Степа.

Используя свое крайне скудное, как и у всех нас, знание польского языка — десятка три-четыре слов, — Карев пытался разговаривать с Зосей. Она слушала его с веселой, чуть лукавой улыбкой, смеялась неверному произношению, быстро и озорно что-то переспрашивала, и он, почти ничего не понимая, приподняв плечи, весьма комично выражал на лице преувеличенное недоумение и разводил руками.

Витька через Стефана тоже несколько раз обращался к Зосе, со всякими пустячными вопросами, явно желая завязать беседу и познакомиться поближе; без удовольствия наблюдая за всем этим, я решил, что мне также надо обязательно с ней заговорить.

Я полагал даже, что имею некоторое преимущество. У меня в кармане лежал полученный только что из штаба бригады

¹ Спасибо! Не хочу!.. (польск.).

в одном-единственном экземпляре «Краткий русско-польский разговорник», который, очевидно, должен был облегчить общение с местными жителями, и, признаться, я возлагал немалые надежды на эту крохотную, размером с удостоверение личности, книжицу.

Достав ее потихоньку из кармана и поместив незаметно на коленях, я исподволь просмотрел все от начала и до конца. В ней было свыше тридцати коротеньких разделов, и, кажется, были предусмотрены все возможные случаи не только на земле, но и на воде или в воздухе. Я мог, например, без малейшего труда и промедления осведомиться о столь различных вещах: «Знаете ли вы, где скрываются оставшиеся немецкие солдаты и офицеры?.. Скажите, известно ли вам, где немцы заминировали местность?.. Прошу быстро показать, на каком пути стоят цистерны с горючим?..» Или: «Можно ли перейти реку вброд?.. Где?.. Могут ли переправиться танки?.. Сколько сброшено парашютистов?.. Где приземлились планеры?..»

Ну к чему мне была в тот час вся эта опросная лабуда?..

Из всех разделов наиболее соответствовал моему стремлению предпоследний — «Разговор на общие темы». К великой досаде в нем оказалось всего лишь пятнадцать фраз, из них самыми невоенными и человеческими были: «Здравствуйте!.. Благодарю вас!.. Как вас зовут? (Но я с утра знал, что ее зовут Зося...) Пожалуйста, закурите... (Еще не хватало, чтобы я предложил ей закурить!) Как истинный поляк вы должны нам помочь в борьбе против нашего общего врага — немца... Где находится ближайшая аптека (больница, баня)?..»

Обескураженный, я спрятал книжечку в карман, сказав самому себе, что обойдусь и без нее.

Стефан — слушал ли он или говорил — своими умными, с хитринкой глазами внимательно присматривался к нам, как бы желая определить, что мы, «радецкие», за люди, насколько изменились русские за три без малого десятилетия с тех времен, когда он служил в царской армии, и, наверно, более всего хотел бы разведать и уяснить, чего от нас следует ждать.

Слегка, приятно опьянев и ободренный к тому же Зосиной приветливостью, я начал поглядывать на нее чуть дольше, как вдруг она мгновенно осадила меня: посмотрела в упор, строго и холодно, пожалуй, даже с оттенком горделивой надменности.

Ошеломленный, я и представить себе не мог причины подобной перемены. Да что я такого сделал?.. Неужто позволил лишнее?..

А может, это была та самая игра, какую подсознательно уже многие века и тысячелетия ведет слабая половина рода человеческого с другой, более сильной?.. Не знаю. Если даже и так, то я в ту пору был еще слишком робок и неопытен, чтобы принять в ней участие.

Я терялся в догадках, впрочем, спустя какую-нибудь минуту Зося взглянула на меня с прежней веселостью и радушием, и я тотчас внутренне ожил и ответно улыбнулся.

Вскоре я заметил или мне показалось, что она поглядывает на меня чаще, чем на Витьку или Карева, и как-то особенно: ласково и выжидательно — словно хочет со мною заговорить либо о чем-то спросить, но, по-видимому, не решается. И всем существом своим я внезапно ощутил смутную, но сладостную надежду на вероятную взаимность и начало чего-то нового, значительного, еще никогда мною не изведенного. Я уже почти не сомневался: между нами что-то происходило!

Хмель развязал понемногу языки и растопил некоторую первоначальную сдержанность. Ванда, чему-то про себя усмехаясь, довольно откровенно посматривала на Витьку, что было с ее стороны безусловной ошибкой: по Витькиному убеждению наступать полагалось мужчине, а женщинам следовало только обороняться; к тому же он не признавал в жизни ничего легкого, достигающегося без труда и усилий.

Я снова поймал на себе загадочно-непонятный, но вроде бы выжидательный взгляд Зоси и буквально через мгновение ощутил легкое, как мне показалось, не совсем уверенное прикосновение к своему колену — у меня перехватило дыхание, а сердце забилось часто и сильно.

Надо было действовать! Не теряя времени, немедля!

«Смелостью берут города... — подбодрил я себя. — Не будь рохлей!.. Ну!..» И с внезапной решимостью я подвинул вперед ногу. В тот же миг Карев поморщился от боли — у него осколком была задета коленная чашечка, — взглянул под стол и, ничего не понимая, вопросительно посмотрел на меня.

Я сидел, сгорая от конфуза, но Зося, кажется, ничего не заметила, а если и заметила, то виду не подавала. Немного по-

годя она что-то сказала Стефану, и он, улыбаясь, обратился ко мне:

— Товарищ молится Богу?

— Нет, почему? — удивился я.

— Зоська говорит, что товарищ на речке молился.

— Так вот что ее интересовало! Только-то и всего?!

— Это не молитва... — я покраснел и опечалился. — Совсем...

— Это стихи, — услышав и сразу сообразив, пояснил Витька и огорченно, с укоризной посмотрел на меня. — Вот видишь...

Было бы неверно сказать, что Витька не любил поэзию, — он ее просто не понимал.

— Чушь! — например, от души возмущался он. — Да где он видел розового коня?! Я же сам из крестьян! Навыдумывают черт-те что!

Стефан, должно быть, не знал или позабыл, что означает слово «стихи» и, повторив его медленно вслух, недоуменно пожал плечами.

— Ну, Пушкин... — еще более смутясь, проговорил я.

— А-а-а... — он улыбнулся и сказал что-то Зосе.

Витька же, не упустив случая, заявил, что церковь — это опиум и средство угнетения трудящихся и что с религией и с Богом у нас в основном покончено. Если где и остались еще одиночные верующие, то это темные несознательные старики, отживающие элементы, а молодежь-де такой ерундой не занимается, и девушка вроде Зоси — он показал на нее взглядом — постыдилась бы носить на шее цепочку с крестом...

Кажется, он не сказал ничего обидного, но как только Стефан перевел, произошло неожиданное: Зося, вспыхнув, пламенно залилась краской, ее нежное, матово-румяное лицо в мгновение сделалось пунцовым, глаза потемнели, а пушистые цвета каштана брови задрожали обиженно, как у ребенка.

Я даже не без страха подумал, что она вот-вот расплачется, но она, с гневом и презрением посмотрев на Витьку, вдруг энергичным движением вытащила из-за пазухи цепочку с католическим крестиком и вывесила его поверх блузки, вскинув голову и с явным вызовом выпятив вперед грудь.

В ее лице, осанке и взгляде выразилось при этом столько чувства, столько негодования, гордости и нескрываемого пре-

зрения, что Витька подрастерялся. Бодливо наклоня голову, он посмотрел на меня, затем на Карева, словно ища поддержки или призывая нас в свидетели и как бы желая во всеуслышание заявить: «Вы видите, что она вытворяет?!»

Пани Юлия быстро, умоляющим голосом о чем-то просила Зосю, и Стефан, нахмурясь, тихо, нетвердо сказал ей несколько слов, очевидно предлагая спрятать крестик, однако Зося, пунцово-красная, разгневанная, уставясь прямо перед собой, сидела, не двигаясь, только взволнованно поднималась маленькая грудь.

В напряженной тишине угрожающе сопел Витька, и, зная его, я, конечно, понимал, что стерпеть подобную демонстрацию и промолчать он будет просто не в состоянии.

— Кстати, у нас, в Советском Союзе, — вдруг послышался голос Карева, — свобода вероисповедания! И чувства верующих уважаются государством!

Он сказал это, ни к кому, собственно, не обращаясь, отчетливо и так громко, словно выступая перед большой аудиторией. Витька исподлобья посмотрел на него, сосредоточенно соображая, вероятно, смекнул, что в данном случае не следует выставлять принцип и что лучше уступить, и, наконец, пересилив себя, заговорил со Стефаном о хлебах.

Спустя буквально минуту он, словно ничего и не было, радушно беседовал с пани Юлией и Стефаном и даже улыбался, однако Зося успокоилась и отошла еще не скоро. Напрасно Карев старался отвлечь ее, рассмешить или как-то расшевелить — она сидела все еще оскорбленная, молчаливая и строгая, не замечая Витьки или, во всяком случае, не глядя в его сторону. Прошло порядочно времени, прежде чем она несколько смягчилась и начала улыбаться, однако крестик так и не убрала — он по-прежнему висел поверх блузки.

Между тем Витька, сварив в крепком мясном бульоне пельмени, сам разложил их на тарелки и показал, как надо их есть, хорошенько полив сделанным им по особому рецепту острым соусом из уксуса и горчицы. Готовил он необычайно вкусно, а пельмени по-сибирски были его коронным блюдом, и неудивительно, что, отведав, и пани Юлия, и гости отметили его кулинарное искусство и довольно быстро опустошили два больших блюда. Мне очень нравилась Витькина стряпня, и,

наверно, я тоже съел несколько штук, но точно не знаю — в тот час мне было не до пельменей.

Все это время я то и дело поглядывал на Зосю, впрочем, думается, не больше, чем на Стефана или пани Юлию. Только на них я смотрел, не стесняясь, преимущественно по необходимости, для маскировки, а на Зосю — украдкой, как бы мимоходом и невзначай, млея от нежности и затаенного восторга.

Даже когда я не смотрел на нее, я каждый миг ощущал ее присутствие и не мог думать ни о чем другом, хотя пытался прислушиваться к разговору, улавливал отдельные фразы и даже улыбался, если рядом смеялись.

Со мною творилось что-то небывалое. Еще никогда в жизни я не испытывал такого волнения при виде девушки или женщины, хотя влюблялся уже не раз, причем впервые, когда мне было всего пять или шесть лет и моей «пассии» примерно столько же. Последний же предмет моих сокровенных вздыханий, санитарка из соседнего батальона Оленька, была в начале наступления тяжело ранена и находилась где-то в тыловом госпитале, ничуть и не подозревая о моих чувствах.

Тогда, в юности, я частенько говорил стихами, справедливо полагая, что очень многие мысли и желания выражены поэтами несравненно лучше, ярче и точнее, чем это удалось бы мне. И сейчас в голове моей неотвязно вертелось:

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу...

Ах, если бы я смел сказать это Зосе, если бы я только мог и умел!..

Разговор по-прежнему велся главным образом между Витькой и Стефаном — хозяйственный, по-крестьянски обстоятельный и во многом непонятный для меня или Карева — о землях и пахоте, об урожаях, надоях и кормах. Беседовали они спокойно и неторопливо, пока Стефан не поинтересовался тем, о чем нас уже спрашивали и в других деревнях: будут ли в Польше колхозы и правда ли, что всех поляков станут переселять в Сибирь?

Витька — он был родом из-за Омска, — как и обычно в таких случаях, ужасно обиделся и оскорбился.

— Ты, Степа, говори, да не заговаривайся! — сбычась, рассерженно воскликнул он. — С чужого голоса поешь! Тебе Сибирь что — место каторги и ссылки?! Ты ее видел?.. Из окошка? Проездом?.. Да я свою Михайловку на всю вашу округу не променяю! — потемнев от негодования, запальчиво вскричал он. — На всю вашу Европу!.. С чужого голоса поешь! От немцев нахватался?! Позор!.. Я за такие байки любому глотку порвать могу — учти!..

Стефан — он был заметно под хмельком, — ошарашенный столь внезапным оборотом до того спокойного и дружелюбного разговора, приложив руку к груди, растерянно бормотал «пшепрашам паньства» и, как мог, извинялся. Остальные притихли, причем Зося с откровенной неприязнью смотрела на Витьку. Ощущая немалую неловкость, я тоже молчал, и снова находчиво и удачно вмешался Карев:

— Давайте выпьем за Михайловку, — весело предложил он, доливая в стакан Стефану, — и за Новы Двур!

Я уже достаточно опьянел, но попытаться заговорить с Зосей все никак не решался. Для смелости требовалось еще, и неожиданно для самого себя, взяв у Карева графин, я наполнил бимбером свой стакан из-под браги.

Витька, все еще нахохленный после разговора о колхозах и Сибири, посмотрел на меня с удивлением и очевидным недовольством, хотел что-то сказать, но засопел и промолчал.

До того дня мне никогда не доводилось выпивать сразу столько водки, а тем более неразбавленного самогона, и делать это, разумеется, не следовало. Однако меня подзадорило высказанное ранее Стефаном замечание, что, дескать, немцы, слабоваты против нас — пьют крохотными рюмками, — на меня повлияло и присутствие Зоси, и стремление обрести наконец смелость, необходимую, чтобы заговорить с ней. Недовольство же Витьки показалось мне явно несправедливым — да что, в самом деле, я хворый, что ли?

Впрочем, отступить было уже невозможно; я с небрежным видом — мол, подумаешь, эка невидаль! — поднял стакан и, улыбаясь, бодро посмотрел на Стефана и пани Юлию: «Сто лят, панове!..» Запомнилось, что пани Юлия глядела на меня задумчиво и грустно, подперев щеку ладонью, совсем как это делала моя бабушка.

Я знал понаслышке, что такое бимбер, и все же не представлял, сколь он крепок — настоящий горлодер! Я ожегся и поперхнулся первым же глотком, в глазах проступили слезы, и, с ужасом чувствуя, что вот сейчас оконфужусь, я, еле превозмогая себя, умудрился выпить все без остатка и, лишь опустив стакан и заметив, что на меня смотрят, заметив внимательный и вроде насмешливый взгляд Зоси, закашлялся и покраснел, наверно, не только лицом, но даже спиной и ягодицами.

Мне сразу сделалось жарко и неприятно; я сидел стесненный, ощущая ядреный самогон не только в голове, но и во всем теле, ничего не видя и не замечая малосольный огурец и кусок хлеба, которые совал мне сбоку Стефан, напевавший при этом:

Мы млодзи, мы млодзи,
Нам бимбер не зашкодзи.
Вемц пиймы го шклянками,
Кто з нами, кто з нами!..¹

Через несколько минут я понял, что совершил непоправимое, — и дернула меня нелегкая выпить эту свирепую гадость! Я пьянел стремительно и неотвратимо; все вокруг затягивало прозрачной пеленой — и стол, и лица людей я видел уже как сквозь воду.

Снова вытащив разговорник, я начал его листать, однако вспомнил, что он бесполезен, и сунул назад в карман. В голове слегка шумело и путалось, но одна мысль ни на мгновение не оставляла меня: я должен — во что бы то ни стало! — заговорить с Зосей.

Я все-таки соображал, что она меня не поймет, и, повернувшись, крепко взял Стефана за руку — чтобы привлечь его внимание — и, сжимая ему ладонь, требовательно сказал:

— Прошу вас — переведите!

Затем, постучав кулаком по столу, прикрикнул на всех: «Минутку!» — и, для внушительности строго уставясь Стефану

¹ Мы молодые, мы молодые,
Нам бимбер не повредит.
Так пьем же его стаканами,
Кто с нами, кто с нами!.. (польск.).

в лицо и стискивая ему руку, громко, должно быть, чересчур громко продекламировал:

Дорогая, сядем рядом!
Поглядим в глаза друг другу!
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу!

Стефан и рта не успел раскрыть — недоумело улыбаясь, он смотрел на меня, — как слева оглушительно захохотал Семенов, и еще кто-то засмеялся.

— Сюсюк! — тотчас услышал я над ухом разгневанный голос Витьки. — Даже пить не умеешь! Погоны позоришь и Советский Союз в целом!.. Проводить тебя?!

— Не-е-ет! — замотав головой, громко и решительно заявил я.

Мне теперь и море было по колено. Я смотрел на Зосю, но уже не видел отчетливо: ее лицо двоилось, плясало, расплывалось, а мне было жарко и худо, спустя же какие-то полминуты начало основательно мутить.

Я поднялся и, удерживая равновесие, пошатываясь и на что-то натыкаясь, двинулся к дверям.

Карев догнал меня в сенях и, полуобняв, вывел на крыльцо, но мне это не понравилось, и я вывернулся, оттолкнув его.

— Я провожу вас...

— Не-ет! — сердито закричал я. — Сам!

И он послушно ушел.

Я постоял на крыльце, с облегчением вдыхая свежий воздух, обиженный на все и на всех, затем решил: «А ну их к черту!» — шагнул и полетел со ступенек вниз, больно ударясь обо что-то лицом.

Потом я оказался на задах, у риги, и Семенов — это был он, — держа меня под руку, презрительно говорил:

— Эх, назола! Всю рожу ободрал...

Он пригнул мою голову книзу, сунул мне в рот свои пальцы и, когда меня вырвало, вытирая руку о голенище, наставительно сказал:

— Газировочку надо пить. И не больше стакана — штаны обмочите...

* * *

Я очнулся поздним вечером в душной риге на охалке сена. Левая створка ворот была распахнута, и прямо перед моими глазами тихая нежная луна низко стояла над садом, а дальше, разбросанные в темно-синем небе, искрясь, трепетали десятки звезд.

Совсем рядом, чуть ли не задевая меня хвостами и тихонько повизгивая, возились, играя, какие-то собаки — три или четыре, — не обращая на меня ни малейшего внимания. Во рту было противно, голова разламывалась от боли, а руки, шея, лицо и даже тело под гимнастеркой и шароварами отчаянно чесались и горели — я весь был искусан блохами.

Откуда-то издали доносилось запоздалое пение одинокого соловья, а около хаты слышались звуки Витькиной гитары, шарканье ног, веселые голоса и смех.

Играл Витька, откровенно сказать, неважно. Как правило, его умение сводилось к довольно заурядному и почти однообразному аккомпанементу, правда, он это объяснял тем, что гитара-то шестиструнная, а он, мол, привык к отечественной — семиструнной. Да и пел он средне, без особого таланта, но я его любил, и, должно быть, поэтому мне нравилось.

Сейчас он не пел, а брнчал что-то похожее на вальс — там, возле хаты, танцевали. И Зося тоже, наверное, танцевала; собственно говоря, а почему бы и нет?.. Там, несомненно, было весело; и ей, очевидно, тоже. Ну и пусть, и пусть...

Не жалею, не зову, не плачу,
— убеждал я самого себя. —

Все пройдет, как с белых яблонь дым...

Я лежал, прислушиваясь к смеху, шарканью и голосам, и мучился не только душевно: злые неумные блохи жилили меня, жгли как огнем.

Немного погодя в ригу, чуть прихрамывая и нетвердо ступая, пришел Карев. Он присветил фонариком и, увидев меня, необычным полупьяным голосом заговорил:

— Вы не спите?.. Пойдемте на воздух — здесь полно блох. Вас не кусают?

Я был нещадно искусан, но чувство обиды и противоречия еще не совсем оставило меня.

— Нет! — ощущая сильнейшую головную боль, упрямо сказал я. — Никуда я не пойду.

Карев, обычно молчаливый, подвыпив, становился словоохотливым и сейчас, взяв с сена свою шинель и встряхнув ее, продолжал:

— А какой все-таки молодчага наш командир батальона! Простоват, но орел орлом!.. Великая это вещь — обаяние силы! Вы заметили: они все смотрят на него восторженно и влюбленно!

— Так уж все?

— Клянусь честью — и старые и молодые! А со Степой он дважды целовался... Молодчага и хват, — воскликнул Карев восхищенно, — ничего не скажешь! Одного лишь бимбера выпил больше литра, и как стеклышко!.. А я вот еле держусь... И вы знаете, он бесконечно прав: женщинам нравятся сильные и решительные! До наглости самоуверенные, идущие напролом!.. А вот мы с вами слишком интеллигентны, чтобы пользоваться успехом... Никчемная интеллигентность, — раздумчиво и огорченно вздохнул он, — будь она трижды неладна!.. Тут, понимаете... с женщинами необходима боевая наступательная тактика, — он взмахнул сжатой в кулак рукой, — напористость, граничащая с нахальством!..

Я мог, конечно, разъяснить ему, что мой отец — потомственный рабочий, а мать — ткачиха, причем из бедной крестьянской семьи, и что сам я попал на войну со школьной скамьи, еще не успев стать интеллигентом, и что дело, по-видимому, в чем-то другом, но мне не хотелось говорить. И я лишь заметил, медленно и с трудом произнося слова:

— А я не ставлю себе целью кому-нибудь нравиться. Тем более женщинам. Меня это ничуть не волнует...

Я проснулся на рассвете с тяжеловатой головой и чувством огорчения и стыда за вчерашний вечер, за свою опьянелость и мальчишески-дурацкое поведение. Встал хмурый, а когда, умываясь возле машины, глянул в зеркальце и увидел на носу

и на скуле багровые ссадины, — совсем расстроился. Однако сожалеть и предаваться угрызениям было некогда — не завтракая, я тотчас принялся за работу.

Когда поднялся Витька, я уже закончил донесения о мероприятиях по маскировке, ПВО и ПХЗ, дал ему подписать и отправил с мотоциклистом в штаб бригады.

Мы позавтракали у машины втроем — Витька, Карев и я, причем они, избегая разговора о вчерашнем и словно не замечая, что у меня окорябаны нос и скула, обсуждали план занятий с подразделениями по уставам и по тактике, интересуясь и моим мнением.

После их ухода, составив не без труда еще одно срочное донесение, я занялся похоронными.

Мне предстояло заполнить двести три совершенно одинаковых форменных бланка, вписав в каждый: адрес, фамилию и инициалы одного из близких погибшего, а также воинское звание, фамилию, имя, отчество убитого, год и место его рождения, дату гибели и место захоронения.

Исполненный великолепным каллиграфическим почерком образец, присланный из штаба в качестве эталона, лежал передо мною, все нужные сведения также имелись, и, приступая, я почему-то мельком подумал, что это простая механическая работа, несравненно более легкая, чем составление неведомых мне отчетностей и донесений, — как же, однако, я ошибался!

Многих из убитых я знал лично, некоторые были моими товарищами, двое — друзьями. И, начав писать, я целиком погрузился в воспоминания: я как бы вторично проделывал восьмисоткилометровый путь, пройденный батальоном за месяц наступления, еще раз участвовал во всех боях, опять видел и переживал десятки смертей.

И вновь на моих глазах тонули в быстром холодном Немане автоматчики из группы захвата старшего лейтенанта Аббасова, веселого и жизнерадостного бакинца, часа два спустя — уже на плацдарме — раздавленного тяжелым немецким танком.

Опять я слышал, как, лежа с оторванными ногами на минном поле, кричал, истекая кровью, мой связной Коля Брагин, славный и привязчивый деревенский паренек, единственный кормилец разбитой параличом матери.

Я снова видел, как через пустошь на окраине Могилева, увлекая за собой бойцов и силясь преодолеть возрастную

одышку, бежал впереди всех пожилой и мудрый человек, в прошлом инженер-механик, парторг батальона лейтенант Ломакин, и падал на самом всполье, разрезанный пулеметной очередью.

И, прокусив от страшной, нечеловеческой боли насквозь губу, еще раз корчился сожженный струей из огнемета мой любимец и лучший боец, владивостокский грузчик Миша Саенко.

И, лежа на дне окопа с животом, распоротым осколком мины, тихонько стонал и в забытьи слабеющим, еле слышным голосом звал: «Ма-ма... Ма-ма... Ма-мочка...» — командир батареи Савинов, старый — по возрасту годный мне чуть ли не в дедушки — учитель математики из-под Смоленска, редкой душевности человек.

И снова... Опять... И вновь...

Все они, да и десятки других убитых были не посторонние, а хорошо знакомые и близкие мне люди. Заполняя извещения, я смотрел в тетради учета личного состава, листал уцелевшие красноармейские книжки, офицерские удостоверения, узнавал о некоторых из погибших что-то новое, подчас неожиданное, припоминал, и они явственно, словно живые, вставали передо мной, я слышал их голоса и смех — как это было совсем недавно — и еще раз переживал их гибель.

Пока их смерть была достоянием лишь батальона. Однако почти все они имели родных: матерей и отцов, жен и детей, имели родственников и, несомненно, друзей, где-то в городах и деревнях о них думали, волновались, ждали и радовались каждой весточке. И вот завтра полевая почта повезет во все концы страны эти похоронные, неся в сотни семей горе и плач, сиротство, обездоленность и лишения.

Страшно было подумать, сколько надежд и ожиданий разом оборвут эти сероватые бумажки с одинаковым стандартным сообщением: «...в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм... был убит». Страшно было даже представить, — но что я мог поделать?..

Мне с самого начала, как только я занялся похоронными, не понравилось указанное в присланном образце официально-казенное обращение: «Гр-ке...». Третье или четвертое извещение, которое я заполнял, адресовывалось в Костромскую область матери моего друга Сережи Защипина, Евдокии

Васильевне, милой и радушной сельской фельдшерице. Я ее знал: дважды она приезжала в училище и баловала нас редким по военному времени угощением, сдобными на меду домашними лепешками, и все звала меня после войны к себе в гости, на Волгу. И я почувствовал, что назвать ее «гр-ка» или даже «гражданка» я не могу и не должен. Уважаемая?.. Товарищ?.. Милая?.. Дорогая?.. Я сидел в нерешимости, соображая, вспомнил почему-то Есенина и после некоторого колебания вывел: «Дорогая Евдокия Васильевна!»

Посоветоваться мне было не с кем, а время шло, и я на свою ответственность после адреса и фамилии с инициалами стал всем без исключения писать «дорогая» или же «дорогой», а затем указывал полностью имя и отчество.

В строке «Похоронен» я везде писал «на поле боя», и эти три слова все время беспокоили меня.

Я помнил, как в самую распутицу первой военной весны мать, сколько ее ни отговаривали, отправилась пешком чуть ли не за двести километров разыскивать могилу Алеши, моего старшего брата, убитого где-то под Вязьмой, и как недели через две, так ничего и не найдя, она вернулась, измученная, больная, совершенно обезноженная и постаревшая сразу на много лет.

Я не сомневался, что многие из моих адресатов, многие из тех, кому я писал «дорогие», захотят, если не сейчас, то после войны, разыскать могилы близких им людей. Однако в ходе наступления мы оставляли убитых похоронным командам стрелковых дивизий, а потому не знали точно места захоронения, и указать его при всем желании я не мог.

Единственно, что после долгих размышлений я еще надумал — вписать в каждое из двухсот трех извещений перед «Ваш сын (муж, отец, брат...)» следующие слова: «С глубоким пригорбьем сообщаем, что...»

Это также было, конечно, вольностью и отклонением от формы и образца, но я решил, что подобная отсебятина, смягчающая официальную сухость похоронных, желательна и просто необходима. Если же в штабе бригады не захотят заверить мою самостоятельность печатью, что ж, я перепишу все заново — в батальоне имелось еще тысячи две чистых бланков.

Часов в десять утра приехали поверяющие из бригады: начальник строевого отдела, немолодой, молчаливый и не-

улыбчиво-строгий капитан и инструктор политотдела, подвижный и шумный старший лейтенант, тоже в годах; увидев меня, он еще с улицы, достав из машины связку свежих газет и брошюр, громко и радостно закричал, что наши войска штурмом овладели городами Нарвой и Демблин (Иван-город).

Нарва находилась где-то далеко на северо-востоке, под Ленинградом, а Демблин – где-то южнее Белостока и тоже не близко; я никогда не был ни там, ни там, и эти с боями взятые города представились мне в ту минуту с чисто писарской, наверное, точки зрения – многими пачками похоронных.

Я поднялся и доложил, с недовольством подумав, что теперь у меня отнимут немало времени, однако, к счастью, они сразу же отправились в подразделения.

Похоронные заняли у меня не менее шести часов, причем я даже представить себе не мог, сколь разбитым, расстроенным и опустошенным буду чувствовать себя, по мере того как передо мной вырастала стопа заполненных извещений. Я писал, охваченный скорбными мыслями и воспоминаниями, и мог только позавидовать Витьке и Кареву: не ведая моих переживаний, они занимались с бойцами и оттуда, из-за деревни, где маршировали остатки батальона, доносились слова бодрой строевой песни:

Шко-ола мла-адших командиров
Ком-состав стра-не лихой кует.
Сме-ело в бой идти готовы
За-а трудящийся народ!
В сме-ертный бой идти готовы
За трудящийся народ!

Как и вчера, стоял чудесный солнечный день, жаркий, но не пеклый, и так славно, так изумительно пахло яблоками и медом. Как и вчера, Зося с утра возилась по хозяйству около хаты и на огороде, выполняя разную легкую работу, причем пани Юлия не однажды останавливала ее, стараясь по возможности все сделать сама. Я уже заметил, что она тщательно оберегает Зосю, как без меры, до баловства любимую дочку, единственную у матери, потерявшей в боях с немцами еще осенью тридцать девятого года сына и мужа.

Пробегая поутру через сад, Зося на ходу приветливо бросила мне: «Дзень добры!» — и я смущенно пробормотал ей вслед: «День добрый...». Я сидел, переставив стол так, чтобы густая огрузлая ветвь яблони свисала у самого моего лба, прикрывая оцарапанное лицо.

Потом Зося еще много раз, напевая что-то игриво-веселое, проходила или пробегала мимо меня, то с маленьким ведерком — носила воду в бочки на огород, — то с цапкой или еще с чем-то.

Поглощенный похоронными, я уже не смотрел ей вслед, как вчера; я вообще почти не поднимал глаз и если видел ее мельком, то лишь случайно, непреднамеренно. Отвлекаться и обращать на нее внимание представлялось мне в то утро чуть ли не кощунственным неуважением к памяти погибших. Уверен, что, если бы она знала, чем я занят и что содержат эти сероватые бумажки, она бы не пела так радостно и не бегала бы через сад мимо меня.

Часа в два пополудни, заполнив последнюю похоронную, я послал часового с приказанием в пятую роту, предложив ему заодно пообедать самому и принести мне обед с батальонной кухни. Когда он ушел, я занялся было донесением, но затем, передумав, достал из планшетки однотомник, решив позволить себе короткую передышку.

Я огляделся: в саду и на дворе никого не было — начал читать и сразу же увлекся. Выйдя из-за стола, я с удовольствием декламировал то, что мне более всего нравилось, преимущественно по памяти, почти не обращаясь к тексту.

Я отчасти забылся, однако стоял лицом к хате и смотрел перед собой, чтобы вовремя заметить возвращение бойца.

Я читал с выражением и любовью, наслаждаясь каждой строкой и в душе радуясь, что часового еще нет и мне никто не мешает.

...Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста.
Не бродить, не мять в кустах багряных...

Я стремительно обернулся на шорох — сбоку от меня, шагах буквально в десяти, под яблоней, держась рукою за ствол, стояла Зося.

Не знаю, что могла она ощущать, не понимая языка, но лицо у нее было сосредоточенное, взволнованное, словно она что-то переживала, а открытые широко глаза напряженно смотрели на меня. Возможно, ее захватила проникновенная мелодичность, прекрасное, подобное музыке, звучание есенинских стихов или она силилась догадаться, о чем в них говорилось, — не знаю.

Умолкнув на полуслове, я залился краской и, тотчас вспомнив о ссадинах, поспешно отвернулся, однако явственно слышал, как у меня за спиною она тихо сказала: «Еще!» И польски и по-русски это слово означает одно и то же.

Я совсем растерялся, по счастью, в эту минуту появился боец с двумя дымящимися котелками. Из-за ветви, краем глаза я видел, как Зося, сняв с сучка небольшой, сверкнувший на солнце серп, медленно, гордо и вроде с недовольством пошла меж яблонь. Когда она скрылась в конце сада, я начал есть, положив перед собой раскрытый однотомник; впрочем, минут через пятнадцать я уже составлял очередное донесение.

Вскоре вернулись Витька и Карев. Настроение у них было приподнятое — поверяющие остались довольны батальоном. Как признался Витьке политотделец, они ожидали худшего, поскольку командир бригады приказал им бывать у нас чуть ли не через день, контролировать и помогать.

По моей просьбе Витька, присев с краю стола, за какие-нибудь полчаса подписал все похоронные. При этом он не вздыхал, не раздумывал и вообще не проронил ни слова, однако по-своему переживал: наклоня голову и насупясь, тяжело, натужно сопел, то и дело, очевидно, встречая фамилии хорошо знакомых ему людей, морщился, как от кислого или от боли, сдавленно кряхтел и с ожесточением скреб пятернею затылок.

Закончив, так же молча поднялся, умылся возле машины и, уже вытираясь, позвал меня на обед, приготовленный пани Юлией. Мне не хотелось туда идти, и, поблагодарив, я показал под яблоню на порожние котелки — не настаивая, он и Карев ушли в хату.

После обеда Витька, прослышав, что в лесу неподалеку имеется заготовленный еще при немцах швырок, решил привезти по машине пани Юлии и Стефану.

Это было в его обычае.

— Мы не просто воины, а освободители, — не однажды с достоинством говорил он бойцам. — Кого мы освобождаем?.. Обездоленных!.. Мы обязаны, чем возможно, помогать им. Мы должны не брать, а давать...

Убежденный в этом, он, где бы мы ни стояли, в свободные минуты охотно помогал жителям: заготавливал для них топливо или вскапывал огороды, отрывал на пожарищах землянки и даже умудрялся складывать печи из старого битого кирпича. Я не сомневаюсь, что впоследствии эти люди нередко вспоминали его добрыми словами.

Еще он очень любил и также полагал делом чуть ли не государственной важности, насадив полный кузов ребятишек — то-то бывало крику, визга и радости! — покатать их вдоволь с ветерком, хотя наш прежний, погибший две недели назад командир батальона не одобрял подобный, по его выражению, «не вызванный необходимостью расход бензина» и не раз указывал Витьке на это.

По распоряжению Витьки Семенов пригнал «студебеккер» минометной батареи. Я видел и слышал, как, стоя во дворе у машины, Витька расспрашивал Стефана о дороге и как тот убеждал его не ездить. По словам Стефана, леса вокруг буквально кишели немцами, пробирающимися из окружения к линии фронта; дня три назад на хуторе невдалеке они вырезали польскую семью, а позавчера в том самом лесу, куда собирался ехать Витька, обстреляли из чащобы наш санитарный автобус, убив водителя и фельдшера, а машину с ранеными сожгли.

И пани Юлия тоже упрашивала Витьку, и подоспевшая к ним Зося по-своему грозила ему кулачком и что-то быстро, с возмущением говорила матери и Стефану, как я понял, требуя, чтобы они запретили Витьке ездить.

Однако все эти уговоры могли только подзадорить Витьку. Снисходительно, благодушно усмехаясь, он велел Семенову принести два автомата, запасные диски и штук шесть гранат, проверив мельком оружие, уселся за руль — Семенов поместился

рядом — и поехал со двора. В самый последний момент Стефан, не на шутку рассерженный его упрямством, от души ругаясь по-польски и по-русски, поминая холеру, «дзябола», а также Витькиных родителей, уже на ходу вскочил сзади в кузов.

Я сидел под яблоней и писал, но мысленно находился в лесу с Витькой. Мне очень хотелось поехать с ним и чтобы на нас в самом деле обязательно напали — вот тогда бы я себя и проявил. Мне грезилось, как мы возвращаемся в деревню, причем я тяжело и опасно ранен, а в кузове, навалом — убитые мною немцы. Нас встречают взволнованные Зося и пани Юлия, а Стефан и Витька наперебой рассказывают им, что если бы не я, то никто бы вообще не уцелел.

Смешно и нелепо, что я мог об этом мечтать, да и зачем было бы привозить из леса трупы врагов, но, помнится, я этого действительно сильно желал. Чтобы Зося — и не только она — на деле убедилась, что я не просто писаришка, не какой-нибудь юнец с окорябанным носом, способный лишь корпеть над бумажками и читать стихи, а мужчина и воин. Понятно, она видела награды у меня на гимнастёрке, однако ордена получали и в штабах, перепали они подчас тем же писарям, и потому мне очень хотелось наглядно проявить себя.

Я так размечтался, что испортил донесение о наличии инженерного имущества в батальоне, и пришлось все переделывать.

Витька с Семеновым и Стефаном вернулись часа через полтора, довольные и веселые, на машине, груженной выше бортов отменным березовым швырком. Пани Юлия тоже заулыбалась, но Зося негодовала по-прежнему. Как объяснял Витьке Стефан, она не желала дров, из-за которых кто-то мог погибнуть, и заявила, что они с матерью проживут и обойдутся и без этого швырка. Она столь темпераментно протестовала и выражала свое возмущение, что пани Юлия быстро сдалась, отказалась от дров и попросила Витьку увезти их на двор к Стефану.

Против обыкновения, Витька даже не попытался настаивать, машина тут же развернулась и уехала, пани Юлия и Зося ушли куда-то по своим делам, и я остался с злополучными бумажками. Несмотря на все мои старания и усилия, их вроде и не убывало, а мне так хотелось закончить наконец и со спокойной душой написать письмо матери.

Я трудился, не разгибаясь, меж тем Витька привез вторую машину дров, и, пользуясь отсутствием Зоси и пани Юлии, он с Семеновым и Стефаном проворно сбросили швырок и за минуту-другую сложили в поленницу возле риги.

Я помнил, что требуется сменить часового в саду, и, как только Семенов освободился, поставил его на пост. Стефана тем временем позвали — к нему приехали родичи, — и он ушел, еще раз поблагодарив Витьку и пригласив его зайти и распить со свояком бутылку бимбера. Витька обещал — малость погоды.

Прежде чем отогнать машину, он сидел на подножке и курил, в задумчивости оглядывая ровную поленницу, когда на дворе появилась какая-то нищенски одетая, жалкая и грязная старуха и обратилась к нему плачущим голосом.

Она запричитала, часто повторяя «ниц нема»¹ и показывая то на поленницу, то через улицу, на хилую хатенку, где, очевидно, она жила.

— Завтра, мамаша, завтра, — сразу поняв ее, заверил Витька. — Обязательно!

Я не сомневался, что он и ей завтра привезет дров, но она этого не понимала и продолжала плакать, стучая себя костлявой рукой по груди и упрямо повторяя «ниц нема».

— Вот чертова бабка, колись она пополам! — поднимаясь, в сердцах воскликнул Витька, не переносивший слез; он строил свирепое лицо и, словно ища сочувствия, посмотрел в мою сторону, — как банный лист!

Сделав последнюю затяжку, он загасил каблуком окурок и живо взялся за дверцу кабины.

Я почувствовал, что он решил съездить сейчас же, причем один, а солнце уже садилось, и в лесу наверняка смеркалось, отчего опасность нападения намного возрастала. Поспешно собрав бумаги, я запер их в металлический ящик и, схватив из «доджа» свой автомат, бросился на двор.

— Ты куда?.. — высовываясь из кабины, удивленно спросил Витька. — За дровами?.. Ты давай с бумажками кончай! — распорядился он. — Я быстренько!

И, отжав сцепление, ходко поехал со двора, а я постоял, глядя ему вслед, подумал еще, что мне бы надо было проявить

¹ Ничего нет (польск.).

настойчивость и не отпускать его одного, и затем вернулся в сад.

Писать я уже физически не мог. Рука онемела и совсем отнималась; как я ни напрягал глаза, в смуром полусвете под яблоней буквы и строки различались с трудом; голова разламывалась и не соображала. К тому же Семенов, видимо недовольный тем, что я на весь вечер поставил его часовым, и уверенный, должно быть, в моем мягкосердечии и своей безнаказанности, набрал в подол гимнастерки яблоч и, развалясь на сиденье «доджа», демонстративно, с невероятным хрустом жрал их и, швыряя огрызки, нагло и вызывающе поглядывал на меня.

Я ушел за деревню, и сразу же мысли о Зосе овладели мною. Произошло это не по моему желанию, а произвольно, и я, как мог, пытался перебороть себя.

Действительно, какое мне дело до этой Зоси?..

И собственно говоря, что она такое и что в ней особенного?.. Самая обыкновенная девчонка, каких в моей жизни — если, понятно, я уцелею — встретится еще немало. Причем, без сомнения, будут среди них и лучше и красивее.

Да и что может быть общего между мною — комсомольцем, убежденным атеистом — и какой-то католичкой? Что?! Ведь она, если вдуматься и назвать вещи своими именами, — религиозная фанатичка. И к тому же еще, должно быть, ярая националистка...

Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться...

Теоретически все было правильно и логично, но, увы, только теоретически. И напрасно я то заставлял себя думать о другом, то, наоборот, старался выискать в ней что-нибудь дурное, уговаривая себя и домысливая черт знает что.

Я шагал и шагал полями, не задумываясь, куда и зачем, и лишь очутясь на опушке большого угрюмого в наступающих сумерках леса, остановился, оглядываясь и соображая.

Догадка осенила меня, когда я случайно рассмотрел на песчаной дороге свежие рубчатые следы шин «студебеккера».

Очевидно, это был тот самый лес, куда ездил Витька за дровами, и все объяснялось несложно: я слышал, когда после обеда Стефан отвечал Витьке, как проехать к полянке с заго-

товленным швырком, запомнил его рассказ и теперь, в глубине души беспокоясь за Витьку, сам о том не думая, шел по этой дороге.

В лесу крепко пахло хвоей, было темно, душно и мрачно-вато. Я углубился, наверное, не более, чем на пятьсот метров, когда увидел перед собой что-то очень черное, большое и не вдруг сообразил, что это — сожженный немцами наш санитарный автобус.

Подойдя, я не стал заглядывать внутрь — за полтора года я перевидал достаточно трупов, — а присел на корточки и, не без труда различив на обочине след «студебеккера», двинулся дальше.

Не помню точно, испытывал ли я страх в том зловещем враждебном лесу, но не волноваться, безусловно, не мог. Если бы с Витькой что-либо случилось, я бы никогда не сумел простить себе, что отпустил его одного.

Я шел в глубь густого массива, пока не услышал где-то впереди шум мотора, и, определив, что машина движется мне навстречу, скользнул в сторону и спрятался за деревьями.

Минуты две спустя мимо меня, тускло присвечивая затемненными фарами, проехал «студебеккер», груженный швырком; Витька, настороженно всматриваясь в полумрак, сидел за рулем.

У меня и в мыслях не мелькнуло его окликнуть. Просто мне хотелось и я считал своим долгом в случае чего быть рядом с ним. Однако я не сомневался, что, если бы он меня теперь увидел, если бы он узнал или, может, сам догадался, что меня привело в лес беспокойство, тревога за его жизнь, он наверняка бы посмеялся и, думается, сказал бы без злости, но и не скрывая своего презрения, что-нибудь вроде: «Телячьи нежности!» или «Пижонство, а также гнилой сентиментализм!»

И еще, должно быть, крепенько отругал меня: ведь я был совершенно безоружен; выходя, я не предполагал, что окажусь в лесу, и даже пистолета с собой не взял.

Он проехал к деревне, а я немного погодя выбрался на дорогу и побрел следом, мимо сожженной машины, к опушке.

Помнится, я даже не ощутил особой радости, когда лес наконец кончился и чересполосица ржей снова окружила меня. Что хорошего обещал мне этот вечер и что ждало меня в деревне?..

Будто сочувствуя, сиротливо шелестела колосьями рожь, и, не переставая, с утомительной монотонностью стрекотали кузнечики.

Я добрел до околицы, когда совсем уже стемнело и первые звезды набрали яркость, а луна, утратив начальную желтизну, сделалась серебристой.

В ее призрачном сиянии распятый Христос страдал на высоком деревянном кресте; признаться, мне тоже было нелегко: тоскливо и одиноко.

Еще подходя, я услышал гитару — играл Витька. Он, конечно, уже успел сгрузить дрова, поставил машину, переоделся, поужинал и теперь отдыхал. Будучи человеком действия, он скоро и решительно сделал нужное дело, а я в это же время со своим томлением и переживаниями телепался, как цветок в проруби, никчемно и бесполезно.

Там, возле хаты пани Юлии, видимо, как и вчера, собрались, чтобы потанцевать и повеселиться. Ну и ладно... А меня там не будет — я туда и не покажусь. И пусть Зося — да и не только она — думает, что меня это ничуть не волнует, что у меня есть дела поинтересней и поважнее, чем всякие танцы-шманцы, эмоции и ухаживания.

А Витька, аккомпанируя себе на гитаре, с чувством пел:

Разбирая поблекшие карточки,
Орошу запоздалой слезой
Гимназисточку в беленьком фартучке,
Гимназисточку с русой косой...

Вспоминаю, и кажется нелепым и неправдоподобным, что Витька, столь мужественный, сильный и цельный парень, не терпевший никаких сантиментов и нежностей, мог под настроение распевать подобную чувствительную дребедень. Нелепо и неправдоподобно, но, как говорится, из песни слова не выкинешь — было...

Вы теперь, вероятно, уж дамою,
И какой-нибудь мальчик босой
Называет вас, Боже мой, мамою,
Гимназисточку с русой косой.

Ну и пусть... В невеселом раздумье я стоял у креста; идти в деревню, с кем-либо общаться и разговаривать мне не хотелось, и я не знал, что же теперь предпринять. Куда себя деть и чем заняться до сна?..

От ближних хат тянуло жильем и аппетитным запахом свежеспеченного хлеба; я даже ощутил некоторый голод и не без грусти подумал, что, может, никто и не вспомнил, ужинал я или нет.

Постояв еще немного, я задворьем тихонько прошел к хате Стефана, где около крыльца размещалась батальонная кухня.

Из завешенного — для светомаскировки — дерюжкой окна доносилась русская и реже польская речь, но на дворе возле двухколесных автомобильных прицепов с полевыми котлами никого не было. Не желая звать повара — я узнал его по голосу, слышному из хаты, — я сам приподнял крышки и в одном из котлов обнаружил темный тепловатый чай, а в другом — остатки вкусно пахнувшей мясом и дымом каши.

Я посмотрел вокруг, однако ни черпака, ни ложки, ни котелка нигде не нашел. Тогда я подобрал малую саперную лопатку, обмыл ее водой из бочки, осторожно, чтобы не запачкаться, перегнулся в котел и зачерпнул ею изрядную порцию густого крупяного варева.

Это оказалась еще не совсем остывшая и удивительно вкусная гречневая каша, обильно сдобренная трофейным шпиком, свиной тушенкой и жареным луком. Присев на чурбачок у прицепа, я, орудуя щепкой, с аппетитом и большим удовольствием принялся есть, только теперь почувствовав, насколько проголодался.

В хате выпивали и были уже порядком под хмелем. Кроме повара, пожилого степенного ефрейтора Зюзина, называемого всеми в батальоне Фомичом, я узнал по голосу Стефана, а также Сидякина, молоденького ершистого автоматчика из пятой роты. Был там еще кто-то, очевидно, свояк Стефана, говоривший мало и только по-польски.

Стефан все расспрашивал о колхозах, причем Фомич с пьяноватым спокойствием, растягивая слова, говорил:

— Ничего-о... Жить мо-ожно...

Сидякин же, наоборот, ссылаясь на свою деревню, ругался и с жаром советовал Стефану податься в город на заработки, поскольку, мол, толку все равно не будет.

— Не бо-ойсь... — успокаивая старика и невозмутимо противореча Сидякину, тянул нараспев Фомич. — Не пропаде-е-шь...

Я немного отвлекся, слушая их разговор, и, должно быть, охотно посидел бы еще, но получалось, что я подслушивал, и потому, доев всю кашу, поддетую на лопатку, я попил воды и, так никем и не замеченный, вернулся на задворье.

Тем временем Витькино пение под гитару сменилось гармонью. Играл любимец батальона, гранатометчик Зеленко, играл с редким талантом и мастерством. Что бы он ни исполнял: украинскую народную песню или старинный вальс, чеканил ли озорную плясовую или строевой бравурный марш — приходилось лишь удивляться, как из старой обшарпанной трехрядки с пробитыми и залатанными мехами ему удастся извлекать такие чистые, мелодичные и берущие за душу звуки.

Вкусная сытная каша подкрепила меня не только физически, но и морально, я почувствовал себя бодрее и как-то увереннее. Зеленко играл, и меня неодолимо влекло туда — потихоньку я медленно подвигался задами к хате пани Юлии, где танцевали под гармонь. Спустя некоторое время я стоял в крапивнике за ригой, с волнением прислушиваясь к смеху и голосам, а трехрядка звала меня, все звала, подбадривая и будоража, и постепенно я склонился к мысли, что мне следует пойти туда и пригласить Зосю танцевать.

В самом деле, почему бы мне это не сделать?.. Да что я, рыжий, что ли?..

Я попытался увидеть себя со стороны и оценить строго, но объективно.

Я был не хлипкого телосложения, достаточно ловок и танцевал, во всяком случае, не хуже Витьки или Карева. Понятно, ссадины на лице не украшали меня, однако, в конце концов, это не так уж существенно и надо быть выше этого.

Возможно, я совсем не умел пить и у меня не доставало командных качеств, не хватало властности в обращении с подчиненными, но я отнюдь не был тряпкой или пижоном. Я воевал уже полтора года, имел ранения и награды, причем стрелял лучше других и, если верить донесениям и фронтовой газете, имел на личном боевом счету больше убитых немцев, чем кто-либо еще в батальоне.

«Смелостью берут города... — убеждал и настраивал я себя, расхаживая за ригой. — К черту интеллигентность!.. Под лежа-

чий камень и вода не течет... Главное — боевая наступательная тактика! Напористость, граничащая с нахальством...»

И еще я мысленно повторял любимое Витькино изречение:

«Жизнь, как и быка, надо брать за рога, а не хватать за хвост!»

Вскоре я так основательно настропалил себя, что, отбросив все сомнения, уже ясно представлял себе, как подхожу к Зосе и, с кем бы она ни стояла, приглашаю ее танцевать. Приглашаю не интеллигентским наклоном головы, а как и подобает настоящему мужчине — повелительно, с силой и грубовато взяв ее за руку. Я уже надумал, что если кто-нибудь окажется рядом с нею — у меня на дороге, — то я как бы невзначай, мимоходом отодвину его плечом, точно так же, как это сделал на моих глазах Витька с одним лейтенантом-артиллеристом на танцах в деревушке за Могилевом.

Возбужденный, переполненный необыкновенной решимостью, я метался в крапивнике, чувствуя, что теперь уже никто и ничто меня не остановит — я пойду напролом, как танк!

Стремительным ударом всего корпуса я отшвыривал вероятного соперника и с такой яростью хватал воображаемую руку Зоси, что у меня даже мелькнуло опасение — как бы не переборщить!.. Ведь она юная и нежная девушка, и, если ее так схватить, она может, не выдержав, заплакать от боли или, оскорбясь, разгневаться, как вчера за обедом, когда Витька, не тронув ее и пальцем, всего-навсего указал взглядом на цепочку от крестика.

В конце концов я так себя распалил и так разошелся, что уже положительно не мог находиться в бездействии.

Было бы несолидно появиться с задворок, к тому же не мешало сначала смахнуть пыль с сапог, и я прошел к машине в сад.

Часовой — все тот же Семенов — полулежал в кузове на сене и лениво тянул «Темную ночь». Когда я приблизился, он, скосив глаза, посмотрел на меня, однако даже не приподнялся.

— Встать! — негромко, но твердо приказал я и, поскольку он и не шевельнулся, с силой рванул его за плечо и властным железным голосом закричал: — Встать!!!

Недоумело глядя на меня, он поднялся в кузове (если бы он помешкал еще хоть две-три секунды, я, безусловно, выкинул бы

его из машины) и хотел что-то сказать, но я, не дав ему и рта открыть, свирепо оборвал:

— Молчать!!! Вы что, на посту или у тещи на блинах?! Совсем обнаглел! Увижу еще хоть раз — заставлю месяц на кухне картошку чистить!.. — я вскинул руку к пилотке. — Выполнять!..

Я еще никогда с ним так не разговаривал, понятно, он не ожидал и несколько опешил. Он послушно вылез из кузова, повесил себе на грудь автомат и, потирая плечо и невнятно, недовольно бормоча, отошел к яблоням.

Собственно, я ничуть не собирался его воспитывать, просто мне надо было достать бархотку из Витькиного вещмешка, на котором, как мне показалось, он лежал.

Не обращая более на него внимания, я снял пыль с сапог, щедро намазал их гуталином военного времени — черной воючей мазью — и, как это делал Витька, старательно до блеска насандалил бархоткой.

Затем подтянул ремень еще на две дырочки, одернул тщательно гимнастерку, поправил погоны и пилотку и через щель в изгороди вылез на улицу.

Прежде чем, как я намеревался, с некоторой развязностью непринужденно и решительно войти во двор, прежде чем начать действовать, я, чтобы бегло ознакомиться с обстановкой, стал незаметно у калитки за деревом.

На залитой лунным полусветом небольшой площадке перед крыльцом кружились парами под гармонь человек двадцать, в основном бойцы и сержанты батальона; часть из них танцевала «за дам». Женщин было всего три или четыре, и я сразу увидел Зосю.

Она танцевала с Витькой, доверчиво положив руку на его плечо. Он придерживал ее сзади за талию и, вальсируя, что-то ей говорил; не знаю, понимала ли она хоть слово, но она улыбалась или даже смеялась. Я напряженно всматривался, и спустя мгновение меня поразило, ударило в самое сердце неподдельно радостное, откровенно счастливое выражение ее бледного в серебристом свете лица.

Несомненно, ей было весело и даже радостно — ей и без меня было хорошо!..

Я ушел за хату и лег на сено в кузове, пытаюсь как-то овладеть собою, успокоиться и собраться с мыслями.

Мне было тяжело, непередаваемо тяжело и больно.

Не жалею, не зову, не плачу...

Нет — неправда!.. Не то!.. Совсем не то...

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не смог.

«Не смог!..» Я лежал на спине, и перед моими глазами в темном глубоком небе ярко мерцали бесчисленные звезды, дрожали, лучисто помигивая, словно насмешничали и дразнились. Только звезды да еще луна, должно быть, знают, сколько в мире влюбленных и сколько среди них неудачников... Луна, конечно, солидней, тактичней и добродушнее; но звезды...

А может, они вовсе и не насмешничали?.. Может, наоборот, подбадривали меня, мол: «Не робей!.. Смелостью берут города... Иди!.. Дерзай!»?.. Может быть — не знаю... Однако лицо Зоси сказало мне больше, чем любые надежды, подбадривания и самовнушение; оно было нагляднее и несравненно убедительнее всех остальных доводов.

Мне еще долго не спалось; Семенов с автоматом наизготове, как и положено часовому, мерно расхаживал взад и вперед по саду. В глубине души у меня даже ворохнулось сожаление, что я так резко с ним обошелся. Возможно, следовало бы теперь сказать ему что-нибудь хорошее, одобрительное, но заговорить я не мог. К тому же мне было стыдно перед ним, как перед очевидцем моих энергичных приготовлений и моего незамедлительного возвращения.

Я лежал, чувствуя себя глубоко несчастным и обездоленным, а по ту сторону хаты танцевали под задорные звуки гармони, то и дело слышался смех, веселые восклицания, и, как мне казалось, я даже различал среди других звонкий и радостный голос Зоси.

Ей и без меня было хорошо!.. До боли, до муки ужасало сознание, что она даже не думает, не вспоминает обо мне, что через несколько недель мы двинемся дальше, а она останется со своей жизнью, созданная, несомненно, для кого-то другого; я же — буду ли убит или уцелею — в любом случае навсегда ис-

чезну из ее памяти, как и десятки других посторонних, безразличных ей людей...

Я думал о несправедливости, о жестокости судьбы, и чем дальше, тем более обида и жалость к самому себе охватывали меня...

* * *

Я проснулся после полуночи от громкого разговора. В свете луны около машины стояли Витька и Семенов, причем Витька, к моему удивлению, был пьян.

— Товарищ старший лейтенант, я одеяло из хаты принесу, — неуверенно говорил Семенов, поддерживая его под руку. — И подушку...

— Отставить!.. Телячьи нежности, а также... Ты, Семенов, совсем разболтался... Азбучных истин не понимаете! — рассерженно бормотал Витька, с помощью ординарца забираясь в кузов. — Безделье разлагает армию... И никаких пьянок и никаких женщин!..

6

А на другой день, когда начало смеркаться, мы покидали Новы Двур.

Вечером перед самым ужином был получен совершенно неожиданный приказ: к утру быть восточнее Бреста, в районе станции Кобрин, где уже, оказывается, выгружалось маршевое пополнение и техника для нашей бригады.

Почти одновременно с приказом к нам на штабном бронетранспортере заехал комбриг.

— Дней пять на ознакомление, на выработку слаженности и взаимодействия и — в бой! — приподнятым молодеватым голосом объявил он. — Нас ждут на Висле! — обнимая за плечи меня и Витьку рукой и протезом, сообщил он с гордостью и так значительно, будто без нашего небольшого соединения ни форсировать Вислу, ни вообще продолжать войну было невозможно. — Хорошенького, ребята, понемножку. Отдохнули — надо и честь знать...

Все было правильно. Наступление продолжалось, фронту требовались подкрепления, где-то там, наверху, очевидно, в Ставке, перерешили, и потому полтора-два месяца предполагаемого отдыха обернулись для нас всего лишь тремя днями. Все было правильно, но получилось как-то очень уж неожиданно, я даже письма матери не успел написать. Да и какой по существу это был отдых — я трудился, почти не разгибаясь, с рассвета и дотемна.

Мы собрались за какие-нибудь полчаса.

Витька, развернув на коленях карту, сидел в головном «дожде» рядом с водителем, угрюмый и молчаливый. Весь день он ходил сумрачный и мычал самые воинственные мелодии, а более всего: «В атаку стальными рядами мы поступью твердой идем...» Поутру он несколько часов занимался с бойцами строевой подготовкой, был до придирчивости требователен и грозен.

От Карева в обед я узнал, что прошлым вечером, когда после танцев Витька попытался «по-настоящему» обнять Зосю, она взвилась, как ужаленная, и в одно мгновение разбила о его голову гитару — прекрасную концертную гитару собственноручной работы знаменитого венского мастера Леопольда Шенка.

— Так врезала, — не без восхищения сказал мне Карев, — вдребезгú!

Со стыда или от огорчения, обескураженный и, наверно, уязвленный Витька в полночь напился.

Понятно, для меня это было неожиданностью, впрочем, услышав, что она его ударила, я и не особенно удивился. В этой девчонке был нор и какая-то диковатая горделивость и независимость — я почувствовал это в первый же день.

Крестьяне нас провожали. К нашей машине подошли пани Юлия, Стефан и еще кто-то. И другие машины окружили провожающие и просто любопытные. Но Зоси нигде не было видно.

Пани Юлия принесла большой букет цветов и крынку сметаны. Витька, взяв букет и что-то пробормотав, тут же сунул его за спину в кузов и снова углубился в карту; принимая цветы, он даже не улыбнулся. Стефан притащил две тяжелые корзины и с ядреной солдатской прибауткой вывалил на сено в кузове

яблоки и отборные зеленые огурчики. Он было заговорил, обращаясь к Витьке, но, не получив ответа, сразу умолк и, вынув аккуратно сложенную газету, оторвал ровный прямоугольничек и занялся самокруткой.

Последние запоздалые бойцы торопливо подбегали и влезали на машины. Распоряжаясь погрузкой, я инструктировал командиров и водителей, проверял размещение людей с оружием вдоль бортов и, беспокоясь, как бы чего не упустить, отдавал и повторял все необходимые приказания по боевому обеспечению марша.

Нам предстояло до рассвета, за какие-нибудь семь часов, с затемненными фарами и ориентируясь в основном по звездам, проделать почти двести километров, большей частью плохими рокадными проселками, в лесах, где, как предупреждал штаб бригады, полно было немцев, разрозненными группами прорывающихся на Запад, и где на каждом шагу мы могли подвергнуться обстрелу и нападению из темноты. Однако для маскировки передислокации бригаде предписывалось двигаться обязательно ночью, побатальонно — тремя автоколоннами — и по разным дорогам.

Витька с угрюмо-сосредоточенным видом рассматривал карту, а пани Юлия, стоя рядом и часто вздыхая, глядела на него растроганная, добрыми благодарными глазами, глядела с такой любовью, сожалением и печалью, словно навсегда расставалась с близким и очень дорогим ей человеком.

Целиком полагаясь на меня, Витька ни во что не вмешивался и во время погрузки не проронил ни слова. Меж тем наступала минута, назначенная приказом для выезда, и следовало подать команду, а я медлил: мне страшно хотелось еще раз, хоть на мгновение, увидеть Зося. Но она часа полтора назад куда-то убежала со своей корзинкой и, надо полагать, до сих пор не вернулась.

Чтобы помешкать и немного задержаться, я с озабоченным видом начал проверять пулемет, установленный на треноге в «додже», и занимался им несколько минут, однако Зося не появлялась. Тогда, презирая и проклиная себя в душе за слабости и неспособность преодолеть свои чувства, я опять обошел маленькую — восемь машин — колонну, снова инструктируя командиров и водителей; затем, возвратясь к «доджу», глянул незаметно на часы: тянуть долее было невозможно.

Стоя на обочине, я в последний раз с горечью и грустью посмотрел на хату пани Юлии и, решившись, громкоскомандовал:

— Приготовиться к движению!

Затем, легко прыгнув в невысокий кузов, выпрямился, слушая передаваемую в хвост колонны команду, и в ту же секунду увидел Зосю.

Что-то крича, она со всех ног мчалась от хаты к нашей машине. Я мельком подумал, что ей, наверно, неловко перед Витькой за вчерашнее и, чтобы загладить свою излишнюю резкость, она решила попрощаться с ним и пожелать ему перед отъездом «сто лят» жизни, как того желали нам пани Юлия, Стефан и другие провожающие.

Задыхаясь от быстрого бега, она достигла нашей машины, но не бросилась, как я ожидал, к Витьке, а, наклоня голову, сунула мне через борт какой-то старый конверт и, показывая три пальца, что-то быстро проговорила.

— Три дня невозможно смотреть! — хитровато улыбаясь, перевел Стефан.

Я покраснел и, плохо соображая, в растерянности машинально поблагодарил и присел на скамейку у борта. А Витька, кажется, даже не обернулся.

Мотор заработал сильнее, но машина не успела тронуться, как неожиданно Зося с напряженным испуганным лицом — в глазах у нее стояли слезы! — вдруг обхватила меня руками за голову и с силой поцеловала в губы...

Я пришел в себя, когда мы уже выехали за околицу... До того дня меня еще не целовала ни одна женщина, разумеется, кроме матери и бабушки.

Первой моей мыслью, первым стремлением было — вернуться! Хоть на минуту!.. Но где там... Как?..

Мы быстро ехали в наступающих сумерках, не включая до времени узких щелочек-фар, а полумрак все плотнел, сгущался, очертания дороги, отдельных кустов и деревьев расплывались и пропадали. Высокий чащобный лес темной безмолвной громадой тянулся по обеим сторонам, кое-где вплотную подбегая к дороге.

Настороженно глядя вперед и по бокам, я сидел на ящике у пулемета, машинально держа ладони на шероховатых ручках затыльника, готовый каждое мгновение привычным, почти

одновременным движением двух больших пальцев, левым — поднять предохранитель, а правым — нажать спуск и обрушиться кинжальным смертоносным огнем на любого возможного противника.

Я запретил на марше курить, шуметь и громко разговаривать, к тому же внезапная перемена подействовала несколько ошеломляюще, и на машинах сзади не слышалось ни голоса, ни лишнего звука.

В вечерней лесной тишине ровно, нешумно гудели моторы, шуршали шины, и только в нашем «додже» молоденький радист с перебинтованной головою — он так и не пожелал уйти в медсанбат, — пытаюсь установить связь со штабом бригады, как и четверо суток тому назад, упорно повторял: «Смоленск»! «Смоленск»! Я — «Пенза»! Я — «Пенза»! Почему не отвечаете?! Прием...»

Мы двигались навстречу неизвестности, навстречу новым, для многих последним боям, в которых мне опять предстояло командовать, по крайней мере, сотней взрослых бывалых людей, предстояло уничтожить врага и на каждом шагу «являть пример мужества и личного героизма», а я — тряпка, слюнтяй, сюсюк! — даже не сумел, не решился... я оказался неспособным хотя бы намекнуть девушке о своих чувствах... Боже, как я себя ругал!

Витька, прямой и суровый, недвижно сидел рядом с водителем и смотрел перед собой в полутьму, где метрах в двухстах впереди ходко шел приданный нам комбригом в качестве головной походной заставы или же прикрытия его личный бронетранспортер. Витька смотрел в полутьму и, не переставая, мычал: «В атаку стальными рядами мы поступью твердой идем...» Немного погодя, очевидно вспомнив, рывком обернулся и, задев локтем штырь антенны, схватил букет, поднесенный ему пани Юлией.

— Как на похороны! — в сердцах закричал он, сильным движением забрасывая цветы за кювет. — Телячьи нежности, а также... гнилой сентиментализм!..

И снова в настороженной тишине ровно шумели моторы, и радист упрямой скороговоркой вызывал штаб бригады.

— Что там в конверте? — шепотом приставал ко мне Карев. — Давайте посмотрим...

— То есть как это посмотрим? — заметил я строго и не без возмущения. — Ведь сказано: три дня!..

Однако я не удержался. В тот же вечер, на первом же привале, отойдя потихоньку в сторону, я накрылся в темноте плащ-палаткой и при свете фонарика распечатал заклеенный хлебным мякишем конверт. В нем оказалась завернутая в бумагу фотография Зоси — наверно, еще довоенный снимок красивой девочки-подростка с ямочками на щеках, короткими косицами вразлет и ласковым, наивно-доверчивым выражением детского лица.

А на обороте крупными корявыми буквами, размашисто, видимо второпях, было написано:

«Ja cie Kocham, a ty spisz!..»¹

7

Города действительно берут смелостью. Витька — Герой Советского Союза Виктор Степанович Байков — первым из нашей армии ворвался на улицы Берлина и навсегда остался там под каменным надгробием в Трептов-парке... А вот чем покоряют женщин, я и сейчас — став вдвое старше — затрудняюсь сказать; думается, это сложнее, индивидуальнее.

Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный — это было так давно!.. — но и по сей день я не могу без волнения вспомнить польскую деревушку Новы Двур, Зосю и первый, самый первый поцелуй.

Вижу ее как сейчас: невысокая, ладная и необычайно пленительная, раскачивая в руке корзинку, легко и ловко ступая маленькими загорелыми ногами — как бы пританцовывая, — она идет через сад, напевая что-то веселое... оскорбленная, пунцово-красная, разъяренная сидит за столом, высоко вскинув голову и вызывающе выпятив грудь с католическим серебряным крестиком на цветастой блузке... Представляю ее себе необыкновенно живо, до мелочей, до веснушек и точечной родинки на мочке крохотного уха... Представляю ее себе то по-детски смешливой и радостной, то строгой и до надменно-

¹ Я тебя люблю, а ты спишь!.. (польск.).

сти гордой, то исполненной удивительной нежности, кокетства и пробуждающейся женственности... Вижу ее и в минуту расставания — напряженное, испуганное лицо, дрожащие, как у ребенка, брови и слезы в уголках глаз...

Сколько раз за эти годы я вспоминал ее, и всегда она заслоняла других... Теперь она, наверно, уже не та, должно быть, совсем не такая, какой осталась в моей памяти, но представить ее себе иной, повзрослевшей, я не могу, да и не желаю. И по сей день меня не покидает ощущение, что я и в самом деле что-то тогда проспал, что в моей жизни и впрямь — по какой-то случайности — не состоялось что-то очень важное, большое и неповторимое...

1963 г.

Рассказы

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, и земля не казалась нам жесткой, холодной и сырой, какой была на самом деле.

Мы встречались уже полгода — с тех пор, как она прибыла в наш полк. Мне было девятнадцать, а ей — восемнадцать лет.

Мы встречались тайком: командир роты и санитарка. И никто не знал о нашей любви и о том, что нас уже трое...

— Я чувствую, это мальчик! — шепотом в десятый раз уверяла она. Ей страшно хотелось мне угодить: — И весь в тебя!

— В крайнем случае согласен и на девочку. И пусть будет похожа на тебя! — думая совсем о другом, прошептал я.

Метрах в пятистах впереди, в блиндажах и прямо в окопах, спали бойцы и сержанты моей роты. Еще дальше, за линией боевого охранения, освещаемой редкими вспышками немецких ракет, затаилась скрытая темнотой высота 162.

На рассвете моей роте предстояло совершить то, что неделю назад не смогла сделать рота штрафников — захватить высоту. Об этом в батальоне пока знало только пятеро офицеров, те, кого вечером вызвал в штабную землянку майор, командир полка. Ознакомив нас с приказом, он повторил мне:

— ...Значит, помни: сыграют «катюши», зеленые ракеты, и ты пойдешь... Соседи тоже поднимутся, но высоту будешь брать ты!

...Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и, целуя ее, я не мог не думать о предстоящем бое. Но еще более меня волновала ее судьба, и я мучительно соображал: что же делать?

— ...Я должна теперь спать за двоих, — меж тем шептала она окаяющим певучим говорком. — Знаешь, по ночам мне часто кажется, что наступит утро, и все это кончится. И окопы,

и кровь, и смерть... Третий год уже — ведь не может же она продолжаться вечно?.. Представляешь: утро, всходит солнышко, а войны нет, совсем нет...

— Я пойду сейчас к майору! — высвободив руку из-под ее головы, я решительно поднялся: — Я ему все расскажу, все! Пусть тебя отправят домой. Сегодня же!

— Да ты что? — Привстав, она поймала меня за рукав и с силой притянула к себе. — Ложись!.. Ну какой же ты дурень!.. Да майор с тебя шкуру спустит!

И, подражая низкому, грубоватому голосу командира полка, натужным шепотом медленно забасила:

— Сожительство с подчиненными не повышает боеспособность части, а командиры теряют авторитет. Узнаю — выгоню любого! С такой характеристикой, что и на порядочную гауптвахту не примут... Выиграйте войну и любите кого хотите и сколько хотите. А сейчас — запрещаю!..

Голос у нее сорвался, а она, довольная, откинулась навзничь и смеялась беззвучно — чтобы нас не слышали.

Да, я знал, что мне не поздоровится. Майор был человеком самых строгих правил, убежденным, что на войне женщинам не место, а любви — тем более.

— А я все равно к нему пойду!

— Тихо! — Она прижалась лицом к моей щеке и после небольшой паузы, вздохнув, зашептала: — Я все сделаю сама! Я уже продумала. Отцом ребенка будешь не ты!

— Не я?! — меня бросило в жар. — То есть как не я?

— Ну какой же ты глупыш! — весело удивилась она. — Нет, не дай Бог, чтобы он был похож на тебя!.. Понимаешь, в документах и вообще отцом будешь ты. А сейчас я скажу на другого!

Она была так по-детски простодушна и правдива, что подобная хитрость поразила меня.

— На кого же ты скажешь?

— На кого-нибудь из убывших. Ну, хотя бы на Байкова.

— Нет, убитых не трогай.

— Тогда... на Киндяева.

Старшина Киндяев, красивый беспутный малый, был выпивоха и вор, отправленный недавно в штрафную.

Растроганный, я откинул полу шинели и рывком привлек ее к себе.

– Тихо! – Она испуганно уперлась кулачками мне в грудь. – Ты раздавишь нас! (Она уже начала говорить о себе во множественном числе и по-ребячьи радовалась при этом.) Глупыш ты мой!.. Нет, это твое счастье, что ты меня встретил. Со мной не пропадешь!

Она смеялась задорно и беззаботно, а мне было совсем не до смеха.

– Слушай, ты должна пойти к майору сейчас же!

– Ночью?.. Да ты что?!

– Я тебя провожу! Объяснишь ему и скажи, что тебе плохо, что ты больше не можешь!

– Но это ж неправда!

– Я прошу тебя!.. Как ты будешь?.. Ты должна уехать! Ты пойми... а вдруг... А если завтра в бой?

– В бой? – она вмиг насторожилась, очевидно все поняв. – Нет, это правда?

– Да.

Некоторое время она лежала молча. По ее дыханию – такому знакомому – я почувствовал, что она взволнована.

– Что ж... от боев не бегают. Да и не убежишь... Все равно, пока меня комиссуют и будет приказ по дивизии, пройдет несколько дней... Я пойду к майору завтра же. Решено?

Я молчал, силясь что-либо придумать и не зная, что ей сказать.

– Думаешь, мне легко к нему идти? – вдруг прошептала она. – Да легче умереть!.. Сколько раз он мне говорил: «Смотри, будь умницей!»... А я...

Всхлипнув, она отвернулась и, уткнув лицо в рукав шинели, вся сотрясаясь, беззвучно заплакала. Я с силой обнял ее и молча целовал маленькие губы, лоб, соленые от слез глаза.

– Пусти, я пойду, – отстраняя меня, еле слышно вымолвила она. – Ты проводишь?..

...Мы спустились в темную, сырую балку, где помещался батальонный медпункт, и я поддерживал ее сзади за талию, чуть начавшую полнеть. Я поддерживал ее обеими руками, страховал каждый ее шаг. Чтобы она не оступилась, не оскользнулась, не упала. словно я мог уберечь ее, оградить от войны, от боя на заре, где ей предстояло бегать, падать и перетаскивать на себе раненых...

* * *

С тех пор прошло пятнадцать лет, но я помню все так, будто это было вчера.

На рассвете сыграли «катюши», неистово били минометы и дивизионная артиллерия, взлетели зеленые ракеты...

А когда взошло солнце, я с остатками роты ворвался на высоту. Спустя полчаса в немецкой добротной траншее командир полка и еще кто-то, поздравляя, обнимали меня и жали мне руки. А я стоял, как столб, как пень, ничего не чувствуя, не видя и не слыша.

Солнце... если б я мог загнать его назад, за горизонт! Если б я мог вернуть рассвет!.. Ведь всего два часа назад нас было трое...

Но оно поднималось медленно, неумолимо, я стоял на высоте, а она... она осталась там, позади, где уже лазали бойцы похоронной команды...

И никто, никто и не подозревал, кем она была для меня и что нас было трое...

1958 г.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Вообще-то я и не хотел туда идти, но Димка настоял.

— Пойдем, людей посмотришь и с Люсей заодно познакомишься.

Люся — его последняя знакомая, я ее ни разу не видел, но знаю, что он с ней встречается уже несколько месяцев, а для Димки это немалый срок.

— Можешь даже не переодеваться, — он оглядывает меня и, так как я все еще не могу решиться, снимает с вешалки пальто и подает его мне.

На углу соседнего квартала возле сероватой «Волги» с шахматным пояском, переступая с ноги на ногу, нас ждет Севка, румяный от мороза, нарядный и пижонистый.

— А где цветы? — заглядывая в машину, спрашивает Димка.

— А педальку от спутника не хотите?! — Севка здоровается и открывает дверцу. — В Столешников, — усаживаясь рядом с водителем, командует он.

И мы едем в центр.

Первый день, а точнее вечер, Нового года. На улицах людно и весело, идут компаниями, по-праздничному одетые, подвыпившие, шумят и даже поют. На углу, где у светофора мы останавливаемся, лихо и с выкриками отплясывают под баян ряженые в масках. Пляшут с таким увлечением, что хочется вылезти и досмотреть; но дают зеленый свет, сзади сигналият, и мы катим дальше.

— Прижмись! — командует водителю Севка в Столешниковом переулке, указывая вправо.

Как только машина останавливается, Севка выскакивает и скрывается в подъезде жилого дома, Димка отправляется в дежурный гастроном за вином, а я остаюсь.

Достать живые цветы в Москве первого января в семь часов вечера практически невозможно. Магазины в этот день закрыты и рынки тоже, на улице — двадцатиградусный мороз.

Но Севка есть Севка. Он появляется минут через пять с завернутым в целлофан букетом белых роз. «Блат выше маршальских звезд!» — иногда уверяет он. Должно быть, действительно выше.

Второпях я забыл дома перчатки, а руки у меня поморожены еще на Северо-Западном, под Старой Руссой, и даже в машине начинают зябнуть.

Севка заводит с водителем чисто профессиональный разговор — в свое время он работал в таксомоторном парке, причем в том самом, откуда и наш водитель. У них даже находятся общие знакомые и, как это бывает, начинаются вопросы и воспоминания.

Возвращается Димка с двумя бутылками вина; он осторожно перекладывает букет и, усаживаясь, говорит водителю:

— Прошу: Ленинский проспект, 67.

И мы едем к Люсе. Немного погодя я расспрашиваю о ней Димку, он отвечает негромко и немногословно: ей двадцать шесть, работает на «Серпе и Молоте» лаборанткой, была замужем, но разошлась. Отмечаю про себя, что это производственный роман, ведь Димка работает там же.

Выясняется, что день рождения не у Люси, а у ее младшего брата, студента мединститута, которому сегодня исполняется двадцать лет.

Севка по обыкновению мурлычет что-то под нос, у него, как и всегда, превосходное настроение.

Перед светофором на Боровицкой площади мы останавливаемся.

— А теперь где работаешь? — оглядывая дорогое Севкино пальто, интересуется водитель.

— Инженером, — уклончиво говорит Севка и указывает на светофор. — Поехали!

Я интересуюсь у Димки, кто из гостей еще будет, но о них он ничего не знает и вкратце рассказывает о Люсином семействе: отец заведует производством в ресторане «Берлин», кулинар высшей квалификации, якобы настолько искусен, что к нему ездят обедать и ужинать многие дипломаты, мать — домашняя хозяйка, помимо младшего брата-именинника есть еще старшая сестра, научный работник, биолог.

– Семейная?

– Нет. И не была... Старая дева...

Димка говорит о Люсе с некоторой теплотой в голосе, и я, помедлив, нерешительно спрашиваю:

– Слушай, а почему бы тебе на ней не жениться?

Димка, глядя в окошко и поглаживая усы, молчит, а Севка, услышав мой вопрос, отвечает за него:

– На всех жениться – в загсе бланков не хватит.

– Ну, ладно, – недовольно и как-то смущенно замечает Димка. – И вообще... держитесь в рамках...

* * *

У Люсиных родителей трехкомнатная квартира в новом десятиэтажном доме. В передней нас встречают Люся, ее отец и сам новорожденный, рослый плечистый парень в белой нейлоновой рубашке и черном галстуке-бабочке.

– Глеб, – пожимая нам руки и простодушно улыбаясь, называется он.

Люся – невысокая, скуластенькая, в чистом кухонном передничке, миловидная, но не более. «Бывают и лучше!» – как говорит в таких случаях Севка.

Повара мне обычно представлялись толстыми, солидными и внушительными, Люсин же отец, Алексей Стратонович, оказался невысокого роста, худеньким, невзрачным, рыжеватым, с сединой и очень стеснительным – у него вид самого заурядного деревенского мужичонки, что никак не вяжется ни с интуристским рестораном, ни с дипломатами, ни с высшей кулинарией.

Чуть прихрамывая – на войне был ранен в ногу, – он тут же уходит на кухню, а нас проводят в большую комнату, где при свете крохотных разноцветных лампочек наряженной елки под магнитофон медленно танцуют три пары, по-видимому, друзья именинника.

Слева, вдоль стены, белеет длинный стол, уставленный бутылками и закусками, а у самых дверей сидит плотная, средних лет женщина – Люсина сестра. Севка тотчас приглашает ее танцевать, а я и Димка садимся и осматриваемся.

Севка – он отменный танцор – легко и чинно ведет свою даму, плавно перемещаясь с нею по комнате. Остальные три пары, покачиваясь в такт музыке, топчутся почти что на месте:

эта манера танцевать — она удобна в тесноте, так и называется «топтун» — лично мне не по душе, но молодежи нравится.

Вскоре появляются сестра Алексея Стратоновича со своим мужем, полуседым большеголовым крепышом в темном кителе со значком «Почетный железнодорожник» и радужной планкой орденских ленточек.

— Теперь все в сборе, — объявляет Люся, зажигает верхний свет и приглашает всех к столу.

Меня усаживают между Люсиной сестрой и Димкой; рядом с ним, по левую сторону — Люся, новорожденный помещается в торце стола, справа от него — Севка. Молодежь рассаживается напротив нас вдоль стены, там же располагается семья родственников: Люсина тетушка с дочкой и дядюшка, пожилой железнодорожник, у него выпуклый шишковатый лоб мыслителя, короткая прямая челка и по-детски ясные голубоватые глаза.

Вместо танцевальной музыки, чтобы не было скучно, негромко пускают ленту с шухарными песнями. И мужской голос под аккомпанемент гитары, как бы жалуясь, с чувством поет:

У тебе глаза как нож,
Если прямо ты взглянешь,
Я забываю, кто я есть и где мой дом,
А если косо ты взглянешь,
Как по сердцу полоснешь
Ты холодным острым серым тесаком.
Я здоров, чего скрывать,
Я пятаки могу ломать,
Я недавно головой быка убил,
Но с тобой жисть коротать,
Не подковы разгибать,
А прибить тебя морально нету сил...

Я эту песню уже слышал, и не раз. За последние полтора-два года таких магнитофонных записей — с лагерными, блатными и полублатными песнями — расплодилось несть числа. Кто их сочинил и когда (некоторые я слышал еще до войны), и кто исполняет, я не знаю, но если нет похабщины, то слушаю обычно с интересом. И не только я, почти все их охотно слушают, и не из увлечения блатной романтикой, а просто как непривычное и необычное. Встречаются среди этих песен за-

бавные, веселые, озорные и остроумные, во всяком случае, скучных среди них меньше, чем звучавшие по радио или исполняемые на эстраде.

А стол богатейший и красочный, смотришь, и глаза разбегаются: на белоснежной скатерти, сверкающей хрусталем и мельхиором, графины с водкой, коньяком, морсом, соками, различные вина, черная и красная икра, розоватая семга, салаты и заливное, маринованные грибочки, фаршированная рыба и даже — свежие огурцы. А в вазе посередине — букет добытых Севкой роз.

И порядочек ресторанный: каждому по две вилки — большая и малая, — по две тарелки для закусок, фужер и пара тонких одинаковых, но разного размера разлтых рюмок, и каждому — сложенная воронкой тугая накрахмаленная салфетка.

Пока наполняют рюмки и выбирают закуски, я разглядываю хозяев и гостей.

Люсина сестра, Татьяна, когда-то, должно быть, привлекательная, но с годами поблекшая женщина, лет тридцати восьми, на широковатом припухлом лице курносый нос, усталые в морщинках глаза и контрастно свежие, как у подростка, губы, одета хорошо, но строго. Она мне очевидна: невеста, так и не ставшая женой, типичная одинокая женщина моего поколения.

А прямо против меня — Алик, лет двадцати, тонкие красивые черты придают его лицу некоторую надменность, и очаровательная девчушка Машенька, совсем юная, темноволосая, с подведенными глазами и подрумяненная, хотя в чем в чем, а в косметике она менее всего нуждается.

Татьяна собирается налить мне водки, но Севка ее останавливает.

— Не тот случай, — улыбается он и наполняет мою рюмку десертным вином.

А мне-то, в общем, все равно.

Слева от Машеньки — Валерка, небольшого роста худой юноша в очках, с умным и подвижным, как у молодой обезьянки, лицом. Он галантно ухаживает за Машенькой и за другой своей соседкой — высокой русоволосой девушкой, — наливает им вино, ловко накладывает на тарелочки салат, грибочки и негромко рассказывает что-то веселое, смешное.

Горячими пирожками и жирной кулебякой обносит гостей Люсина мать — здоровенная, большеносая, мужеподобная женщина с грубым мясистым лицом и к тому же невероятно

косоглазая — форменный мордоворот! — она мне напоминает пирата из какого-то кинофильма.

— За новорожденного! — поднимаясь, провозглашает Севка, его об этом никто не просил, но ему, должно быть, просто не терпится начать.

Все за столом чокаются, пьют и принимаются закусывать.

Да-а, шеф из ресторана «Берлин» не хала-бала, это — кудесник! Закуски и кулебяки действительно необыкновенно вкусны. Я надкусываю пирожок, он так и тает во рту, и тотчас проникаюсь уважением к Алексею Стратоновичу и понимаю, почему дипломаты ездят к нему обедать и ужинать. Я бы тоже ездил.

Севка, попробовав салат, чмокает от удовольствия и громко требует:

— Автора!

Все смотрят в сторону Алексея Стратоновича и кто-то даже хлопает, он краснеет и, опустив глаза, застенчиво улыбаясь, молчит. И жена его тоже расплывается в улыбке, довольная. Человек она, может, и не плохой, но рожа у нее разбойная — это точно. Слава Богу, что дети не унаследовали ее внешность.

Магнитофонная лента ползет по роликам, и тот же мужской голос под гитару поет:

... А я кружу напропалую
С самой ветреной из женщин,
Я давно искал такую,
И не больше, и не меньше!
А я давно хотел такую,
И не больше и не меньше...

Гости пьют и закусывают с таким аппетитом, словно они голодные и задались целью немедленно уничтожить всю эту вкуснятину, все разносолы, выставленные на стол. Будто и не было прошлой ночью встречи Нового года с обильной, до пресыщения, выпивкой и едой, будто они сегодня не завтракали и не обедали сытно, по-праздничному, будто все еще только начинается. А может, их просто передержали, ведь мы приехали позже на час, а без нас не начинали.

Димка, выпив за новорожденного рюмочку вина, сразу перешел на лимонад. Лет девять назад он лечился от запоя и с тех пор почти не пьет крепкого хмельного — только по необходимости.

Он ухаживает за мной, пожалуй, не меньше, чем за Люсей, знает, что сам я ничего не возьму и вообще среди незнакомых чувствую себя неловко и обычно молчу. И Люся, и Татьяна, и сам новорожденный то и дело осведомляются, отчего я мало ем и пью, их мать тоже уделяет мне немало внимания:

— Кушайте, пожалуйста! Угощайтесь! Отведайте грибочков, — не устает потчевать меня и гостей. — Что же это никто их не пробует, а я ведь сама их собрала в подмосковном лесу.

Я сидел тупым истуканом, обе тарелки передо мной завалены закусками. Ну, ешь, Вася, обжирайся, а я не могу: от такого внимания я еще более стесняюсь. Давясь кулебякой, я напряженно думал об ужасных крошках, которые падали на скатерть и вниз, на брюки, любовался Севкой и молодежью, которые ловко орудовали вилкой и ножом, хмурился, чувствуя себя таким неловким и жалким за праздничным столом, что готов был сбежать. Мне казалось, что все сидящие за столом насмешливо смотрят на меня. Я беспрерывно повторял жалкое «спасибо», когда Люсины мать и Алексей Стратонович предлагали отведать то или иное кушанье.

Меня пугали заливное, фаршированная рыба, потому что знал, когда я потянусь за ними через стол, рука обязательно подведет, предательски некстати задрожит, и я все это уроню и вывалю на белоснежную скатерть. Из-за этой дрожи рук — вследствие тяжелой контузии в сорок третьем, — усиливающейся волнением среди незнакомых людей, я всегда комплекую, что меня могут принять за скрытого алкоголика.

А вообще это, наверно, здорово быть гостем в доме, где твой друг котируется как жених, но для меня это был мучительный вечер. На столе — вкуснейшие изысканные закуски, о которых я не раз вспомню на голодный желудок, но я так ничего не могу вкусить, оставляя все на тарелках, лишь украдкой скатываю из хлеба катышки-шарики — пагубная привычка из детства — и незаметно отправляю их в рот.

А за Севкой и не надо было ухаживать. В любом месте, любом обществе — от забегаловки и до правительственных приемов — он чувствует себя как дома и может угощать даже хозяев или чокаться с министрами, запросто, как с нашим дворником.

Он любит вкусно покушать и выпить, причем ест — как и все, что он делает, — красиво и ловко, с умением и явным удовольствием: отрезав кусочек жирной кулебяки, неторопливо

отправляет ее вилкой в рот, смакуя, разжевывает, и, задорно улыбаясь, показывает Алексею Стратоновичу поднятый кверху большой палец. И тот, в свою очередь улыбаясь, смотрит на Севку, довольный до умиления, и, покашливая в кулак, рекомендует заесть кулебяку семужкой.

Радостное удовлетворение Алексея Стратоновича мне понятно. Что для настоящего повара может быть приятнее, чем потчевать едой своего приготовления не какого-то несведущего невежду, а гастронома, знатока, способного почувствовать и оценить все вкусовые достоинства и оттенки, всю тонкость поваренного искусства, мастерство и талант кулинара? Он, несомненно, уже выделил Севку среди остальных: те просто, не ощущая толком вкуса, в темпе жуют и глотают, наполняя свои желудки, а этот ест неторопливо, с чувством и наслаждением истинного гурмана. Впрочем, Севка не то что гурман, просто он любит жизнь и способен радоваться даже вкусу сарделек или печеного картофеля.

Водка и вино развязали языки, начинаются разговоры, шутки, а на том конце стола, между железнодорожником и его соседкой, русской девушкой в нежной, цвета бирюзы, кофточке, возникает спор о недавно прошедшей в Москве и нашумевшей художественной выставке. Магнитофон не умолкает, но я почти все слышу.

— ...обидно за человека! Искусство должно приносить радость, — убежденно говорит железнодорожник. — А это уродство и безобразия!

— Искусство должно отображать жизнь во всех ее проявлениях. А что же, по-вашему, в жизни не бывает уродства? И нет безобразий?..

— Мало ли что бывает! Но я хочу...

Справа шумят, и что он говорит дальше, я не могу разобрать.

— Не нравится — не ходите и не смотрите, — строго заявляет ему девушка. — Вам ничего подобного никогда не показывали, для вас это непривычно, и вы это просто не способны понять. Вы привыкли видеть только портреты своих вождей, приукрашенных и омоложенных, каменные лица передовиков производства, дымящиеся трубы, прокатный стан, радостные лица колхозников, уж им-то чему было радоваться?! Одна разрисованная ложь, так любимый вами соцреализм! А я хочу видеть и другое искусство сама и обо всем иметь свое суждение. Я не желаю, чтобы за меня кто-то думал...

Дотошная девица: все хочет знать и обо всем иметь собственное мнение — неплохо. Это мне в молодых и нравится — стремление к познанию и к самостоятельности мышления.

Валерка, юноша в очках с удивительно живым лицом, прислушиваясь к их разговору, торопливо прожевывая, вступает в разговор.

— Это ваша беда, а не ваша вина, — снисходительно замечает он железнодорожнику. — Вы продукт определенной эпохи, жертва насилия над личностью и многолетней демагогии, поэтому и психология у вас рабская, за это вас можно только пожалеть. Вы и от устриц, наверно, плевались бы. А это общепризнанный деликатес!

— А вот жалеть меня не надо! Прожил без ваших устриц пятьдесят семь лет, не пробовал и не желаю! — горячится железнодорожник. — Вы в прошлом видите одни беды, несчастья, разруху, нищету и ужасы, а я — воздух времени, свободу, прогресс и патриотизм!

— Это ваше дело, — улыбается Валерка. — Так сказать, факт вашей личной биографии. Узко мыслите, все, что вам непонятно, отвергаете с ходу в угоду морального самооправдания и в защиту рептильного чувства патриотизма, поэтому не надо навязывать свой замшелый вкус и свое мнение другим!..

— А я и не навязываю! Но я против уродства... Тоже мне ценители искусства, начитались всякой ерунды, у вас каша в голове, а туда же — пороссячий восторг! Вы и устриц в глаза не видали, а будто объедаетесь ими каждый день.

Я приглядываюсь к Люсе, и она мне по-настоящему нравится. Славная и очень женственная и к Димке относится с нежной заботливостью: прикрывает костюм краем скатерти, ухаживает, как за ребенком. Известное дело: все в невестах хорошие и заботливые, но им только на шею дай сесть, а ножки они сами свесят.

И родичи ее почтительны с Димкой и внимательны: Алексей Стратонович сам выбирает ему кусок заливного и советует, каким хренком приправить; немного погодя делает бутерброд с икрой и, умеючи, ловко какает сверху лимончиком, а Люсина мать так и увивается вокруг: «Дмитрий Иваныч, отведайте... Дмитрий Иваныч, прошу... Дмитрий Иваныч, откушайте...»

А Димка и в ус не дует, благодарит сдержанно, да и только. Степенства и достоинства ему не занимать, и этими обхаживаниями его не возьмешь. Дружное семейство, ничего не ска-

жешь, слаженно работают, стараются, — только я думаю, что Димку им не обратять. И не от того, что он убежденный холостяк или какой-нибудь там кот-дегустатор со склонностью к половому разбою — таких после войны тоже немало развелось, — не от того, отнюдь, как я знаю, дело совсем в другом...

* * *

А магнитофон не умолкает ни на минуту:

... Товарищ Сталин — Вы великий гений,
А моя жизнь не стоит пятака.
Вы восемь раз из ссылки убегали,
А я ни разу не сумел пока...

Это тоже известная сейчас песня. Говорят, что сложили ее еще при Сталине, в лагерях, но я этому не верю. Мне думается, сочинили ее совсем недавно и где-нибудь в Москве.

... Живите ж тыщу лет, товарищ Сталин,
И пусть в тайге придется сдохнуть мне,
Я верю: хватит чугуна и стали
На душу населения в стране.

Злая песенка, очень злая. Лет десять тому назад за нее по доносу бдительных соседей или кого-нибудь из гостей отмерили бы четвертную, и будь здоров, не кашляй!.. А сейчас полная демократия — слушай, не хочу, без опасения быть притянутым за антисоветскую пропаганду и очернение Самого. Нет на них Берии. И на нас тоже нет — вот за это бы и выпить!

И разговор заходит о культе личности, теперь это модно. Куда ни придешь — и в компаниях, и в семьях, — то и дело спорят, укоряют кого-нибудь в сталинизме, что-то друг другу доказывают и занимаются делением на правоверных и протестантов, на чистых и нечистых.

У меня от этих разговоров уже мозоли в ушах. Изобличают, спорят до хрипоты, надрываются — а что толку?.. Ведь после драки кулаками машут!

Я в этом культе по самые ноздри, но в споры никогда не вступаю и по возможности не высказываюсь. Я тугодум, соображаю

медленно — меня в шутку иногда называют Жирафкиным, — нужные мысли приходят не сразу, и потому предпочитаю молчать. Да и к чему переливать из пустого в порожнее?

Особенно же подчас нелепо и смешно о культуре высказывается молодежь. В жизни у них поиски и раздумья, стремление постичь истину, сомнения и неизбежные ошибки. Что же касается прошлого, то им обычно все ясно и понятно. Знают они о культуре в основном понаслышке, а рассуждают легко и свободно, высказываются, как правило, с такой безапелляционной категоричностью, что прямо диву даешься.

Нам в их возрасте тоже все было ясно и понятно. Как дважды два — четыре, и даже яснее и очевиднее.

Мы свято верили Сталину и были убеждены: все должно быть именно так, а не иначе, все правильно и непогрешимо.

Честная, слепая убежденность. Два десятилетия всеобщего гипноза и чистосердечной фанатической веры: все должно быть так, а не иначе. Иначе и быть не может!

Молодым несоизмеримо легче, им есть с чем сравнивать, хотя бы с последним десятилетием. А нам-то и сравнивать было не с чем!

Сейчас и среди пожилых всяких умников как собак нерезанных. Они-де все знали и все понимали. Один из таких — мой приятель Олег, историк, доцент — на днях в который уж раз похвалялся, что, когда Сталин умер, он-де прыгал от радости.

Он столько раз уже всем рассказывал, как в те дни прыгал от радости, что и сам в это искренне уверовал. Зыбка человеческая память, не прочна. А у меня сохранилась дневниковая запись того времени от 6 марта 1953 года: «...Весь день передают траурную музыку. Вечером зашел Олег, совершенно подавленный, сидел и в какой-то прострации повторял: «Что же теперь будет, а?.. Лишь бы все осталось так, как было при нем...»

Зыбка человеческая память, зыбка и обманчива...

Погруженный в свои мысли, я, как нередко со мной бывает, не замечаю, что происходит вокруг. А шумный разговор не замолкает.

— ...Если бы он жил на Кавказе, — весело восклицает Валерка, — и пас на двести миллионов меньше баранов, он бы еще лет пятьдесят прожил...

Очень мило, нечего сказать. Нечто подобное я уже слышал и не раз. Молодые частенько убеждены, что, будь они на месте

старших, ничего бы не случилось, и культа бы вообще никакого не было — они бы просто не допустили, — и всех, кто старше их хоть на восемь-десять лет, считают трусами и приспособленцами.

Нет, это не так, не могу согласиться, все значительно сложнее...

К примеру, мой отец, комкор Пантюхов, не был трусом. Я в свое время допускал, что он действительно мог в чем-то ошибаться, но в то, что он был трус или приспособленец, я бы никогда не поверил.

...В ту ночь я проснулся, когда обыск уже заканчивался в детской, где я спал, и первый, кого я увидел, был маленький тщедушный военный, который снимал с моей полочки томики Пушкина и Жюль Верна, торопливо просматривал их и отбрасывал в угол.

Дверь в столовую была распахнута, и я увидел отца: высокий и сильный, он сидел на стуле, лицом ко мне, заметно ссутулясь, положив на колени крупные, широкой кости руки. За его спиной стоял еще один военный в сиреневатой гимнастерке, а третий — багровый и потный — быстро, но тщательно простукивал снизу доверху стены квартиры и с ожесточением куда-то опаздывающего человека выламывал вентиляционные решетки, сбоку виднелось виновато-растерянное лицо дворника Пал Иваныча.

Когда я встретился взглядом с отцом, он, выпрямься, улыбнулся, лишь желвачок перекатывался на его левой щеке, и ободряюще подмигнул, мол, «не робей!» И мне подумалось, что отец сейчас подойдет ко мне и объяснит, что происходит.

На всю жизнь я запомнил, что на белой скатерти стола было много красного: партийный билет и депутатское удостоверение отца, орденские книжки, коробочки с боевыми наградами и еще что-то.

До этой ночи я ни разу не сомневался, что мой отец самый сильный, самый умный и самый смелый человек, и был убежден: стоит ему захотеть, и эти люди мигом окажутся на лестнице. Но отец, глядя себе под ноги, сидел, не двигаясь — никогда я не видел его таким растерянным и беспомощным.

Потом он поднялся — его уводили — и несколько секунд напряженно всматривался в мое лицо.

— Это какое-то недоразумение, — убежденно сказал он матери. — Позвони адъютанту, что я запоздаю...

— Я же сказал — молчать! — властно перебил его низкорослый.

К этой минуте я уже увидел брошенные в угол моей комнаты шашку с вызолоченным эфесом и знак ордена Красного Знамени, и длинноствольный маузер с серебряной накладкой — почетное революционное оружие отца, награда Реввоенсовета СССР — «Честнейшему и храбрейшему... за особые боевые отличия».

К этой минуте я уже был полон волнения и щемящей тревоги, мое сердце колотилось, как бешеное, и, когда тщедушный закричал: «Молчать!», я, все еще толком не поняв, что происходит, но, чувствуя что-то недоброе, страшное, соскочил с кровати и в одной рубашке бросился к отцу.

И тогда мать, стоявшая как в столбняке и за все время не проронившая ни слова, вдруг закричала, с решимостью схватив меня:

— Не смей к нему подходить! Советская власть зря не арестовывает!..

А через неделю приехали и за ней...

С тех пор прошло двадцать шесть лет, из них семнадцать она провела в лагерях, но и по сей день, как самую большую в своей жизни вину, она не может себе простить этих последних двух фраз и того, что меня тогда удержала...

Потом долгое время меня преследовал неосознанный страх: я прислушивался к подъезжающему к дому автомобилю, его звук приводил меня в ужас, вскакивал, забивался в темный угол или прятался в шкафу. В ту февральскую ночь я впервые лицом к лицу столкнулся с его всемогуществом культом личности. Впрочем, я и тогда не подозревал, что это он, да и другие не знали. В то время и выражения такого не было — культ личности. А сколько впоследствии еще было всякого!.. И может, я в жизни такой нерешительно робкий не только от того, что у меня осколки в голове, но и потому, что с двенадцати и до тридцати лет, до посмертной реабилитации отца, я на каждом шагу ощущал свою неполноценность...

— Ты что задумался? — Димка обнимает меня за плечи, и я вмиг возвращаюсь к действительности. — Ты что, Васек?

— Так... Ничего, — я стараюсь улыбнуться. — Все нормально.

— Вы что же почти не едите и не пьете? — заботливо и не без кокетства спрашивает меня с другой стороны Татьяна. — Вы все время как бы отсутствуете, куда-то мыслями уходите.

Давайте, — она легонько касается своим бокалом моей рюмки, заглядывает мне в глаза и предлагает тост: — За то, чтобы далекое стало близким!..

Мы выпиваем, а я задумываюсь, переваривая ее тост, и размышляю: отличное пожелание! И сколько мысли!

Это — и познание неведомого — какого-нибудь атома или целой галактики, — и великие открытия, и покорение космоса, и полеты на далекие планеты.

Это — и достижение взаимопонимания и улучшение отношений с Западом, и путешествия в другие страны.

Это — и построение коммунистического общества, искоренение в людях нетерпимости, и знакомство с хорошими интересными людьми, и обретение личного счастья.

И еще очень и очень многое. Удивительно емкий тост — сколько значений!

Но она-то, Татьяна, что конкретно имела в виду?.. «За то, чтобы далекое стало близким!» Может, она в этот тост вкладывала совсем иной смысл?.. Что-то она на меня очень уж приветливо поглядывает. А я таких вот одиноких, ее возраста женщин, «сексуально озабоченных», как называет их Севка, побаиваюсь, вернее, остерегаюсь. И внутренний голос мне тут же подсказывает: держись от нее подальше.

Разговор за столом продолжается, а железнодорожника, судя по его лицу, уже доняли: он надулся, сидит молча, красный и злой, зажав в руке вилку; он так взволнован и раздражен, что не в состоянии ни есть, ни пить, и слова выговорить не может. Вид у него довольно глупый, но мне его жаль.

Называется поговорили... Так нельзя! В предыдущие десятилетия человечество пережило столько насилия, жестокостей и несправедливости, что главное теперь — взаимная доброта и стремление понять друг друга, а криком и грубостью сейчас ничего не добьешься и никого не убедишь, только озлобишь. Главное — убеждение, а не принуждение.

Железнодорожника допекли, и предметом разговора почему-то стал Димка. В задумчивости я ничего не слышал и даже не заметил, как это произошло. Должно быть, он вступился за железнодорожника, желая смягчить или перевести разговор, и теперь все обернулось против него самого. И вот Валерка уже и его именуется «продуктом сталинской эпохи».

За Димку я спокоен, его выдержки и невозмутимости хватит на всю компанию и еще, наверное, останется.

— Продукт — это точно! — подначивает Севка. — Еще какой сталинист: матерый, убежденный!..

Севка отменный баламут. Подурачиться, кого-нибудь разыграть, подзадорить собеседника — для него истинное удовольствие. При этом он иногда так увлекается, что теряет чувство меры, однако проделывает все артистически и невозможно разобрать, когда он шутит, а когда говорит всерьез.

— Обратите внимание, что у него и усы «а-ля Отец родной», — посматривая на Димку, продолжает Севка, — я ведь ему не раз советовал: сбрей! А он не хочет!

Я, удерживаясь от смеха, поглядываю на Димку, и мне вспомнилось известное изображение, на котором Сталин, с такими же как у Димки усами, с доброй улыбкой (может быть усмешкой?) и с легким (может лукавым?) прищуром глаз, казалось, смотрит с портрета на все пострадавшее от него человечество, чьи жизни были раздерганы в клочья, как на справедливо наказанное им и историей.

А Димка, чуть усмехаясь, со вкусом уплетает салат и Валеркины высказывания, и Севкина подначка его не трогают.

— Сколько раз я его просил, — не унимается Севка, — сбрей, Дима, не позорься!.. А ему хоть бы хны! Ни в какую! — с деланной строгостью и возмущением заявляет Севка. — А ведь если разобраться, то это демонстрацией попахивает, причем политической!

— Вот-вот, еще и френча защитного ему не хватает, — строго и недоброжелательно вставляет русоволосая девушка.

— Есть у него и френч, — уверяет Севка, — все есть!

Димка, не торопясь, выпивает лимонад и, поставив фужер, как ни в чем ни бывало интересуется:

— А вы почему, Валера, так насчет культа переживаете?.. Наверно, сами пострадали, да? — мягко, с осторожностью спрашивает он. — Я, разумеется, имею в виду родителей.

— Как узко вы мыслите! — с неожиданной обидчивостью замечает Валерка. — У меня отец инженер-полковник, все время на ответственной работе, и мать, и родственники безупречные, не то, что у некоторых. Так что никаких претензий и личных обид у меня нет и быть не может. Просто, как и всякий мыслящий, как гражданин, я не могу об этом не думать и не говорить...

Он чувствует себя гражданином — что ж, это неплохо. Ему бы еще жизненного опыта, знаний и понимания — было бы совсем хорошо. Впрочем, это дело наживное.

Новорожденный то и дело угощает гостей, подливает вина, но сам мало ест и мало пьет. Прислушиваясь к разговорам и спорам, снисходительно улыбается, но сам в основном молчит — добродушный, невозмутимо-спокойный и неторопливый, — я замечаю, как потихоньку он поглядывает на часы, словно кого-то ждет.

На столе еще полно закусок и выпивки немало, но молодежь засиделась — им хочется потанцевать. Пускают пленку с ритмической музыкой; Севка поднимается одним из первых, приглашает Машеньку, Димка — Татьяну, а я остаюсь за столом — посижу, ничего, не заржавею.

На Севке нарядный, с иголки, сероватый костюм, должно быть, по последней моде: красивый, слегка приталенный пиджак с разрезами по бокам, узкие, чуть расширяющиеся книзу брюки без манжет, белоснежная рубашка и антрацитовый галстук, на ногах — черные, изящные полуботинки.

Молодежь, ничего не скажешь, тоже хорошо и модно одета — однако Севка, пожалуй, лучше и элегантнее всех — в дорогие костюмы и платья: о таких нарядах нам в юности и не мечталось, впрочем, с семнадцати и до двадцати лет я и Димка носили в основном яловые сапоги, маскхалат и не расставались с автоматом, финкой и гранатами. Для нас жизнь — счастливый подарок судьбы было выжить на войне, а не шмотки и харчи, которые нам не достались.

Севка танцует как бог и даже, наверно, лучше. Его быстрые ноги едва касаются паркета, в танцах у него легкость, почти невесомость и какая-то пленительность: каждый шаг, каждое движение — даже самое простое — исполнены необыкновенной грации и чувства ритма. Партнерша, с которой Севка потанцевал, потом всегда предпочитает его другим кавалерам, да и со стороны смотреть, как он двигается, — одно удовольствие. Рядом с ним — стройным, поджарым и грациозным — Димка со своей спокойной осанистостью выглядит медвежеватым и неповоротливым, танцует просто, без фокусов, степенно. Высокий, осанистый, мускулистый — девяносто шесть килограммов и ни грамма жира, — небольшая кругловатая голова, до времени поседевшие виски, лицо спокойное, малоподвижное, красивое, с небольшим дефектом — опущение левого века, — отчего и сам глаз выглядит несколько меньшим, чем правый.

Вот и Димка далеко не трус. В войну он, промежду прочим, добыл пятьдесят девять языков. Я знаю об этом не с его слов,

а из старой фронтовой листовки, и уж кто-кто, а я-то хорошо представляю, что такое захватить и привести через передовые хоть одного языка.

Когда же в пятидесятом году его брали, он на лестнице, ни секунды не раздумывая, действовал как в боевой обстановке: оглушил двоих сотрудников, отобрав у них пистолеты, а третий, отстреливаясь, сбежал. Димка скрылся, а день спустя сам явился в Прокуратуру на Пушкинской, и, вместо положенных ему за рассказанный где-то анекдот десяти лет, получил двадцать пять, якобы за шпионаж — это его-то, у которого вся грудь в орденах, а тело в шрамах, — показаний никаких не дал, да и признаваться-то ему было не в чем. Тогда, на следствии, ему и глаз повредили.

Отсидел он всего четыре года, но Галка его не дождалась. Дружили с детства и такая была любовь, а вот не дождалась — вышла за другого.

А я Галку не виню, я ее даже понимаю: 25 лет это не 25 месяцев. Откуда она могла знать, что Сталин через три года умрет, а Димку выпустят? Откуда она вообще могла знать, что Димка останется в живых?.. И потом, быть женой, точнее сказать, вдовой агента иностранной разведки, врага народа, осужденного на четверть века за шпионаж, — хуже, пожалуй, и не придумаешь. Димка, когда вернулся, с горя и отчаяния сломался, запил. И посидел-то он не в лагерях, а по возвращении, из-за Галки.

Сейчас она в Германии, муж — полковник, и уже трое детей. А Мишутку, своего сына — он родился вскоре после Димкиного ареста, — сразу забрал. Воспитывает его сам и моя мать, «баба Клава»: Мишутка с малых лет убежден, что она ему родная бабушка.

Вот из-за сына Димка и не может жениться, все никак не выберет: ведь ему нужна не просто женщина — таких полно, — а нужен Человек и, прежде всего, Мать.

Севка — самый везучий и удачливый из нас, он и выглядит лет на десять моложе меня или Димки, хотя все мы одного года рождения. В войну он совершил около трехсот боевых вылетов, его четырежды сбивали — спасался на парашюте, — и ни ранения, ни контузии, даже ни единой царапинки! А на Димке нет живого места, да и у меня ранения и тяжелая контузия — пожизненная инвалидность.

После войны мы с Севкой вместе поступали в авиационный институт, и, хотя я набрал больше баллов, он, конечно, попал,

а я нет — меня забодала мандатная комиссия, — но не по состоянию здоровья, а по анкетным данным. Впрочем, для меня это не было неожиданностью: я в двенадцать лет стал «вражьем сучонком» и на многие годы твердо усвоил, что главное в жизни — осторожность в выборе родителей, и уж, коль обмишулился, то расплачивайся, терпи.

Севка и самый из нас благополучный. Правда, и у него не обошлось без задоринки. Лет одиннадцать назад, когда он окончил институт, в момент распределения у его жены Розы откопали за границей какую-то тетку, она даже не знала о ее существовании, однако Севка из-за этого вместо закрытого конструкторского бюро попал в 5-й таксомоторный парк, где и проработал около трех лет. И если бы «старик» не помер, то Севке, как он уверяет, пришлось бы и по сей день заниматься профилактическим ремонтом автомобилей.

Все ребята и девушки танцуют, только Валерка сидит на своем месте, медленно потягивая из рюмки вино. Он немного охмелел, и я чувствую, что его так и распирает желание с кем-нибудь поспорить или хотя бы высказаться.

Он было заговаривает со мной, но я тут же с сосредоточенным видом отворачиваюсь, будто слежу за танцующими, и решительно показываю ему затылок. Немного погодя я слышу, как он обращается к сидящему через стул от него железнодорожнику:

— Вы зря обиделись, — заявляет он. — Вы не правы. Нужно смотреть фактам в глаза, а не тешить себя иллюзиями и стараться все оправдать. Самая горькая правда лучше самой красивой лжи, и мы обязаны...

Я скашиваю глаза в сторону железнодорожника. Он смотрит на Валерку сентябрем, весь багровеет и раздраженно восклицает:

— Вы ко мне не привязывайтесь! Я вас не трогаю, и вы ко мне не привязывайтесь!

Меж тем грязные тарелки заменены чистыми, на стол добавлены вазы с фруктами, разная выпечка, пирожные и торт, и Люся приглашает всех танцующих перекусить и выпить.

Севка подводит Машеньку к столу, и я слышу, как она его спрашивает, где он работает.

— В Мосэнерго, — сообщает Севка.

— Наверно, каким-нибудь начальником?

Меньше, чем начальником, она его не представляет.

— Ну, зачем же? — улыбается Севка. — Инженером.

Он в нерешимости поглядывает на стол и на Машеньку, словно соображая, что же ему делать — присесть и выпить (а хочется, ведь чувствую, хочется!) или снова идти с ней танцевать.

В компаниях, если кто интересуется, он обычно рекомендует себя инженером с электростанции. И только его жена Роза, Димка, я и, разумеется, его сослуживцы осведомлены, чем он в действительности занимается.

— А вы почему не танцуете? — обмахиваясь платочком, без кокетства спрашивает меня Татьяна, она разругалась, улыбается и вроде даже помолодела. — И не ухаживаете за девушками?

«За девушками» — умора! Очень ее это волнует — почему я не ухаживаю за девушками. В душе я даже фыркаю, однако виду не подаю и собираюсь с мыслями, чтобы ответить, но меня опережает Севка.

— А у него есть справка, — отрезая кусочек семги, с самым серьезным видом доверительно сообщает он, — с ней в женской бане можно мыться... Несчастный случай... последствия проникающей радиации, теперь Вася не ухажер, а только наблюдатель, — озабоченно вздыхает он и корчит невыразимо печальную рожу.

Я заливаюсь краской и не могу ничего сказать. И Татьяна тоже краснеет, как человек, допустивший бестактность. Вот теперь и доказывай, что ты не верблюд и что в женской бане тебе не место!

На Севку я не обижаюсь, хотя он нередко так со мной обращается, ему недостает Димкиной душевности. Он намного сложнее, чем обыкновенно кажется. Не зная его, трудно поверить, что этот арап и баламут — кандидат технических наук и начальник одного из отделов у Главного Конструктора космических кораблей. Мне неизвестно, что он там делает — он не рассказывает, а я не расспрашиваю, — только знаю, что его ценят и повышают. В последние годы за создание ракетной техники он дважды награжден орденом Ленина; мы это отмечали вчетвером — Димка, Севка, Роза и я, — без шума, но довольно торжественно: «обмывали» по фронтовому обычаю, опуская орден в стакан.

Валерка смотрит сквозь очки на Севку хмельными серьезными глазами и замечает:

— Мы с вами не договорили.

— Со мной? — весело удивляется Севка. — Ну что ты, Валерий, у нас с тобой полное взаимопонимание. А вот с усатым, — он кивает на Димку, — не мешает побеседовать. И с Васей тоже, — он показывает на меня. — Это явные пережитки! Ты им растолкуй, что и как. Всё разъясни!.. За жизнь, за культ и сколько будет от Ростова и до Рождества Христова...

Димка, чуть усмехаясь, ест яблоко, а я отворачиваюсь, будто не обо мне и речь.

Татьяна, держа в руке потухшую сигарету, сидит, уставясь перед собой отрешенно задумчивым взглядом, не вступая в разговор и не слыша музыки. Говорят, что женщины курят, когда у них не устроена личная жизнь. Должно быть, так оно и есть.

Чем дальше я присматриваюсь к ней, тем больше проникаюсь к ней уважением, симпатией и сочувствием, тем больше она мне нравится. Не как женщина, нет, хотя в свое время она, наверное, была хороша. Просто в ней есть что-то настоящее, душевное, располагающее. Каждому хочется теплоты, каждый хочет любить и быть любимым. Это даже не желание, а право, потребность, более того — необходимость. Но чем же я ей могу помочь?.. И я думаю о товарищах моей юности, о миллионах молодых, здоровых, хороших людей, сражавшихся за свободу Отчизны — целое поколение несостоявшихся ее потомков, — которые навеки остались в бесчисленных могилах, разбросанных по Европе от Волги до Берлина и Вены. Я думаю о невестах, так и не ставших женами, об одиноких, как и она, обездоленных женщинах, которым — будь они хоть семи пядей во лбу — уже никто и ничто не поможет. И я ее понимаю.

А тем временем Валерка продолжает вещать:

— ...И, безусловно, все, кто родился до тридцать пятого года, не только жертвы культа, но и соучастники его преступлений!

— А почему именно до тридцать пятого? — очищая апельсин от кожуры, интересуется Димка. — Что это за разделение?

— Те, кто родились до тридцать пятого, достигли при культе совершеннолетия, — добродушно усмехаясь, поясняет Глеб: он подошел выпить фруктовой воды и прислушался к разговору.

— Плохи наши дела, — улыбается Димка и поглядывает на меня. — Горе нам, окаянным!.. Выходит, для пользы дела нас всех нужно на мыло?

— А вы не смейтесь, — серьезно и обидчиво говорит Валерка. — На мыло это нереально, но лет через двадцать

пять—тридцать история схарчит и Сталина, и всех вас! С дерьмом смешает!..

Какой прозорливый мальчишка — он даже знает, что будет через тридцать лет! А вот мы не знали. Мы даже всего десять лет назад не знали, что будет сегодня, первого января шестьдесят третьего года.

Мне почему-то делается грустно и немного смешно. Безусловно, все мы дети определенной эпохи, но я за эту эпоху особенно не держусь, даже наоборот. Если бы я только знал и мог, то постарался бы родиться лет на тридцать позже. Если бы я знал и мог, то перехитрил бы и этих ребят, и родился бы даже не в сорок втором, как они, а лучше — в пятьдесят шестом году. И тогда, быть может лет через десять, вот так же угощал бы всякими эпитетами, упреками и обвинениями и Валерку, и его сверстников. Точно так, как они сегодня поучают нас. Тоже, небось, в охотку бы пополоскал!

Но жизнь не повернешь вспять... И нехорошее чувство закрадывается в душу, что эта новая поросль, не испытывая никаких сомнений, так легко, походя, не задумываясь, без сожаления и угрызений совести, объявит каждого — как мы и железнодорожник — продуктом, точнее субпродуктом, эпохи, и действительно разотрет, перемелет, размажет, смешает с дерьмом. За что?!

Я вымазал руки кремом от пирожного и выхожу, чтобы их вымыть. В коридоре никого нет, но впереди слышится громкий разговор.

— За что?! — обиженно вопрошает взволнованный мужской голос. — Я тридцать девять лет вкалываю не за страх, а за совесть — безусловно! И меня же... сталинист... соучастник преступлений!?

— Да брось, кум, наплюй! Давай лучше выпьем...

Проходя в ванную, я заглядываю в кухню и вижу там Люсю, ее родителей и дядюшку-железнодорожника с женой, двое последних — в пальто. В руках у Алексея Стратоновича две стопки водки. Завидя меня, он конфузливо улыбается.

Я мою руки, дверь приоткрыта, мне слышно, о чем говорят, и сразу понимаю, в чем дело: железнодорожник обиделся на выпады ребят и уезжает, а хозяева уговаривают его остаться.

— Нет, ты скажи, что я кому плохого сделал? — требовательно спрашивает он.

— Да кто же говорит, что сделал? — успокаивает его Алексей Стратонович. — И я ведь тоже повар, а не палач. Но эпоха-то была сталинская, никуда не денешься. Стало быть, все мы — сталинисты. И я тоже, — покорно признается он. — Но ведь я-то не обижаюсь. И не отказываюсь. Принимаю как должное — никуда не денешься!

— Твое дело! А я не желаю! Не виновен!! Ни в чем!!! Тут даже понятие вины неуместно. Вина — это то, что, в конце концов, искупается, — возбужденно выкрикивает железнодорожник, устремляясь в переднюю. — Нет! Это не вина! Все ложь!!! Пусть кается тот, у кого совесть нечиста, а мне не в чем раскаиваться!

Остальные, теснясь в узком проходе, следуют за ним.

— Останьтесь, дядя, — слышится умоляющий Люсин голос. — Ну что вы надумали?.. Нынче праздник, а вы... Никто лично вас не оскорблял.

— И не проси! Я с ними оправляться на одном километре не желаю! — все более распаляясь, шумит в передней железнодорожник. — Сытые, довольные собой молокососы, маменькины детки, их еще ни разу жареный петух не клюнул, они еще в жизни ничего, кроме своего сытого благополучия, не видели, и меня же оскорблять! Это их родители чистенькие, а все мы, создававшие для них сегодняшнюю спокойную жизнь, оказались чуть ли не их личными врагами, «перерожденцами», «пособниками режима» и «репильными патриотами». Слово-то какое выискал! Тьфу!!!

Он выскакивает на площадку и в сердцах громко захлопывает за собой дверь.

С самым безразличным видом, будто ничего не слышал, я пытаюсь проскользнуть в комнату, но задеваю Люсю. Она оборачивается и по моему лицу, верно, догадывается, что я всё слышал.

— Извините, — виновато говорит она. — Зачем все это ворошили? — и уже взволнованно продолжила: — Когда Сталин умер, мне было шестнадцать лет. Мы так ему верили!.. А теперь все смешалось... Возможно, к старости у него и были ошибки. Но зачем сейчас все это ворошить и устраивать разборки с прошлым?.. Кому это нужно?.. Тем, кто пострадал?.. Но их же меньшинство...

Вот тебе и тридцать шестой год рождения! «Кому это нужно?» Славная она, Люсенька, очень славная, но чердак у нее плохо меблирован.

Я возвращаюсь к столу, размышляя над Люсиными словами, и не замечаю, как передо мной вырастает Машенька. Глядя своими темными озорными глазами, она шутливо, церемонным реверансом, приглашает меня танцевать. Это, конечно, Севкина работа.

– Простите, но я... не танцую...

Я упираюсь, но она тащит меня на середину комнаты, на нас смотрят и уже смеются, а затем принимаются громко хлопать. И я в полном смущении иду танцевать, хотя делать это мне определенно не следует.

...Когда мне было лет десять, отец начал учить меня танцевать.

– У того, кто хорошо танцует, – уверял он мать, – больше знакомых девушек и больший выбор невест.

Ему так и не пришлось меня научить, а дальше в жизни мне было не до танцев. Я с двенадцати лет начал работать, вечерами учился, а потом война... Я и сейчас почти не умею танцевать и, возможно, отчасти и поэтому до сего времени никого не выбрал.

На мне широковатые неглаженные брюки, двубортный, старого покроя, пиджак, темная фланелевая рубашка без галстука, а на ногах – тупоносые, на толстой микропорке и, к стыду моему, нечищенные полуботинки. Только теперь я соображаю, что прежде, чем ехать сюда, обязательно надо было переодеться. Вот так всегда – задним умом и дураки сильны. Я вдруг внезапно вспоминаю, что брюки мои лоснятся – как чудовищно блестят они сзади! – и мне становится не по себе. У меня одна мысль, одно стремление: сесть или как-то спрятать свой зад. Мне живо представляется, сколь я, очевидно, неуклюж, старомоден и даже смешон; от этой мысли мне делается жарко, я сбиваюсь с такта и начинаю двигать ногами невпопад, но главное – не падать духом, сохранять спокойствие и выдержку.

Я стараюсь вовсю, аж рубашка мокрая, и напряжение предельное, может, кому от танцев и удовольствие, но для меня это каторжная работа, честное слово, и я мечтаю лишь об одном: хоть бы скорее все это кончилось.

Севка стоит в стороне, наблюдая, и, видимо, поняв мое состояние, решает меня подбодрить.

– Легкость, грация, ритм!.. – как бы дирижируя танцем и, ни к кому собственно не обращаясь, весело восклицает

он. — Кавалеры, не вцепляйтесь дамам в платья!.. Выше головы!.. Больше непосредственности... Ко-кэт-ство!.. Молодца, Жирафкин, молодца!.. Шевели протезами!..

Я танцую, вернее, мучительно стараюсь шагать в такт, стремясь добросовестно исполнять немудреные фокстротные движения, но у меня ничего не получается: и музыка какая-то неровная, и мешают другие пары, и паркет чертовски скользкий, и слаженности не хватает — словом, не ладится. Я попадаю Машеньке на ногу раз-другой, краснею, извиняюсь, снова сбиваюсь с такта, вторично извиняюсь и тут же, потеряв равновесие, всей тяжестью наступаю каблуком на носок ее туфельки.

Она вскрикивает от боли и резко отстраняется.

— Вы даже не жирафа, а бегемот! — обиженно и зло говорит она и смотрит вниз на свою ножку. — Ну, надо же, чулок поехал!

Я забираюсь в угол, дав себе слово больше не танцевать, даже если меня трактором будут тащить. Мое дело — сидеть, смотреть и молчать.

Но посидеть-то мне как раз и не приходится. Видимо, решив, что меня надо развлечь или как-то занять, ко мне через стол наклоняется Глеб.

— Может, концерт по телевизору хотите посмотреть? — вполголоса заботливо предлагает он.

Я охотно поднимаюсь и иду вслед за ним.

* * *

Квадратная комната и широкое окно в ней разделены перегородкой на две части. В левой — тахта с подушками, невысокий шкаф, маленькое трюмо и пуф, сверкает натертый до блеска паркет — чистота и уют. Успеваю заметить Димкину фотографию у зеркала и догадываюсь, что здесь помещается Люся.

Правая половина, куда ведет меня Глеб, контрастно отличается от левой. По всей стене, до потолка, стеллажи, уставленные книгами, какими-то приборами, электро- и радиоаппаратурой. На тумбочке — телевизор, вернее, только шасси с объемистой приемной трубкой, бесчисленными деталями, лампами, хаотичным переплетением проводов. На этажерке — большущий самодельный радиоприемник, тоже без футляра.

Усадив меня на кушетку, Глеб включает телевизор, затем приемник, а я пока что осматриваюсь.

На письменном столе возле перекидного календаря — гипсовый бюстик Ленина. Выше, на полках среди книг, вырезанные из журналов фотографии, в основном по надписям узнаю: Эдисон, Бунин, Чехов и Пирогов. Сбоку на стене распорядок дня: «Подъем — 6.00...»

По обеим сторонам, справа и слева, стол завален научными журналами, книгами и толстыми тетрадами; на подоконнике увесистые никелированные гантели, слесарные тиски и ракетка для настольного тенниса; на полу — ящик с инструментами и запыленный трансформатор.

Да, уютом здесь и не пахнет. Хотя имеется кушетка, но, по существу, это не жилая комната, а рабочий кабинет инженера или какого-нибудь изобретателя. Однако Глеб не то и не другое, он — студент медицинского института. И мне сразу представляется его судьба: увлекался радиолобительством, конструировал, но в технический институт не попал, а тут подвернулась возможность поступить в медицинский и, чтобы не терять время, — устроился.

По сути дела — это трагедия: имея мечту и призвание к одному, быть вынужденным всю жизнь заниматься совсем другим и, что самое печальное, лечить людей — больным, которые к нему попадут, я не завидую.

На телевизионном экране будущие балерины — пока еще крохотные и хрупкие девчушки — исполняют танец маленьких лебедей. Я люблю этот балет, изображение превосходное, да и танцуют неплохо, но я думаю о Глебе и не могу сосредоточиться. Ведь он, возможно, еще не осмыслил по-настоящему, как невесело в будущем все это для него обернется.

Глядя на экран, он одновременно трогает ручку настройки приемника, ловит какие-то дальние станции; слышны негромкое потрескивание, быстрая испанская речь и музыка. Попав в свою комнатку, он явно оживился, а когда подсел к приемнику, то и лицо его вроде просветлело. Подметив это, я уже не сомневаюсь, что главное для него — радиотехника.

— Хорошо работает? — чтобы завести разговор, спрашиваю я, указывая на приемник.

— Староват, — признается он и снисходительно улыбается. — Это еще школьное увлечение.

Он улыбается, глядя мне в глаза простодушно и с такой искренностью, что трудно ему не поверить. Но сбоку у его локтя на корешках книг я читаю: «Проблемы надежности радиоэлек-

тронной аппаратуры», «Введение в статистическую теорию связи», я вижу также журнал Академии Наук «Радиотехника и электроника», предпоследний ноябрьский номер, — нет, это не школьное увлечение.

— Но радиотехникой вы и сейчас интересуетесь?

— Не только интересуюсь, — улыбаясь, неожиданно сообщает он, — но изучаю.

И снова умолкает. Он не словоохотлив, но я расспрашиваю, и понемногу он разъясняет.

Оказывается, что для дела, которым он мечтает заниматься, одного только медицинского образования недостаточно.

— Что же это за дело? — интересуюсь я.

— Диагностика будущего, точнее, разработка, создание и совершенствование «кибернетических систем диагностического мышления».

Я слушаю с напряженным вниманием, силясь если не усвоить, то хотя бы отчасти разобраться в том, о чем он говорит. Многие употребляемые им слова — например, кимограф, перфокарта, алгоритм — я слышу впервые, кое-чего просто не понимаю, но суть улавливаю.

— В недалеком будущем, — объясняет он, — диагноз больному будет ставить не врач и не консилиум, а электронно-вычислительная машина. После клинического обследования все сведения о больном — десятки анализов и симптомов — в виде перфокарт или магнитных лент будут поступать в такую машину, и она, обработав и оценив совокупность всех признаков, быстро и безошибочно, даже в самых неясных случаях, определит диагноз, указав, если имеются, и сопутствующие заболевания. Так вот, для работы с электронными диагностами одного только медицинского образования совершенно недостаточно, поэтому я учусь одновременно и на заочном в энергетическом институте, а также занимаюсь кибернетикой и еще некоторыми точными науками — без всего этого мне в дальнейшем не обойтись.

Объяснив, он умолкает, и мне тоже нечего ему сказать. По возрасту он годится мне в сыновья, но я чувствую себя сейчас перед ним если не дураком, то полным невеждой. Он знает очень многое, о чем я не имею никакого представления и чего, к сожалению, никогда не узнаю. Напряженно соображаю, чем я могу его заинтересовать, как поддержать разговор?..

Наконец вспоминаю, что дома у нас испортился телевизор. Он барахлил и капризничал уже несколько месяцев, но мать всякий раз встряхивала его или постукивала по боковым стенкам, и это помогало. Однако позавчера пропал звук, и сколько мы ни трясли, сколько ни ударили — все было зря.

Я решаю посоветоваться с Глебом. Понятно, об этой самостоятельности — встряхиваниях и постукиваниях — я умалчиваю.

— Какой телевизор?.. — осведомляется он. — «Авангард»?

Поджав губы и недовольно посапывая, он почесывает затылок, потом, достав из кармана блокнот, листает его и говорит:

— На этой неделе я не смогу... А в воскресенье вечером вы свободны?.. Я заеду, — заявляет он, хотя я его об этом не просил, а думал только посоветоваться. — В половине девятого... нет, пожалуй, без двадцати девять, — уточняет он, записывает мой адрес и, помедлив, добавляет, — только вы сами нековыряйтесь...

Я смотрю на Глеба, вижу его лицо и утверждаюсь в мысли, что празднование дня рождения, вся эта гастрономия и танцы его мало занимают, он увлечен познанием, устремленно движется к цели, на счету — каждый час и потому любая бездумная трата времени не может его не тяготить. Я не догадываюсь хотя бы из вежливости отказаться и не успеваю поблагодарить, как в комнатку вбегают Люся.

— Ты что, Глеб, — у тебя же гости! Идемте, идемте! — Она проворно выключает телевизор и приемник и, взяв меня под руку, уводит нас.

* * *

А музыка и танцы в большой комнате продолжают. Я забираюсь в угол, и тут же ко мне подсаживается Алик. Он ловок, красив, хорошо танцует и по-мужски решителен, но, кажется, неумен, во всяком случае, дважды перед этим со значительным видом высказывал довольно банальные остроты и вообще производит впечатление человека, у которого ноги развиты лучше головы. Вот и сейчас наливает себе вина, поднимает фужер и, ни к кому не обращаясь, с мрачной убежденностью изрекает:

— А жизнь коротка и загажена, как детская распашонка! — чокается с бутылкой и выпивает все до дна.

В первое мгновение мне это высказывание нравится, и я решаю его запомнить, но вдумываясь и, вникнув, соображаю, что это всего-навсего громкая, но бессмысленная фраза. Алик просто не видел детских распашонок в деле: они действительно коротки и потому-то не бывают загажены, разве только у негодной, неряшливой матери.

Он заметно охмелел и смотрит на меня теперь тяжелым, почти враждебным взглядом. Может, ему не понравилось, что я танцевал с Машенькой?.. Она же сама меня пригласила — неужто он не видел?.. И Севка тоже с ней танцевал. Впрочем, я-то не Севка: что позволено Юпитеру, то не позволено быку.

На другом конце стола Валерка, тоже порядком захмелевший, жестикулируя, что-то доказывает Димке — он все еще не до конца выговорился. Димка, улыбаясь, внимательно его слушает, затем, подняв глаза, смотрит в мою сторону и замечает зловещий взгляд Алика.

— Иди сюда! — громко зовет он меня, и, когда я подхожу, протягивает мне рюмку. — Предлагаю хороший тост, — говорит он Валерке и Машеньке. — За тех, кто производит материальные ценности!

— А без лозунгов вы не можете? — морщит нос Машенька.

— При чем же здесь лозунги?.. Я от души.

— Не трожь рабочий класс, — примиряюще улыбается Валерка и поднимает свою рюмку. — За тех, кто нас кормит и одевает!

— За предков? — оглядываясь на Севку, переспрашивает Машенька.

Но мы уже пьем, и ей никто не отвечает.

— Между прочим, материальные ценности это опять-таки брюхо! — поставив рюмку, со строгой озабоченностью замечает Валерка. — А настало время подумать и о душе, о нравственных, моральных устоях, о действенных путях воспитания нового человека, Гражданина!.. Наверно, в этом вопросе у нас тоже имеются разногласия, и я охотно могу доказать, что вы не правы...

Вот чертов сын, неумышл! Он еще не знает, есть ли между ними разногласия, а уже готов доказывать Димке, что тот не прав. Он высказывается, почти не умолкая — ну как ему не надоело? Хоть бы пошел потанцевать, что ли...

Димка отправляется в переднюю покурить, и я спустя полминуты выхожу к нему. Он стоит близ выходных дверей, в задумчивости выпуская к потолку дым.

— Ну, как тебе? — спрашивает он меня.

Это его обычный вопрос, и полностью он звучит так: «Ну, как, тебе хорошо?» Лет семь назад, когда Димка болел, Мишутка жил у меня, и мы с ним спали на одной кровати. Укладываясь на ночь, мальчонка, чтобы не помешать мне, отодвигался к самому краю и обязательно спрашивал: «Тебе хорошо?», и я тогда понял, у кого он этому научился.

— Все нормально, — говорю я Димке и киваю головой в сторону двери. — А занятные ребята.

Мне хотелось сказать «задиристые», но почему-то получилось «занятные».

— Ага, — затягиваясь папиросой, соглашается Димка. — С завихрениями... но это вроде коклюша и ветрянки — пройдет... Лишь бы они были лучше и счастливее нас... — после небольшой паузы раздумчиво произносит он.

Это верно сказано: лишь бы они были лучше, а главное — счастливее нас, пусть их жизнь будет радостнее и светлее.

В эту минуту из ванной в переднюю выходит Алик и направляется к нам. Он совсем опьянел, лицо у него угрюмое и решительное, в руках — бритва.

— Внутреннюю суть вам уже не изменишь, а вывеску сталиниста можно поправить и знаменитые усы предлагаю сбрить! — категорически заявляет он Димке. — Вы сами или вам помочь?!

И, раскрыв бритву, поднимает ее на уровень Димкиного лица.

Чуть сощуря поврежденный глаз и передвинув языком папиросу в угол рта, Димка ухватывает Алика за кисть — тот изгибается и, застонав от боли, приседает.

Выпавшую бритву Димка быстрым движением ноги отбрасывает в угол под вешалку, затем, взяв Алика правой рукой за шиворот и слегка приподняв, левой открывает входную дверь и выталкивает его из квартиры. Он делает все это спокойно и вроде без усилия, но Алик пролетает лестничную площадку и ударяется о низ противоположной двери.

— Пусть немного проветрится, — замечает Димка таким тоном, будто выпустил погулять свою кошку или собаку.

Затем, подняв бритву, вытирает ее носовым платком и уносит в ванную.

Минут через двадцать ко мне подошел Димка и обеспокоенно прошептал:

— И дернуло меня с ним связаться! Ерунда какая-то получилась.

Оказывается, Алик куда-то исчез: пальто на вешалке, шапка тоже, а его и след простыл. Димка уже спускался в парадное, смотрел во дворе и обошел всю лестницу — Алика как не бывало.

— Никуда он не денется, — успокаиваю я Димку, а заодно и самого себя. — И все правильно: он же сам напросился!

Алик больше так и не появился, а его приятели продолжали танцевать и веселиться, даже не заметив его исчезновения.

...Ровно в четверть двенадцатого Севка перестает танцевать и потихоньку делает нам знак.

Он большой трепач и баламут, но преданнейший муж, и Роза спокойно отпускает его. Куда бы он ни пошел и сколько бы ни выпил, он обязательно до полуночи и в полном порядке возвращается домой: он женат тринадцатый год, но любит Розу как в медовый месяц, любит и побаивается.

Роза маленького роста и очень хорошенькая, и девочки-двойняшки у них такие же миниатюрные и хорошенькие, точно вылитые в маму. Но характерец у Розы — термоядерный. Мы с ней большие друзья, но, говоря откровенно, и я, и Димка ее тоже побаиваемся.

Мы уходим по-английски, не прощаясь с гостями.

В передней Люся сует Димке объемистый пакет.

— Да ну, — смущаясь, бормочет он. — Зачем?

— Кулебяку разогрей ему утром, — поправляя Димке шарф, вполголоса говорит Люся, — а бутерброды с собой дашь. И апельсин.

Ему — это Мишке. С дальним прицелом деваха, и довольно точным. Уже о Мишке заботится. Все они до времени хорошие и заботливые!

Попрощаться с нами выходит Алексей Стратонович. Димка сдержанно благодарит его и пожимает руку, а Севка в таких выражениях хвалит закуски, что старик краснеет, мнетя, хочет что-то сказать, но Севка буквально не дает ему раскрыть рта, и тот, стеснительно улыбаясь, покашливает в кулак, смотрит под ноги и покорно слушает.

— Очень приятно... — произносит он, когда Севка, наконец, умолкает. — Но только стряпала-то жена... Вы уж извините... здесь же условий никаких, — как бы оправдываясь, поясняет он. — Вы в ресторан ко мне приходите, вот там я вас угощу...

— Не забудьте, — напоминает мне новорожденный, — в воскресенье вечером, без двадцати девять...

Мы покидаем квартиру, когда в переднюю выскакивает Машенька, пунцово-красная, разгоряченная вином и танцами.

— Вы что же, Сева... уже уходите? — сразу сникнув, жалобно произносит она.

Милая маленькая женщина! Она еще не умеет или, может, не в состоянии скрывать своих чувств, своего крайнего огорчения. В эту минуту она не замечает никого, кроме Севки, смотрит на него с мольбой и, мне кажется, вот-вот расплачется.

— Тысячу извинений, Машенька, — Севка прикладывает руку к груди и, глядя ей прямо в глаза, вздыхает, — но через сорок минут мое дежурство по станции. Вы поймите, Машенька, ведь должен же кто-то давать городу свет?!

Она определенно не хочет этого понимать: у нее лицо обиженного до слез ребенка. И я ей сочувствую.

Люся деликатно уходит в кухню, а мы с Димкой спускаемся по лестнице. Я слышу сзади тихий дрожащий голосок:

— Но мы с Вами еще увидимся?

— А жену мы куда денем? — шутливо осведомляется Севка. — Я же, Машенька, вам сказал...

— Ну и что?.. Неужели мы не можем куда-нибудь пойти, потанцевать... Просто так... Я же ни на что не претендую...

Ого, она, кажется, и не так уж неопытна!

— Телефон у вас есть? — быстро спрашивает Севка.

В таких случаях он обычно записывает телефон. Вот баламут! Иногда мне хочется его побить.

— Владимир — 4... В-4-00-12... — живо диктует Машенька. — Только обязательно!

Бедная девчужка! Мне ее от души жаль: как бы она ни ждала, Севка ей не позвонит. Если же где-нибудь, когда-нибудь им доведется встретиться, он, не моргнув и глазом, будет божиться, что потерял номер телефона и поэтому не мог ее разыскать и позвонить.

В парадном Димка закуривает и, держа перед собой сверток, в задумчивой сосредоточенности толкает дверь. Мы выходим на улицу.

Мороз — аж прихватывает дыхание — градусов двадцать пять, не меньше. Я поглубже надвигаю шапку и засовываю руки в карманы, но холод уже пробрался за спину и в рукава.

Севка, чуть поотстав, следует за нами. То и дело он оборачивается, высматривая зеленый огонек такси, и насвистывает — от всего выпитого ему и мороз нипочем — мотив своей любимой песенки: «Лети же, меж-континентальная, лети хорошая, лети...»

В эту минуту он, наверное, менее всего думает о ракетах. Меж тем одна из них и вправду мчится сейчас в ледяных безмолвных просторах Галактики, с огромной скоростью приближаясь к Марсу. И в этой чудесной машине есть частица и его, Севкиного, труда.

А звезды смотрят на нас, помигивая, будто дразнятся и зовут. Мне-то, конечно, уж не придется, а другие побывают там. Какой-нибудь Глеб или Валерка. А, может, Машенька... Или Димкин Мишутка... А, может, и кто из моих ровесников — тоже не исключено...

— Ну, как Люся? — потихоньку спрашивает у меня Димка.

— Все на месте, — говорю я, — она мне действительно понравилась.

— Встречаются и хуже, — язвительно вставляет Севка. — Но ему же не на параде на ней ездить...

— Заткнись, рожка! — неожиданно свирепеет Димка, останавливаясь, и в бешенстве поворачивается к Севке. — Я тебя весь вечер терпел! Но если ты вякнешь о ней хоть слово, я тебя так уделаю — всю жизнь на аптеку работать будешь!..

Нервным движением передав мне сверток, он лезет под пальто в карман пиджака, достает паспорт и, раскрыв его, показывает.

Я вижу штамп Загса и дату: 31 декабря. Вчера!

Я ничуть не пьян, но от этой новости у меня ощущение какой-то ошалелости, будто меня ударили чем-то по голове.

— Ясно... — растерянно говорит Севка и тут же натянуто улыбается. — А свадьбу зажал?

— О свадьбе будет объявлено дополнительно, — пряча паспорт, строго сообщает Димка. — Следите за афишами.

— Только гуляем у тестя в «Берлине»! — предлагает Севка и снова весь оживляется. — Он же нас пригласил. Вот уж где погужуемся!

Он отстает, собирая руками снег. Мы оглядываемся, и я поднимаю воротник.

— Сталинисты! Сталинисты проклятые!!! — вдруг с нарочитым, деланным возмущением выкрикивает Севка на всю улицу,

бросая в нас снежком; редкие прохожие оборачиваются, а некоторые в недоумении останавливаются.

— Да, жили мы при нем, — как бы рассуждая вслух, произносит Димка. — Из песни слова не выкинешь.

— Все это сложнее. В тысячу раз сложнее! — замечаю я.

У меня вдруг появились всякие мысли и доводы, и мне даже хочется вернуться, чтобы рассказать и попытаться объяснить все и Валерке, и Машеньке, и остальным.

— Они просто не представляют и ничуть не понимают, как это было, — говорю я. — Причем убеждены, что все знают и понимают... Наверное, для того, чтобы все это по-настоящему понять, надо самому все пережить! — заключаю я.

— Смотри-ка, и до него дошло! — смеется Севка и, ухватив меня руками за воротник, звучно целует в нос. — Жирафа ты моя ненаглядная...

— Ну, ладно, — недовольно говорит Димка, отстраняя Севку, и, протягивая мне свои кожаные на меху перчатки, велит: — Надень!

Из-за угла вываливается и движется нам навстречу веселая компания: четыре девушки и трое парней. Один из них отчаянно растягивает меха гармони, но она, вынесенная из тепла на мороз, лишь сипит, издавая жалкие, еле слышные звуки, а другой — высокий, в распахнутом пальтишке и без шапки — умудряется на ходу приплясывать, забавно выкидывая в стороны длиннющие ноги, у всех радостные лица и с жеребьячьим восторгом они громко, с задором поют:

Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!

— Простудишься, сыночек! — весело кричит Севка парню.

— Ня бойсь, папаша, ня бойсь! — озорно коверкая слова и продолжая приплясывать, отвечает тот.

Мы сворачиваем и, минуя заваленные снегом газоны, быстро идем по проезжей части проспекта. Димка поглядывает на часы, и я тоже смотрю. Затем одновременно, как по команде, оглядываемся: как назло такси не видно. Если мы не поймем машину еще минут десять, то на троллейбусе Севке уже не успеть вовремя вернуться домой — Роза не терпит никаких опо-

зданий, и если Севка не появится до двенадцати, она взгреет его по первое число, – и нам придётся заехать к Севке, чтобы хоть частично принять удар на себя.

На душе у Севки от одного лишь предчувствия, должно быть, кошки скребут, но он и виду не подает. Он резво идет шагах в пятнадцать впереди нас и громко распевает только что слышанную песенку, несколько изменив, чтобы потрафить Димке, слова:

Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда светит солнце,
Пусть всегда будет Люся,
Пусть всегда будем мы!

Январь–февраль 1963 г.

АКАДЕМИК ЧЕЛЫШЕВ

Академик Василий Иванович Челышев умер скоропостижно в пятницу, незадолго до полуночи, и первые некрологи появились только в субботу вечером.

Кончина Челышева, еще сравнительно нестарого, крепкого, полного сил и удивительного динамизма, была неожиданностью для всех. Младшего же редактора Зуйкова, видевшего академика в последний вечер его жизни, смерть Челышева буквально ошеломила.

Узнал о ней Зуйков лишь в понедельник, придя на работу, — оба дня после пятницы он занимался дома хозяйственными делами.

В субботу, взяв отгул, оклеивал обоями комнатенку, которую по необходимости он с женой снимал в глухом замоскворецком переулочке; возился он с ремонтом допоздна и в воскресенье. У жены только что начался декретный отпуск, и, жалея ее, он старался все сделать сам, силясь создать наибольший уют, какой был возможен в этом ветхом деревянном домике с «удобствами» во дворе. Работая, он то и дело принимался рассказывать жене о своем визите к Челышеву, обо всем, что он там видел и слышал, как его усадили за стол и чем угощали, и вспоминал, как Василий Иванович, узнав, что они ждут ребенка, улыбаясь своей доброй улыбкой, весело советовал:

— Главное, чтобы она ела морковку и побольше двигалась!..

И в пятницу вечером, уже в постели, и в субботу, и в воскресенье Зуйков влюбленно думал о Челышеве — еще никто и никогда не производил на него столь хорошего и сильного впечатления.

А в понедельник утром, поднимаясь по лестнице в издательство, он увидел на площадке поспешно оформленный стенд с некрологом и фотопортретом Василия Ивановича, окаймленным черной траурной рамкой, и, не веря своим глазам, в растерянности остановился.

Четверть часа спустя вернувшийся от директора заведующий редакцией — молодой, но с залысынами, полный и солидный — устроил коротенькую летучку.

— В тринадцать часов — гражданская панихида, — выждав, пока все усядутся, медленно и тихо сказал он. — Прошу всех: к одиннадцати быть у гроба... Начальство вызывают на совещание в райком, и я туда должен пойти. Так что приедем к началу панихиды... Убедительная просьба, — он обвел сотрудников печальными темно-серыми глазами, — активно участвовать в похоронах... почетный караул и что еще потребуется... Павлу Сергеевичу, — он посмотрел на Зуйкова, — отдельное поручение: получить и привезти венок...

И, помолчав, в скорбной задумчивости произнес:

— Настоящий... с большой буквы был человек!.. И, безусловно, голова номер один...

Минуты через две, когда люди уже расходились, он подозвал Зуйкова и объяснил, что венок надо заказывать за день, но завхоз все устроит буквально за час и что директор распорядился выделить для этой цели семьдесят рублей.

Затем взял лист чистой бумаги и после некоторого размышления крупным буквами разборчиво вывел: «Академику Василию Ивановичу Челышеву от сотрудников экономического издательства».

Подумав, зачеркнул «от сотрудников» и написал «от коллектива».

Не теряя времени Зуйков спустился к завхозу. Тот был в курсе дела. Вздвигая на широкий пористый нос старенькие очки, он молча ознакомился с текстом надписи на ленту, раскрыл алфавитную книжку с адресами и телефонами и, не сказав ни слова, позвонил в цветочный магазин.

— Иван Семенович?.. Приветствую на боевом посту! Никишин говорит... Нет, не театр, а издательство... Иван Семенович, выручай, дорогой, — веночек требуется. Срочно и на высшем уровне!.. Точно — Челышеву. Да-а, большой был человек, — печально и значительно вздохнул он. — Выдающееся, можно сказать, светило... На семьдесят рубликов — посолиднее... Бумаги? А что, уже кончилась? Что за разговор — обеспечу!.. Я пришлю за венком редактора, он и привезет... Надпись... Минутку...

Он придвинул к себе принесенный Зуйковым листок и внятно, отдельно выговаривая каждое слово, продиктовал:

— Академику... Василию... Ивановичу... Челышеву... от коллектива... экономического... издательства...

И после небольшой паузы оживился:

— К двенадцати сделаете? Спасибо тебе большое! Приветствую на боевом посту...

Он положил трубку и, выйдя из-за стола и подтягивая просторные поношенные брюки, не глядя на Зуйкова, как бы рассуждая вслух, с оттенком озабоченности проговорил:

— Вот уйду на пенсию, что делать-то будете, а?.. Вы ведь не то что академика, вы и уборщицу по-человечьи не похороните...

Не торопясь, достал со шкафа увесистую пачку, обвязанную шпагатом, сдул с нее пыль, заметив надпись карандашом «Пож. охрана», тщательно стер ластиком и, передавая Зуйкову, сказал:

— Отвезешь Ивану Семеновичу... Главбух вернется после одиннадцати, скоренько оформи деньги и дуй!

Когда Зуйков, записав адрес цветочного магазина и взяв пачку, был уже в дверях, старик, тоскливо уставясь в окно, вполголоса промолвил:

— Вот уйду на пенсию...

И умолк, опечаленный.

Зуйков поднялся к себе в редакцию, сел и вынул бумаги, но работать не мог. С острым горестным чувством личной утраты он вспоминал академика Челышева и думал только о нем...

* * *

В ту памятную пятницу Зуйков приехал к Челышеву в конце рабочего дня.

Разумеется, верстку можно было отправить и с курьершей, но Зуйков с удовольствием повез ее сам. Ранее ему уже дважды довелось встречаться с Василием Ивановичем, и об этих весьма коротких контактах он хранил самые хорошие воспоминания.

Жил Зуйков в столице всего около года. Женился на москвичке, она не захотела уезжать в провинцию, и с некоторой грустью, впрочем, без особых сожалений оставив родной Тамбов, он переехал в Москву.

Отца, погибшего на фронте, Зуйков почти не помнил и знал в основном со слов матери. Из ее рассказов отец представлялся незаурядным: мужественным, сильным и необыкновенно благородным. Бухгалтер по образованию, он работал до войны

экономистом в гортопе, и, Зуйков, стремившийся с детства во всем походить на него, кончая школу, решил унаследовать его профессию.

Однако к моменту получения диплома Зуйков уже понимал, что отец был обыкновенным конторским служащим, человеком, как говорится, без полета. Из всех достоинств, нарисованных матерью, он отличался, наверное, главным образом честностью и скромностью, качествами, безусловно, похвальными, но сын мечтал идти в ногу с веком — ему хотелось больших значительных свершений.

Павлик Зуйков был из тех, кому в молодости для примера обязательно нужен зримый конкретный идеал, но отец служить этой цели уже не мог; при всем уважении к нему, вернее, к его памяти, он представлялся теперь выросшему сыну несколько старомодным, неприметным и простоватым.

За год работы в экономическом издательстве Зуйкову приходилось встречаться со многими примечательными людьми, известными профессорами и академиками, причем озабоченный мыслью «делать бы жизнь с кого?» он с неослабным интересом присматривался к ним. И вскоре без колебаний выбрал для себя Челышева.

Из биографической справки в Большой Советской Энциклопедии и юбилейной статьи, опубликованной к шестидесятилетию академика в журнале «Вопросы экономики», Зуйков узнал, что Василий Иванович подростком батрачил, затем — семнадцати лет от роду — участвовал в Гражданской войне и за боевые заслуги, исключительное мужество и героизм одним из первых был награжден орденом Красного Знамени и почетным революционным оружием. Потом учился, работал, преподавал. В Отечественную, в самом начале, вступил добровольно в ополчение — рядовым; был тяжело ранен, после выздоровления снова работал и преподавал; все время рос, продвигался и, как писал автор статьи, «прошел славный путь от батрака до выдающегося ученого, ведущего экономиста страны».

О людях подобной судьбы Зуйков не раз читал, но то были книжные розовые герои, до того добропорядочные и праведные, что выглядели они обычно приукрашенно и неубедительно. А Василий Иванович был живой полнокровный человек, с первой же встречи поражающий своей эрудицией, обаянием, энергией и доброжелательностью.

Понятно, повторить полностью жизнь Челышева Зуйков при всем желании не смог бы, но взять его за образец и попытаться воспитать в себе большинство его качеств, безусловно, следовало. В этой мысли Зуйков утвердился еще несколько месяцев назад, и с тех пор он старался не пропускать публичных выступлений академика, знакомился постепенно с его многочисленными печатными трудами и, увлеченный Василием Ивановичем, был счастлив каждой, увы, весьма редкой возможности личного общения с ним.

В пятницу в доме Челышевых царило радостное возбуждение — Зуйков ощутил это, едва переступив порог.

Как затем оказалось, незадолго до его прихода позвонили из Женевы, где со своим мужем-дипломатом находилась дочь академика, и сообщили о рождении внука. Со слов жены Челышева и ее сестры, из телефонных разговоров Зуйков понял, что дочка была слабой, болезненной и врачи считали необходимым прервать беременность еще в начале, поскольку не надеялись на благополучный исход — в лучшем случае предсказывали выкидыш.

Но она не согласилась. Недели две назад ее поместили в наилучшую клинику, к знаменитому профессору Шнейдемюллеру, и вот сегодня в полдень, под его личным наблюдением, вопреки всем предсказаниям она родила полноценного здорового мальчика, причем и сама чувствовала себя вполне сносно.

Дочь эта была младшей и единственной оставшейся в живых: старшая в семнадцать лет ушла добровольно на фронт и погибла где-то под Харьковом (ее большая фотография в пилотке и гимнастерке с двумя медалями висела над столом в кабинете Василия Ивановича), а средняя умерла шести месяцев от роду.

Естественно, после такой новости из Женевы Челышевы были на седьмом небе от счастья и спешили поделиться радостью с близкими им людьми.

Открыла Зуйкову жена академика Ксения Николаевна, милая и улыбочивая, весьма для своих лет стройная, но совсем седая. Сам Василий Иванович без пиджака, высокий, подтянуто-моложавый, склонясь в гостиной над телефоном, набирал номер. Выпрямясь и увидев в дверях Зуйкова, он сделал приветственный жест и тут же закричал в трубку:

— Добрый день, дорогой!.. Хотя ты и вице-президент Академии наук, а ничего ты не знаешь!.. Как — что случилось?.. У меня внук родился! Внук, понимаешь, мальчик!.. Богатырь! Вес — четыре килограмма шестьдесят грамм, рост — пятьдесят два сантиметра...

Положив трубку, он юношески упругим шагом подошел к Зуйкову, поздоровался, энергически пожав руку и со счастливой взволнованностью говоря:

— Раздевайтесь, Павлик, — будем обедать... У нас событие: внук родился!.. Не отказывайтесь — бесполезно...

Его лицо так и светилось радостью и лаской; в тот час ему, наверно, хотелось обнять весь мир. Верстку своей книги он, и не посмотрев даже, сунул на полку стеллажа в передней и, очевидно, тотчас о ней забыл. Зуйкова тронули приветливость и гостеприимство Чельшева и то, что известный академик, видевший его всего два раза, запомнил его имя.

Из вежливости Зуйков отказывался, но хозяйева настояли и усадили его за накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью стол, сервированный как в самом дорогом ресторане; Зуйкову подумалось, что, наверное, здесь каждый день так по-праздничному обедают.

Напротив него поместилась старенькая домработница, прожившая в доме Чельшевых около сорока лет и нянчившая всех трех дочерей. На радостях она плакала, шмыгая крохотным носом, и не могла ничего поделать. Василий Иванович капал для нее в стакан валерьянку и, ласково усмехаясь, говорил:

— Ты, Манюня, совсем расклеилась... Нехорошо... Постеснялась бы Павлика... Ну... ну, будь молодцом...

Помог ей принять лекарство и, неожиданно нагнувшись, чмокнул ее в щеку, отчего она только пуще захлопала.

подавали за обедом и угощали Ксения Николаевна и ее сестра Ольга, молодящаяся, накрашенная женщина, — Зуйкову она почему-то сразу не понравилась.

Из холодильника принесли бутылку шампанского; Василий Иванович сам умело открыл ее, разлил вино в бокалы и заставил всех выпить за новорожденного.

— Смешно, конечно, Павлик, и нелепо, — немного погодя, закусывая, весело рассказывал он, — но всю жизнь я мечтал иметь сына. А рождались у нас дочки... Нет, нет, Ксюшенька, ты тут ни при чем! — он перегнулся к жене и поцеловал ей руку. — Просто я, извините, дамский плотник!

— Вася! — Ксения Николаевна, стараясь выказать строгость, с укоризной посмотрела на него. — Ты все же думай!

— Не желаю! — озорно заявил Чельшев. — Могу же я когда-нибудь и не думать? — шутливо осведомился он. — Имею я право в шестьдесят три года выпить и похулиганить?!

В середине обеда, перед тем как подали второе, он в задумчивости говорил:

— Пятьдесят два сантиметра — представляете... — он показал пальцами на краю стола. — Еще, наверно, никаких мыслей, а я уже озабочен и весь в вопросах... Каким он вырастет?.. Что за жизнь ему предстоит, этому единственному продолжателю рода Чельшевых?.. Останется ли он, например, на земле или переселится на другую планету?... — он с улыбкой взглянул на Зуйкова.

— Ну, знаешь, не дай Бог! — вступилась Ксения Николаевна.

— Все может быть... Заглянуть бы в самый конец века, увидеть бы его хоть на минуту взрослым и все узнать... Нет, конечно, не доживу, — вздохнул Василий Иванович и спустя мгновение внезапно оживился: — Ксюшенька, а Гоги-то мы не позвонили!

Он бросился к телефону, заказал через междугородную Тбилиси — срочно! — и немного погодя его соединили. Гоги — известный и Зуйкову Георгий Вахтангович Табидзе, выдающийся экономист, член-корреспондент и директор института, проводил Ученый совет, и секретарша, не узнав Чельшева, попросила позвонить попозже. Тогда Василий Иванович, озорничая, с невероятным грузинским акцентом сказал ей:

— Слушайте, дэвушка, какой может быть заседаний, когда тут такое событие?!.. Как, вы еще ничего не знаете? А радио у вас работает?.. Выключено?.. Бэсподобно!.. Скажите ему, Чельшев говорит... Здравствуйте...

И через несколько секунд закричал в трубку:

— Гамарджоба, геноцвале, гамарджоба, Гоги!.. Сидишь ты на заседании и ни хрена не знаешь!.. Как — что?! У меня внук родился!.. Понимаешь — мальчик!.. С пиписькой — и все как полагается! Вес — четыре килограмма шестьдесят грамм, рост — пятьдесят два сантиметра!.. Спасибо, Гоги!.. Ты лучше выпей, не теряя времени, за его здоровье!..

— Василий, ну успокойся же наконец! — строго сказала Ксения Николаевна и обратилась к Зуйкову: — Вы, Павлик, извините, но он просто ошалел...

После обеда пили крепкий душистый чай с тортом и домашним, из всевозможных ягод вареньем — гордостью хозяйки. Ксения Николаевна охотно и щедро накладывала его из высоких банок в розетки; Зуйков, не привычный к сладкому, ел в основном из вежливости, чтобы сделать ей приятное.

Потом Василий Иванович показал ему свою библиотеку; она размещалась от пола до потолка на десятках стеллажей в спе-

циально отведенной для этого комнате, а также в кабинете и в передней — Зуйков подумал и решил для себя, что когда-нибудь и у него будет такая библиотека.

Время от времени звонил телефон, и знакомые, узнав через третьих лиц о рождении у Чельшевых внука, поздравляли их и говорили всякие хорошие слова, а хозяйева, уже несколько усталые, благодарили.

— Поток приветствий, — смеялся Василий Иванович.

На прощание он выбрал для Зуйкова две редкие антикварные книги, причем не сказал, как это сделали бы другие: «Только не потеряйте» или «Обращайтесь с осторожностью», а любезно предложил:

— Заходите, Павлик, не стеснясь... Все это хозяйство, — он показал на стеллажи, — в вашем распоряжении...

Не замечая крепкого мороза, в приподнятом настроении шагал Зуйков с улицы Горького через Каменный мост к себе в Замоскворечье, с восхищением и нежностью думая о Василии Ивановиче и его жене.

И вот, оказывается, на исходе этого необычайно радостного для него вечера Василий Иванович, достав с полки том Рабиндраната Тагора, чтобы почитать перед сном, внезапно рухнул посреди кабинета — не выдержало сердце...

* * *

В начале двенадцатого, узнав, что главный бухгалтер только что вернулся из банка, Зуйков помчался к нему с заранее написанным заявлением: просьбой выдать семьдесят рублей на приобретение венка.

— Почему семьдесят?.. — взглянув на бумажку, осведомился главбух, не поднимая глаз и сосредоточенно трогая пальцами, как бы ощупывая, свою круглую лысую голову. — Почему семьдесят, а не сто или сто пятьдесят?

— Я не знаю... мне поручили...

— Как не знаете? Вы что же, «винтик»?.. — улыбнулся главбух, беря авторучку, и хитровато посмотрел на Зуйкова. — А директора то нет, подписать некому... Придется выдать наличными, — после короткой паузы с сожалением вздохнул он.

Затем начертал резолюцию в верхнем углу бумажки и, прикладывая пресс-папье, проговорил:

— Пятьдесят рублей и ни копейки больше.

— То есть как пятьдесят?! — запротестовал Зуйков. — Академик Чельшев выдающийся ученый. И директор распорядился — семьдесят!

— Вот пусть он и добавляет, — невозмутимо заметил главбух, возвращая листок с резолюцией Зуйкову и пояснил: — Из своего кармана... Если Чельшев такой выдающийся и так нам дорог, надо дополнительно устроить складчину. А государство не дойная корова. И быть щедрым за его счет, извините, не могу!..

Зуйков знал понаслышке, что спорить с этим человеком насчет денег совершенно бесполезно: главный бухгалтер славился своей финансовой строгостью и непреклонностью.

Если бы речь шла о венке для кого-нибудь другого, то Зуйков, по характеру покладистый и послушный, наверно, не стал бы переживать и промолчал; но подобное скарредное отношение к памяти Василия Ивановича Чельшева обидело его и возмутило.

Он бросился к директору, однако все издательское начальство находилось еще на совещании в райкоме, откуда должно было проехать прямо на панихиду. Секретарь же, выслушав Зуйкова и, очевидно, желая его успокоить, мягко посоветовала:

— Вы зря горячитесь... Это вопрос чисто финансовый, не принципиальный, и спорить с главным бухгалтером директор не станет. Так что не теряйте время...

И только в троллейбусе, подъезжая к цветочному магазину, Зуйков сообразил: «Ах, черт! Боже, какая же ерунда! Ведь венко-то заказан на семьдесят рублей!»

Вынув из кармана, он зачем-то пересчитал полученные в кассе деньги — десять пятирублевых бумажек, — словно их могло оказаться больше. Были у него с собой и свои, собственные, «продовольственные»: новенький хрусткий червонец и металлический рубль, предназначенные на питание семьи Зуйковых в ближайшие четыре дня.

«Ничего!.. Обойдется... Как-нибудь договорюсь...» — пытался подбодрить он себя, ощущая волнение и неловкость и ничуть однако не представляя, что теперь делать и как это все может уладиться.

Директор магазина Иван Семенович разговаривал по телефону, когда Зуйков, с тягостным чувством предстоящего объяснения, вошел к нему в кабинет, промолвил «Здравствуйте», и, сняв шапку, стал у дверей.

Как только Иван Семенович положил трубку, Зуйков вторично поздоровался и, подойдя, водрузил увесистую пачку бумаги на угол стола.

— Я из экономического издательства... — неуверенно промолвил он. — От товарища Никишина...

— Ваш заказ готов, — взяв пачку, Иван Семенович опустил ее на пол рядом со своим креслом и, выпрямясь, указал взглядом: — Пожалуйста.

Зуйков посмотрел: влево у стены стоял высокий и пышный венок из матерчатых и живых цветов, с верхушки по обеим сторонам спускалась белая шелковая лента с красивой золотистой надписью: «Академику Василию Ивановичу...» И при виде этого нарядного представительного венка Зуйкову стало совсем не по себе.

— Понимаете, — растерянно начал он, — нехорошо получилось... Недоразумение... Заказывали на семьдесят рублей, а мне выдали всего пятьдесят...

И как бы в подтверждение выложил издательские деньги на край стола.

Иван Семенович, словно не веря или не понимая, недоуменно посмотрел на тоненькую стопку пятирублевок, а затем — на Зуйкова.

— Не смешно! — наконец строго и почему-то с обидой проговорил он, и его румяные щеки покраснели. — Понимаете — не смешно!

Он поднялся из-за стола, задев при этом ногой пачку бумаги, сердито поглядел на нее и оскорбленно продолжал:

— Я вам не мальчик, понимаете!.. Челышева вся Москва хоронит. Только наш магазин шесть венков сделал! А вы... Стыдно!

— Это не я... Это главный бухгалтер... — растерянно бормотал Зуйков; ему сделалось жарко. — А директор на совещании...

— И еще просите «на высшем уровне»! — презрительно, впрочем, без злости, передразнил Иван Семенович. — Да вам ветку надо было заказывать! Понимаете, ветку! — с возмущением воскликнул он. — Которую на ноги в гроб кладут!.. А теперь что же с венком прикажете — потрошить?! Позор!.. Это неуважение к умершему, понимаете, кощунство!

— У меня есть свои... личные... но если надо, — не выдержал Зуйков, торкая руку во внутренний карман пиджака, и, вытащив одиннадцать рублей, положил их на стол рядом с пятьюдесятью издательскими.

И, живо представив себе неизбежное объяснение с женой, вдруг с внезапной надеждой подумал, что, может, директор магазина откажется, в то же время по инерции машинально говоря:

— Вот... возьмите...

— Рубль вы себе на такси оставьте, — строго, однако спокойнее, мягче сказал Иван Семенович, забирая и десять пятирублевок, и Зуйковский червонец. — Вы же венок не на себе потащите?.. Анна Петровна! — в голос позвал он, пересчитывая деньги.

Невысокая, в выцветшем синем халате женщина, пожилая и бледная, появилась в дверях.

— Анна Петровна, тут у товарищей неувязка с заказом... — вроде бы оправдываясь, сказал ей Иван Семенович. — Придется облегчить... На десять рублей...

— Химичат, химичат — сами не знают, чего хотят! — проворчала Анна Петровна, вперевалку подходя к венку, и, став сбоку, наготове обернула к директору недовольное усталое лицо. — Ну...

Иван Семенович, положив перед собой счета, откинулся на спинку кресла и, сощурия глаз, как бы прицеливаясь, оглядел венок.

— Значит, так... роза номер три... хэбэ, с бутонном... четыре штуки по тридцать три копейки... Верхние! — распорядился он и защелкал костяшками. — Один рубль тридцать две... Еще четыре... пониже... поролоновые, красные, по восемьдесят копеек...

Между тем Анна Петровна споро вытаскивала розы — хлопчатобумажные и поролоновые — и откладывала рядом на стул.

— Гладиолус, одна штука... рубль восемьдесят пять копеек... Нижний! — перебрасывая костяшки, продолжал директор. — Итого: шесть рублей тридцать семь... Теперь яблоневый цвет... хэбэ... Две ветки по двадцать семь...

Когда венок был «облегчен» до шестидесяти рублей, Анна Петровна все с тем же недовольно-сердитым лицом сразу ушла. Иван Семенович окинул ее работу пытливым взглядом, подойдя, поправил в нескольких местах цветы, отступив назад, посмотрел и с удовлетворением, убежденно сказал:

— Чин чином... Комар носа не подточит...

Через несколько минут Зуйков с чувством некоторого успокоения, что все так уладилось, и, стараясь не думать о своем утраченном червонце, предстоящем объяснении и необходимости сегодня же занять деньги, вез злополучный венок в такси, придерживая его рукой, и вежливо поторавливал шофера, хотя до начала панихиды оставалось еще более получаса.

Как только машина остановилась у старинного с колоннами здания, из массивных дверей выскочил заведующий редакцией — без пальто и без шапки, — сбежал по ступенькам, с помощью Зуйкова осторожно вынул венок и оглядел его.

— Вполне! — одобрил он. — И как раз вовремя.

В величественном вестибюле, облицованном мрамором, царила особая похоронная атмосфера, отличная от происходящего вне этого помещения, от столичного шума и оживления.

Двое мужчин в черном, молчаливые, с горестно-суровыми лицами и траурными нарукавными повязками, дежурили у самых дверей; дальше по обеим сторонам, вдоль гардеробных прилавков, теснились небольшими группами десятки людей, медленно разрозненно продвигались, тихонько невесело здоровались и чуть ли не шепотом переговаривались. Некоторые раздевались, другие, сняв шапки, проходили прямо в пальто или шубе. Откуда-то сверху приглушенно доносились печальные звуки скрипки: каждым, кто вступал сюда, сразу же овладевало чувство скорби и непоправимости произошедшего.

Директор издательства и главный редактор в темных строгих костюмах, вполголоса разговаривая, ожидали в стороне под золоченым многорожковым бра, затянутым черной кисеей.

Оглядывая поднесенный венок, они расправили ленту с надписью, причем директор, поморщась, покачал головой, и, заметив его недовольство, Зуйков уже собирался пояснить, что венок-то «облегченный» и стоит не семьдесят рублей, а меньше, когда тот огорченно и с оттенком раздражения сказал:

— Ну, неужели трудно было добавить «дорогому»? Или — «незабвенному»? Как у других!

— Да-а, тепла маловато... — помедлив, согласился главный редактор; по привычке брезгливо поджал губы и посмотрел на заведующего редакцией: мол, недоработка; что же вы не сообразили?..

Заведующий редакцией, хотя он сам, а не кто-нибудь другой составлял текст надписи, в свою очередь почему-то обиженно и с укоризной посмотрел на Зуйкова; тому оставалось только покраснеть и потупиться.

Затем директор и главный редактор взяли венок и медленно, чинно ступая по упругой ковровой дорожке, понесли его на второй этаж, где в конференц-зале был установлен гроб с телом покойного и где, будто сдерживая рыдания, печально плакали скрипки...

Миниатюры и короткие рассказы

МИНИАТЮРЫ

А, МОЖЕТ, ЭТО И НЕ ВЫ...

Пожилая полная гардеробщица в глазном институте говорит мне:

— А помните, как вы в первый раз к нам пришли, выпивши крепенько. Шумели еще тогда — Евдокия Георгиевна вас записывать не хотела, так вы ругались, грозили всем... Завхоза еще нашего за грудки взяли.

Я смотрю на нее удивленно.

— Конечно, вам теперь неудобно, — понимающе говорит она. — Человек вы культурный, и такое дело вспоминать не хочется...

Лицо мое выражает крайнее изумление.

— А может быть, это и не вы, — вдруг говорит она, просто-душно улыбаясь.

Вообще, меня частенько за кого-нибудь принимают, чаще всего обвиняя в неблагоприятных поступках.

1958 г.

ПИВО

В жаркий июльский полдень захожу в магазинчик «Соки — воды». И прошу:

— Попить чего-нибудь, холодненького...

— Похолоднее? — переспрашивает продавщица, зачем-то заглядывая под прилавок. — Пивка разве.

Она открывает бутылку и, налив стакан, я пью. Пива я не любитель, а это оказывается кисловатым и к тому же вовсе не холодным. И я чувствую, что бутылку мне не осилить.

Оглядываюсь. Шагах в трех от меня пьет газированную воду здоровенный, мрачного вида мужчина. Как только он ставит стакан на прилавок, я протягиваю руку с бутылкой:

— Разрешите?

И, не дожидаясь согласия, наливаю пиво ему в стакан.

— Ну, зачем же, а? — гудит он, глядя на меня в недоумении. И, помедлив, с видимой неохотой, быть может лишь из вежливости, берет стакан.

— Все, все должны допить! — поставив перед ним бутылку с остатками пива, заявляю я и отправляюсь домой.

И только в квартире меня вдруг осеняет: «А за пиво-то я не уплатил!» Взволнованный, поспешно возвращаюсь в магазин.

— Я забыл... Извините, пожалуйста...

— Ничего, ничего, — успокаивает меня продавщица, — ваш товарищ за все уплатил. Он, правда, был недоволен, пиво, что ли, ему не понравилось. Но ведь вы пили и не жаловались...

1958₂

ИСТИННАЯ ВЕРА

Две зимы подряд я жил в Звенигороде, вернее, под Звенигородом. Там была церквушка и священник жил в соседней избе: смуглый, темноволосый, очень похожий на Иисуса Христа, лет 35. Имел семью: жену и двух детишек.

Денег за обряды с прихожан не брал. Сапожничал и жил этим, причем не запрашивал, а кто сколько даст. Жена, всегда недовольная, ругалась из-за этого.

Был этот поп из псаломщиков, семинарии не кончил. И был верующий по-настоящему, народ его любил.

А вот священнослужитель, толстый, важный, кто много учился и много знает — в душе не верит.

Вот и получается: чем меньше знаешь — тем спокойнее жить, и чище совесть, и больше веры.

Поп из псаломщиков, без образования — воистину верит, а эрудированный священнослужитель, знающий несколько языков, — патриарх обмана.

1958₂

ЖИТЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Под Звенигородом я жил у хозяев на квартире. Ему было лет 30, ей — лет 27, хохлушка, звали, кажется, Настей. Работящая, везде успевала: и работать много; и отдохнуть, и попеть, и поплясать. Причем гулять ходила одна, без мужа, а он спал и был вполне спокоен. Говорил: «Свое, что мне надо, я получаю, а ежли лишек есть — это ее дело. Не мыло — не измылится, души она своей там не оставит».

Мудрая философия: ревность — собственничество, чувство рабовладельца.

1958 г.

НЕ ЗАЩИТИЛА

В Асташкинской электричке мужчина, лет 50, рассказывает, что неделю тому назад в этом поезде поймали трех грабителей, из местных. Они отнимали деньги у пассажиров, снимали часы и украшения, а одного, инженера, оказавшего им сопротивление, — убили.

Собака взяла след и от трупа привела милиционеров на квартиру — ворованные часы и грабленные украшения хранились за иконой.

Сидевшая рядом старушка внимательно слушала, затем перекрестилась и вполголоса произнесла:

— Господи, какой грех! Вот они как есть безбожники — даже икона не защитила.

1958 г.

САМ ПИСАЛ!

Уличный лоточник продает книги, зазывая покупателей.

— Не проходите мимо! Читайте! Изучайте! Покупайте! В продажу поступила брошюра «Что дала Советская власть народу?». Цена — пятнадцать копеек! Шедевр полиграфии! Обложка — белакрон! Бумага — номер один!

Выдержав паузу и подняв для убедительности указательный палец, со значением в голосе добавлял:

— Р-рекомендую! Сам писал! (имея в виду автора).

1958 г.

СОСЕД ПО ПАЛАТЕ

— К вашему сведению, папиросами я недавно торгую, а до этого двадцать три года в органах прослужил, честно и безупречно! Двадцать три года с врагами боролся, и, заметьте, — в самые трудные времена. Должность небольшую, конечно, занимал, но ответственность огромная... вот, поседел даже... Я ведь не только нашего брата Савку, я ведь и начальство тоже оформлял — профессоров там всяких, да и генералов... Я хоть и не теоретик, но политику насквозь понимаю и на практике все могу... А когда эта бериевщина обнаружилась, меня и попросили. Двадцать три года, честно и безупречно, и вот, пожалуйста, — отблагодарили!.. Под самый корень подсекли, а позвольте узнать: за что?! Говорят, по непригодности, а я и спрашиваю: как же двадцать три года был пригоден?.. Говорят, по недостаточной грамотности, мол, кругозор маловат, а я и спрашиваю: как же двадцать три года был достаточным?.. Тогда мне и заявляют: приказ министра! А я им и говорю: а если бы министр приказал меня расстрелять, вы бы расстреляли?.. Вот то-то и оно! И не потому, что пожалели бы, не-ет!.. Просто это было бы нарушение соц-законности, а теперь за это кре-е-пенько бьют!..

1963 г.

КРУГОМ ЛЮДИ

Она дремлет в электричке, лежа на лавке и подложив руку под голову. Одета бедно, в порыжелое кургузое пальтишко и теплые не по сезону коты; на голове — серый обтерханный платок.

Неожиданно подхватывается: «Это еще не Рамень?» — садится и, увидев, что за окном — дождь, огорченно, с сердитой озабоченностью восклицает:

— Вот враг!.. Ну, надо же!

— Грибной дождик — чем он вам помешал?

Она смотрит недоуменно и, сообразив, что перед ней — горожане, поясняет:

— Для хлебов он теперь не нужен. Совсем не нужен, — и с мягкой укоризной, весело добавляет: — Чай, хлебом кормимся-то, а не грибами!..

Невысокая, загорелая, морщинистая. Старенькая-старенькая — лет восьмидесяти, но еще довольно живая. И руки закорузлые, крепкие. Во рту спереди торчат два желтых зуба, тонкие и длинные.

Поправляет платок и, приветливо улыбаясь, охотно разговаривает и рассказывает о себе.

Сама из-под Иркутска. Сын погиб, а дочь умерла и родных — никого. Ездил в Москву насчет «пенсии», причем, как выясняется, и туда и обратно — без билета.

И ни багажа, ни хотя бы крохотного узелка...

— Как же так, без билета? И не посадили?.. — удивляются вокруг. — А контроль?.. Контроль-то был?

— Два раза приходил. А что контроль?.. — слабо улыбается она. — Контроль тоже ведь люди. Кругом люди!.. — убежденно и радостно сообщает она и, словно оправдываясь, добавляет: — Я ведь не так, я по делу...

В этом ее «Кругом люди!» столько веры в человека и оптимизма, что всем становится как-то лучше, светлее...

Проехать без билета и без денег половину России, более пяти тысяч километров, и точно так же возвращаться — уму непостижимо! Но ей верят. Есть в ней что-то очень хорошее, душевное, мудрое; лицо, глаза и улыбка так и светятся приветливостью, и столь чистосердечна — вся наружу, — ей просто нельзя не верить.

Кто-то из пассажиров угостил ее пирожком, она взяла, с достоинством поблагодарив, и охотно сосет и жамкает, легонько жамкает своими двумя зубами.

Меж тем за окном после дождя проглянуло солнышко и сверкает ослепительно миллионами росинок на траве, на листьях и на крышах.

И, оставив пирожок, она, радостная, сияющая, щуря блестящие старческие глаза, смотрит как замороженная в окно и восторженно произносит:

— Батюшки, красота-то какая!.. Нет, вы поглядите...

УЧАСТКОВЫЙ

— Утром я обход делаю, чтобы начальству доложить, что на участке — порядок. А тут дворник бежит. «Иди, — кричит, — Стратоныч, скорее в барак — нарушение!» Бегу во весь дух, а чего бежать — они уж холодные. Вот он шерлак-то, невежество наше! С одной поллитрухи все трое окочурились!.. А ведь какие мастера были!.. Краснодеревщики! Цены нет!.. И закуска у них почти вся не тронута, так на столе и стоит! И колбаска осталась, и студень, и селедочка!.. Ну, разве ж не обидно?!

1963 г.

СОСЕД ПО КВАРТИРЕ

Лет семь назад пришел и важно, как бы оглашая секретную директиву, с оттенком доверительной конфиденциальности сообщил:

— Имеется указание, что дружбы между Лениным и Сталиным не было!

Побаиваются его не только в квартире, но и во всем квартале: он член каких-то комиссий, вхож к районным начальникам, ретив до ожесточения и жизнь проводит в борьбе.

— Это враки, что всех подобрали, — уверяет он. — Сколько еще по щелям попряталось!..

Не любит и презирает все человечество, инородцев же откровенно ненавидит. В обоснование чаще всего рассказывает, как тотчас после войны, будучи капитаном, замполитом в Германии, завтракал на веранде великолепной «буржуйской» виллы в пригороде Берлина и вдруг увидел в саду залезшего туда и присевшего по нужде под кустом солдата-нацмена. И, не без удовольствия вспомнив, в каком богатстве он тогда жил и что в то утро ел, вдруг, меняясь в лице, возмущенно и зло восклицает:

— Я, извините за выражение, кушаю, а он — ср...т!

1963 г.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

— А винцо-то дрянь, сама слабость. До души не дошло, не-е!.. Счастье бабье, девоньки, оно короче воробьиного носа, а страдания длинные-длинные... Каторжные!.. И ты, девка, мне не прекословь, со мною не спорь. Я ведь седьмой десяток распечатала — любой из вас в бабки гожусь! Чем спорить и перечить, слушали бы хорошенько, да на ус мотали — ума набирались!.. Я вам, как родным детям, скажу: мужик — он по природе — что?.. Скот! Пока добивается — человеком прикидывается, а как свое получил — скот! И сколь его ни ублажай, он скотом и останется. Я их на своем веку столько перевидала — и все одинаковы: кашку слопал — ложку об пол! А бабы — дуры доверчивые, через дуристость свою и маются... Любовь ведь только в книжках, да еще в кино бывает. Вот она, к примеру, — ждет и сохнет, а, думаете, он придет?.. Спешит и падает, аж шея мокрая!.. Он теперь другую дуреху охаживает. Уж это как пить дать!..

— Нет, так нельзя. Не могу! Понимаете — невозможно!.. Ну, как жить без веры в людей, без любви и доверия?! Как?! Для чего?!

— Эх, и дура же ты, девка, прости меня грешную... Как есть дура необразованная, несмышленная, малолетняя. Тебя еще не клевал жареный петух! Тебя еще не снасиловали и не убивали — вот ты и вякаешь!..

1967 г.

НЕПОДКУПНАЯ

В травматологическом отделении в большой палате на десять человек лежала некто Хлынова, еще крепкая, лет семидесяти старуха с большими блекло-голубыми глазами, когда-то, очевидно, необыкновенно красивая.

Родственников у нее не было, но навещал ее шофер, тот самый, что месяц тому назад сбил на дороге.

Немолодой, рыжеватый мужчина, с утиным носом на пухлом лице, он, войдя, чинно здоровался со всеми. Присев на краешек стула подле Хлыновой, с озабоченным видом справлялся о ее здоровье и, улучив момент, вполшепота предлагал деньги, чтобы «верно показывала на следствии».

— Совесть мою покупаешь? — сильным голосом ругалась Хлынова. — Позорник, бесстыжие твои глаза. Водки бы меньше жрал! Уйди от греха! Алкоглотик — бутылочная твоя душа!.. Уйди!..

Шофер пятился к двери и дня на три исчезал; затем все повторялось снова.

Принесенные им яблоки Хлынова демонстративно отбрасывала, но, когда он уходил, съедала с громким хрустом, не оставляя и огрызка, а с ними — и свою неподкупность.

1967 г.

НАДДАЙ!

На Волге, еще перед войной, я нанялся в артель разгружать арбузы.

Артель была пятнадцать человек, люди бывалые, разные и в большинстве своем далекие от совершенства. Анкетные данные, родители и родственники никого не интересовали, никто не лез в душу к ближнему. Человека оценивали по труду, поведению и отношению к товарищам: ленивого выгоняли, выпивох обуздывали, матерщинников — тоже.

Был старшой — пожилой, молчаливый, с бычьей шеей и здоровенными плечами мрачного вида ростовчанин — его слово для всех было законом.

Меня он только спросил: «Чем занимаешься? Откуда приехал и к кому?»

Затем критически оглядел мою худощавую фигуру и вымолвил:

— Степиных знаю...

— Если выдюжишь — становись...

И вот маленький юркий буксир подтягивает баржу к причалу. В каждый трюм спускаются двое — они выкидывают арбузы; третий, стоя на берегу, только успевает поворачиваться: с непостижимой ловкостью и быстротой ловит, проворно пускает их на лоток — желоб из длинных досок. Арбузы гладкие, упругие, блестящие, еще полные прохлады трюма, катятся вниз; на берегу их подхватывают, перебрасывают дальше соседям, а уж те укладывают в штабеля, битые и с трещинкой — отдельно.

Делается все это размеренными и, как кажется со стороны, играючи — неторопливыми движениями, но редкий новичок выдерживает в таком темпе несколько часов работы.

Изредка — короткий перекур, затем меняются местами, и снова из рук в руки летят арбузы — свежие, только с бахчи, спелые, звонкие, тугие; ловятся с звучным шлепом и перебрасываются дальше. А старшой все покрикивает: «Наддай!.. Еще!..» Думать о чем-либо некогда — не зевай! Успевай поворачиваться!

Арбузы разные: от небольших, довольно легких, до огромных, весом в десять килограммов и более; и к каждому надо приложить ровно такое усилие, какое ему положено, и ни граммом больше.

Первые дни, пока это не усвоил, не втянулся — трудно было.

Тяжелая, утомительная работа, но дружная и денежная.

А как радостно, когда на берегу растут горы арбузов — темно-зеленых, белых, полосатых, рябых — и среди них тысячи твоими руками переброшенных.

В полдень артель шабашила — в самые пеклые часы работать становилось невозможно. Расправляя затекшие члены, разбредались кто куда, — каждый отдыхал по-своему.

Я уходил в сторону, сбросив трусы и майку, с разбегу с головой заныривал в Волгу. Поплавав, подолгу лежал в теплой воде у берега, отмокая от пота и соли, а глупые мальки беспомощно тыкались в мои ноги — не так ли и я был беспомощен в своих устремлениях?..

Не чувствовать натруженное, разгоряченное, свинцовой тяжестью налитое тело — до чего приятно!

Затем валялся на песке, прикрыв ладонью глаза от солнца.

В ясно-голубом без облачка небе высоко-высоко шел самолет: тонкокрылый, с длинным фюзеляжем, он напоминал те модели, что я мастерил в детстве. Каждый день в половине второго он пролетал на восток, унося и мои несбыточные мечты об авиации и конструировании.

А с проходящих теплоходов, белых и нарядных, доносились веселые голоса, пение, звуки аккордеона. Пели о счастливой, чудесной, прекрасной жизни, о том, как вольно дышит человек, как безмерно он счастлив...

Неужто все так и захлебываются от счастья?

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

СЛУЧАЙ В ГОСПИТАЛЕ

В Центральном военном госпитале имени Мандрыки в Серебряном переулке находился на лечении отставной генерал-лейтенант, некто Орлов — небольшой, полный человек с пухлыми румяными щеками и солидным брюшком.

В терапевтическом отделении госпиталя нас было человек сорок, и Орлов был для всех нас авторитетом. Даже Ишутин, Герой Советского Союза, полковник, имевший более двадцати ранений и прежде времени ушедший в отставку и откровенно презиравший всех штабников и интендантов, уважал его.

Между тем Орлов был вовсе не боевой генерал, а работник военной юстиции. В свое время он якобы занимал весьма ответственные посты в органах армейской прокуратуры, года же с пятьдесят третьего ушел в отставку в чине генерала юстиции.

Невысокого роста пухлый блондин, он был корректен, мягок и добродушен, и трудно было представить его в должности прокурора, поверить, что такой человек мог быть обвинителем, ему больше подходило быть адвокатом.

Орлов был очень внимателен к людям, охотно давал советы, и все мы почитали его.

Он часто беседовал с нами, спокойным, неторопливым голосом рассказывая различные истории из судейской и трибунальской практики. Рассказывал об имевших место в свое время случаях нарушения революционной законности, и мы — в основном старшие офицеры, среди которых было немало отставников, в том числе и реабилитированных, — как никогда проникались уважением к Закону.

Сложная, мудрая, величественная и не во всем понятная штука эта — Закон.

В этот же госпиталь поступил отставной генерал-лейтенант Лисовский, худощавый, совсем седой старик с выправкой,

в прошлом начальник штаба Сибирского военного округа, просидевший восемнадцать лет.

Ходячие больные обедали в столовой.

Как-то в воскресенье Орлов, пообедав, довольный и красный, сидел за столом, рассказывая соседям о случае судебной несправедливости в нарсуде его района, когда судья не желал разводить двоих.

В столовую меж тем вошел Лисовский, сопровождаемый полной старушкой-няней, и нерешительно осматривался.

Он уселся на свободном месте и в ожидании, когда ему подадут обед, оглядел зал; увидел Орлова и впился в него взглядом.

Не замечая еду, что поставили ему на стол, он вдруг поднялся и решительно шагнул к столику, за которым сидел Орлов.

Он подошел совсем близко и, склонив голову, хриплым голосом, но сдерживаясь, спросил:

— Простите, ваша фамилия не Орлов?

— Орлов. А что такое?

— Вы в прокуратуре не служили?

— Работал, — Орлов обрадованно улыбнулся. — Но вас я будто не узнаю.

— Не узнаете? Я Лисовский. Комкор Лисовский! — вдруг хриплым, срывающимся голосом, побагровев, вскричал старик, и все в зале обернулись на его крик. — В тридцать седьмом году, когда судили меня и моих товарищей, высших командиров Красной Армии, вы выступали как обвинитель. Их расстреляли, а я отсидел восемнадцать лет, хотя мы ни в чем не были виновны!

— Вы должны понять... Были указания свыше, — бормотал Орлов.

— У вас руки в крови! Я это так не оставлю! Я напишу в ЦК!

Спустя четверть часа весь госпиталь гудел, как растревоженный улей.

— Вот гнида! — возмущался Иштугин, сдерживая тик лица, изуродованного двумя рваными шрамами. — Да разве ж подумаешь...

Орлову был объявлен бойкот.

Начальник госпиталя срочно направил его в санаторий «Архангельское».

В санаторий мы прибыли втроем: я, подполковник и Орлов. Ишутин не поехал. Мы ехали в «Победе». Орлов сидел впереди, рядом с шофером, опустив голову, и дремал или же делал вид, что дремлет. И мы с подполковником тоже молчали.

В санатории нас разместили в одном корпусе, но на разных этажах: Орлова внизу, в отдельную комнату, как он просил, а нас — на втором.

На другой день мы встречались с ним не раз в столовой и на прогулке, но не здоровались, и он делал вид, что нас не знает, и держался от всех особняком.

...Он умер на вторую ночь нашего пребывания в санатории. Обнаружилось это только утром.

Дежурный врач, молодая интересная брюнетка, подошла к нам в вестибюле и сообщила: «Во сне умер».

— Да, неважно, — пробормотал подполковник. — Прямо надо сказать, неважно.

— Ему можно позавидовать, — утешила нас она. — Знаете, это самая спокойная смерть, как говорят, праведная.

Спокойная смерть... Дело не в том, что врачиха была молода и неопытна, — она просто ошибалась.

И в самом деле — в чужую душу не влезешь.

Просто чужая душа — потемки. Даже для докторов.

1963 г.

ПРЕЗРЕНИЕ

В Совинформбюро работал зав. особой частью, некто Дубинин, в прошлом работник органов, невысокий, толстый, лысый.

В партийную организацию Совинформбюро поступило письмо из Прокуратуры СССР. В нем сообщалось, что «Дубинин в 1937 г., будучи начальником райотдела НКВД, фальсифицировал следственные дела, применял недозволенные методы следствия, вымогая показания. Так, им были получены показания, в частности, от трех граждан (фамилии указываются), которые были осуждены к высшей мере наказания и расстреляны. В настоящее время произведенной проверкой установлена невиновность всех троих и они посмертно реабилитированы».

Прокуратура СССР предлагает партийной организации «разобрать Дубинина в партийном порядке, после чего будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности».

При обсуждении дела на партсобрании Дубинин грохнулся на пол, дрожал, плакал, был жалок и ничтожен, все время повторял, что он ни в чем не виновен, заявлял, что должен был добиваться таких показаний потому, что так его тогда инструктировали, якобы это было «личное указание Сталина».

Дубинин был из партии исключен, но уголовной ответственности избежал и в Совинформбюро продолжает работать до сего дня, обжаловав решение об увольнении.

Постарел, поседел, стал мнителен, ходил, вжав голову в плечи, и озирался по сторонам, жаловался на сердце, страдал бессонницей: чтобы не разогнать сон, по утрам не умывался, опустился, стал неопрятен и еще более противен.

Время скоротечно: и вместо ненависти осталось одно презрение.

1963 г.

ВТОРОЙ СОРТ

Он приезжает с некоторым опозданием, когда гости уже в сборе и виновница торжества, его двоюродная племянница, то и дело поглядывает на часы.

Моложавый, с крупной серебристой головой и выразительным, энергичным лицом, он, войдя в комнату и радушно улыбаясь, здоровается общим полупоклоном, представительный, почтенный и привычный к вниманию окружающих.

Для хозяев он — дядя Сережа или просто Сережа, а для гостей — Сергей Васильевич, и все уже знают, что он писатель, человек известный и уважаемый.

И подарок привезен им особенный: чашка с блюдцем из сервиза, которым многие годы лично пользовался и незадолго до смерти передал ему сам Горький. Эту, можно сказать, музейную ценность сразу же устанавливают на верхней полке серванта за толстым стеклом, на видном, почетном месте.

Сажают Сергея Васильевича рядом с именинницей во главе стола и ухаживают, угощают наперебой; впрочем, он почти от

всего отказывается. Наверно, только из вежливости потыкал вилкой в горстку салата на своей тарелке да еще за вечер – с большими перерывами – выпивает рюмки три коньяку, закусывая лимончиком.

Он, должно быть, тяготится этой вынужденной ролью свадебного генерала, но виду не подает. Зная себе цену, держится с достоинством, однако, просто и мило: улыбается, охотно поддерживает разговор и даже пошучивает.

А на другом конце стола не сводит с него глаз будущий филолог, студент первого курса, застенчивый белобрысый паренек из глухой вологодской деревушки.

В Москве он лишь второй месяц и, охваченный жаждой познания, ненасытно вбирает столичные впечатления, способный без усталости целыми днями слушать и наблюдать. Попал он на именины случайно и, увидев впервые в своей жизни живого писателя, забыв о роскошном столе, о вине и закусках, забыв обо всем, ловит каждое его слово, и улыбку, и жест, смотрит с напряженным вниманием, восхищением и любовью.

По просьбе молодежи Сергей Васильевич негромко и неторопливо рассказывает о встречах с Горьким, о столь памятных сокровенных чаепитиях, под конец замечая с болью в голосе:

– Плох был уже тогда Алексей Максимович, совсем плох...

И печально глядит поверх голов на полку серванта, где покоится за стеклом горьковская чашка, и задумывается отрешенно, словно смотрит в те далекие, уже ставшие историей годы, вспоминает и воочию видит великого коллегу.

Окружающие сочувственно молчат, и в тишине совсем некстати, поперхнувшись от волнения, сдавленно кашляет будущий филолог.

Когда начинают танцевать, он после некоторых колебаний, поправив короткий поношенный пиджачок и порядком робея, подходит к Сергею Васильевичу и, достав новенький блокнот, окая сильнее обычного и чуть запинаясь, неуверенно просит автограф.

Вынув толстую с золотым пером ручку, тот привычно выводит свою фамилию – легко, разборчиво и красиво – на листке, где уже имеется редкий автограф: экзотическая, непонятно замысловатая роспись Тони, африканского царька, а ныне – студента-первогодка в университете Лумумбы.

Уезжает Сергей Васильевич раньше всех. Его, было, уговаривают остаться еще хоть немного, но он не может («Делу — время, потехе — час... Да и шоферу пора на отдых...»), и, услышав это с огорчением, более не настаивают. Прощаясь, он дружески треплет вологодского паренька по плечу, целует именинницу и ее мать, остальным же, устало улыбаясь, делает мягкий приветственный жест поднятой вверх рукой.

Он уходит, и сразу становится как-то обыденно. А в конце вечера будущий филолог, находясь всецело под впечатлением этой необычной и радостной для него встречи, стоит у серванта, зачарованно уставясь на горьковскую чашку. Толстое стекло сдвинуто, и она, доступная сейчас не только глазам, манит его как ребенка — страшно хочется хотя бы дотронуться.

Наконец, не в силах более удерживаться, он с волнением, осторожно, как реликвию, обеими руками приподнимает ее. С благоговением рассматривая, машинально переворачивает и на тыльной стороне доньшка видит бледно-голубоватую фабричную марку:

ДУЛЕВО
2с. — 51 г.

«Дулево... Второй сорт... 51-й год...» — мысленно повторяет он, в растерянности соображает, что Горький умер на пятнадцать лет раньше, и вдруг, пораженный в самое сердце, весь заливается краской и, расстроенный буквально до слез, тихо, беспомощно всхлипывает и готов от стыда провалиться сквозь землю — будто и сам в чем-то виноват.

...Дурная это привычка — заглядывать, куда не просят. Дурная и никчемная...

1963 г.

КЛАДБИЩЕ ПОД БЕЛОСТОКОМ

Католические — в одну поперечину — кресты и старые массивные надгробья с надписями по-польски и по-латыни. И зелень — яркая, сочная, буйная.

В знойной тишине — сквозь неумолчный стрекот кузнечиков — не сразу различимый шепот и еле слышное всхлипывание.

У каменной ограды над могилкой — единственные, кроме меня, посетители: двое старичков — он и она, — маленькие, скорбные, какие-то страшно одинокие и жалкие.

Кто под этим зеленым холмиком? Их дети или, может, внуки?..

Подхожу ближе и уже явственно — шепот:

— ...Wieczny odpoczywanie racz tu doć Pannie, a swiatłość wiekuista niechaj tu swięci na wieki wiekow...¹

А за кустом, над могилкой, небольшая пирамидка с пятиконечной звездочкой. На выцветшей фотографии — улыбающийся мальчишка, а ниже надпись:

ГВ. СЕРЖАНТ ЧИНОВ И.Н.

1927–1944 гг.

Смотрю со щемящей грустью на эту задорную курносую рожицу и на старых-стареньких поляков и думаю: кто он им?.. И отчего сегодня, пятнадцать с лишним лет спустя, они плачут над его могилкой и молятся за упокой его души?..

1963г.

ОЖИДАНИЕ

Она давно уже на пенсии и, старенькая, сухонькая, часами сидит у окна и смотрит в конец переулка, в ту сторону, откуда идут люди от метро, с автобусов и троллейбуса.

Рядом с ней, на стене под стеклом, окантованные ее руками, несколько фотографий:

Крохотный, будто слепой, комочек на пеленке кричит, надрывается...

Малышка лет четырех, в коротеньком платьице, на голове — огромный бант...

Девочка-подросток с нежным, по-детски ясным лицом стоит, облокотясь на велосипед...

И, наконец, последняя карточка — девушка, уже невеста, статная, красивая, в пилотке и шинели с погонами лейтенанта

¹ ...Дай ему вечный покой, Господи, и да светит ему вечный свет... (польск.)

медицинской службы; на боку — санитарная сумка; за спиной — автомат.

А в шкатулке, на комодке, наградные документы и быстро пожелтевшая бумажка, каких по России разослано миллионы:

«...Ваша дочь... верная воинской присяге... проявив мужество и героизм, пала смертью храбрых... Похоронена на поле боя...».

Слева у окна узкая девичья кровать со взбитыми подушками — уж сколько лет — ожидает хозяйку. На стене велосипед — тоже ждет. Не дожидаться им: мертвые не возвращаются. Но мать не может, не хочет это осознать; она не верит похоронной.

Годами меняются наволочки и покрывало, стирается пыль с металлических трубок, и, пока она жива, будет длиться это ожидание. Не верит она и никогда не поверит, что дочь не вернется, до последнего часа — в неизбывной надежде на случай или чудо — будет ждать, и ничем ее не убедить, что эти вещи, карточки, да еще воспоминания — вот и все, что осталось от дочери.

Старенькая, в задумчивой сосредоточенности, она часами сидит у окна и смотрит, напряженно вглядываясь в каждую женскую фигурку, что появляется в конце переулка.

Не годы состарили и согнули ее — горе...

1963 г.

СЕРДЦА МОЕГО БОЛЬ

Это чувство я испытываю постоянно уже многие годы, но с особой силой — 9 мая и 15 сентября.

Впрочем, не только в эти дни оно подчас всецело овладевает мною.

Как-то вечером вскоре после войны в шумном, ярко освещенном гастрономе я встретился с матерью Ленки Зайцева. Стоя в очереди, она задумчиво глядела в мою сторону, и не поздороваться с ней я просто не мог. Тогда она присмотрелась и, узнав меня, выронила от неожиданности сумку и вдруг разрыдалась.

Я стоял, не в силах двинуться или вымолвить хоть слово. Никто ничего не понимал; предположили, что у нее вытащили

деньги, а она в ответ на расспросы лишь истерически выкрикивала: «Уйдите!!! Оставьте меня в покое!..»

В тот вечер я ходил, словно пришибленный. И хотя Ленька, как я слышал, погиб в первом же бою, возможно не успев убить и одного немца, а я пробыл на передовой около трех лет и участвовал во многих боях, я ощущал себя чем-то виноватым и бесконечно должным и этой старой женщине, и всем, кто погиб — знакомым и незнакомым, — и их матерям, отцам, детям и вдовам...

Я даже толком не могу себе объяснить почему, но с тех пор я стараюсь не попадаться этой женщине на глаза и, завидя ее на улице — она живет в соседнем квартале, — обхожу стороной.

А 15 сентября — день рождения Петьки Юдина; каждый год в этот вечер его родители собирают уцелевших друзей его детства.

Приходят взрослые сорокалетние люди, но пьют не вино, а чай с конфетами, песочным тортом и яблочным пирогом — с тем, что более всего любил Петька.

Все делается так, как было и до войны, когда в этой комнате шумел, смеялся и командовал лобастый жизнерадостный мальчишка, убитый где-то под Ростовом и даже не похороненный в сумятице панического отступления. Во главе стола ставится Петькин стул, его чашка с душистым чаем и тарелка, куда мать старательно накладывает орехи в сахаре, самый большой кусок торта с цукатом и горбушку яблочного пирога. Будто Петька может отведать хоть кусочек и закричать, как бывало, во все горло: «Вкуснота-то какая, братцы! Навались!..»

И перед Петькиными стариками я чувствую себя в долгу; ощущение какой-то неловкости и виноватости, что вот я вернулся, а Петька погиб, весь вечер не оставляет меня. До боли клешнит сердце: в задумчивости я не слышу, о чем говорят; я уже далеко-далеко... Я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся...

Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...

(Фрагмент из одноименной книги)

*Я разделяю понятия Отечество,
Россия, и государство.*

В.Богомолов

«НОВОЕ ВИДЕНИЕ ВОЙНЫ», «НОВОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ» ИЛИ «НОВАЯ МИФОЛОГИЯ»?

Очернение с целью «изничтожения проклятого тоталитарного прошлого» Отечественной войны и десятков миллионов ее живых и мертвых участников как явление отчетливо обозначилось еще в 1992 году. Люди, пришедшие перед тем к власти, убежденные в необходимости вместе с семью десятилетиями истории Советского Союза опрокинуть в выгребную яму и величайшую в многовековой жизни России трагедию — Отечественную войну, стали открыто инициировать, спонсировать и финансировать фальсификацию событий и очернение не только сталинского режима, системы и ее руководящих функционеров, но и рядовых участников войны — солдат, сержантов и офицеров.

Тогда меня особенно впечатлили выпущенные государственным издательством «Русская книга» два «документальных» сборника, содержащие откровенные передержки, фальсификацию и прямые подлоги. В прошлом году в этом издательстве у меня выходил однотомник, я общался там с людьми, и они мне подтвердили, что выпуск обеих клеветнических книг считался «правительственным заданием», для них были выделены лучшая бумага и лучший переплетный материал, и курировал эти издания один из трех наиболее близких в то время к Б.Н.Ельцину высокопоставленных функционеров.

Еще в начале 1993 года мне стало известно, что издание в России книг перебежчика В.Б.Резуна («Суворова») также инициируется и частично спонсируется (выделение бумаги по низким ценам) «сверху». Примечательно, что решительная критика и разоблачение этих фальшивок исходили от иностранных исследователей: на Западе появились десятки статей, затем уличение В.Резуна во лжи, передержках и подлогах

продолжилось и в книгах, опубликованных за рубежом; у нас же все ограничилось несколькими статьями, и когда два года назад я спросил одного полковника, доктора исторических наук, почему бы российским ученым не издать сборник материалов, опровергающих пасквильные утверждения В.Резуна, он мне сказал: «Такой книги у нас не будет. Неужели вы не понимаете, что за изданием книг Суворова стоит правящий режим, что это насаждение нужной находящимся у власти идеологии?»

Как мне удалось установить, заявление этого человека соответствовало истине, и, хотя проведенные экспертизы (компьютерный лингвистический анализ) засвидетельствовали, что у книг В.Резуна «разные группы авторов», и основное назначение этих изданий — переложить ответственность за гитлеровскую агрессию в июне 1941 года на Советский Союз и внедрить в сознание молодежи виновность СССР и, прежде всего, русских в развязывании войны, унесшей жизни двадцати семи миллионов только наших соотечественников, эти клеветнические публикации по-прежнему поддерживаются находящимися у власти в определенных политико-идеологических целях.

В предлагаемых вниманию читателей главах из моей одноименной новой книги рассматриваются роман Г.Владимова «Генерал и его армия» (журнал «Знамя», 1995, №№ 4 и 5) и его статья «Новое следствие, приговор старый» (там же, № 8) и еще четыре издания: два содержащих фальсификацию и прямые подлоги «документальных» сборника, выпущенных в 1992 году, и пасквильные сочинения В.Б.Резуна («Суворова») и И.Л.Бунича.

О ГУМАННОМ НАБОЖНОМ ГУДЕРИАНЕ

В романе Г.Владимова из всех персонажей с наибольшей любовью и уважением, точнее пиететом, изображен немецкий генерал Гейнц Гудериан.

Вот он, истинный отец-командир, «гений и душа блицкрига», ночью в заснеженной лощине, вблизи передовой, обращается с короткой речью и беседует с боготворящими его

солдатами, для них он идол, и, естественно, даже рядовые обращаются к нему на «ты»: «Прикажи атаковать, Гейнц!.. Десять русских покойников я тебе обещаю!..»

Вот он, нежный, любящий супруг, уже в Ясной Поляне в кабинете Льва Толстого, сидя за столом великого писателя, пишет проникновенное письмо любимой жене Маргарите, а затем читает роман «Война и мир», проявляя при этом в мыслях удивительно высокий интеллектуальный и нравственный уровень, и, растроганный, умиляется поступку «графинечки» Ростовой, приказавшей при эвакуации из Москвы «выбросить все фамильное добро и отдать подводы раненым офицерам».

А вот и совсем другая краска: смело и независимо, как с подчиненным, он говорит по телефону с командующим группой армий «Центр» генерал-фельдмаршалом фон Боком, «прерывает дерзко вышестоящего» и, «не дослушав, кладет трубку». Он такой, он может, он и самому фюреру, если надо, правдой-маткой по сусалам врежет; к тому же набожен и чист не только телом, но и душою, помыслы его возвышенны, и даже, дописывая боевой приказ, он произносит вслух: «Да поможет мне Бог».

На двенадцати журнальных страницах воссоздан образ — замечу, самый цельный из всех в романе — мудрого, гуманного, высоконравственного человека, правда, в мыслях и самооценках не страдающего скромностью, впрочем, возможно, это сделано для большей жизненной достоверности персонажа.

Неудивительно, что литературные критики из тусовочной группировки захлебывались от восторга, усмотрев в образе Гудериана одну из составляющих «нового видения войны» — мол, в Совдепии, при коммунистах, целых полвека гитлеровских генералов мазали исключительно черной краской, а они, оказывается, были славными, благородными, замечательными людьми, не менее культурными, воспитанными и милыми, чем, например, Шелленберг, Гиммлер, Борман, Мюллер, Кальтенбруннер в «Семнадцати мгновениях весны», сериале, положившем начало эстетизации нацистской формы и нацистской символики в СССР, в том числе и в России.

Возникает Гудериан и в статье Г.Владимова «Новое следствие, приговор старый» (Знамя, 1994, № 8), причем личность этого «могущественного человека» оказывается здесь еще более многогранной. Автор высказывает сожаление, что

Гудериан не встретился и не взял себе в союзники... генерала-перебежчика А.А.Власова. Оказывается, «у Гудериана была своя идея: как вывести Германию из войны... предполагалось открыть фронты американцам, англичанам и французам и все немецкие силы перебросить на Восточный фронт... Если уже была оговорена демаркационная линия, то силы коалиции, не встречая сопротивления, дошли бы до нее и остановились – давши Германии оперативный простор для войны уже на одном лишь фронте!»

Вот как славненько было придумано, и о нас ведь не забыли! Гудериан во главе гитлеровского вермахта и генерал Власов с дивизиями РОА при невмешательстве США, Англии и Франции объединенными силами навалились бы на Россию – сколько бы еще унтерменшей, гомо советикус, этих восточных недочеловеков положили бы в землю!..

Минутку – а фюрер где же? Его куда дели? По убеждению Г.Владимова, Гудериан должен был и мог бы сказать своему вождю: «А вы, мой фюрер, предстанете перед международным трибуналом». Вот, оказывается, где собака была зарыта – «душа и гений блицкрига», носитель «пруссских традиций» ко всему прочему был еще и антигитлеровцем, антифашистом и в Ставке фюрера находился, судя по статье, на задании – чтобы, улучив момент, схватить шефа и водворить его на скамью подсудимых.

Кто же он был, Гейнц Гудериан, – в жизни, а не в сочинительстве?

Обратимся к фактам его биографии, которые остались за пределами романа и статьи Г.Владимова.

В ночь на 21 июля 1944 года, едва оправясь от покушения, Гитлер назначает «верноподданнейшего Гейнца» начальником генерального штаба сухопутных войск (ОКХ). В приказе по случаю вступления в должность Гудериан, очевидно в силу своих «антифашистских» убеждений, писал: «Каждый офицер генерального штаба должен быть еще и национал-социалистским руководителем. И не только из-за знания тактики и стратегии, но и в силу своего отношения к политическим вопросам и активного участия в политическом воспитании молодых командиров в соответствии с принципами фюрера».

Спустя трое суток – 24 июля – с благословения Гудериана в немецком вермахте, в основном беспартийном, воинское от-

дание чести было заменено нацистским приветствием с выбрасыванием руки — «Хайль Гитлер!»: весной предшественник Гудериана Цейтцлер и другие генералы отговорили фюрера от этого нововведения.

Одновременно Гитлер в знак особого доверия назначил Гудериана вместе с генерал-фельдмаршалами Кейтелем и Рундштедтом, как наиболее преданных ему людей, членами «суда чести», учрежденного Гитлером «для изгнания негодяев из армии». Уволенные генералы и офицеры автоматически пропускались через «народный» трибунал не менее фанатичного сатрапа Фрейслера и так же автоматически приговаривались к смертной казни; как правило, она осуществлялась двумя придуманными лично фюрером способами повешения: на рояльных струнах — «для замедленного удушения» жертвы или «как на бойне» — крюком под челюсть.

В своих мемуарах Гудериан вскользь упоминает о своем участии в «суде чести», сделав оговорку о своей якобы пассивности, однако быть пассивным там было невозможно: заседания судов «чести» и «народного», так же как и сам процесс казни, снимались кинооператорами, и сюжеты эти по ночам показывались Гитлеру в его Ставке «Вольфшанце». Видевшие эту хронику немцы свидетельствуют — и Гудериан, и Рундштедт, и Кейтель со злобными лицами буквально «выпрыгивали из своих мундиров», демонстрируя под объективами кинокамер свою ненависть к противникам фюрера, хотя «судили» они в большинстве своем невиновных и не причастных к заговору людей, многих из которых Гудериан знал по четыре десятилетия и больше — еще по совместному обучению в кадетских корпусах в Карлсруэ и в Гросс-Лихтерфельде под Берлином. Всего через «суд чести» было отправлено на казнь 56 немецких генералов и свыше 700 офицеров; еще 39 генералов в преддверии «суда чести» покончили жизнь самоубийством, а 43 погибли при различных «несчастных случаях» и таким образом тоже уклонились от позорной смерти.

Будучи начальником генштаба ОКХ, Гудериан с 1 августа по 2 октября 1944 года руководил подавлением Варшавского восстания, координировал действия эсэсовских частей Бах-Залевского и соединений 9-й армии; выполняя директивное распоряжение — «... расстреливать всех поляков в Варшаве, независимо от возраста и пола... Пленных не брать... Варшаву

сровнять с землей...», — давал конкретные указания о нанесении бомбовых ударов по кварталам города, занятым восставшими, и деловые рекомендации, как выдавливать повстанцев из зданий — выжигать огнеметами. При подавлении восстания погибло 200 000 поляков, а Варшава была превращена в руины.

Активное участие вермахта в этой чудовищной карательной акции зафиксировано и в сотнях немецких документов, в частности в широко известном приказе командующего 9-й армией, поздравившего с победой 3.10.44 г. от себя и от имени командующего группой армий «Центр» «всех солдат сухопутных сил, войска СС, авиации, полиции и всех других, кто с оружием в руках участвовал в подавлении восстания».

В бытность начальником генштаба ОКХ Гудериан по поручению Гитлера координировал с рейхсфюрером СС Гиммлером и его штабом карательные действия не только в Польше, но и в других странах, и наверняка, если бы ему после войны это вчинили, он бы сказал: «Я это делал не по собственной инициативе, а выполняя должностные обязанности, точно так же, как этим занимались и мои предшественники генералы Гальдер и Цейтцлер, да и другие высшие чины вермахта — Кейтель, Йодль, Варлимонт...»

Поскольку Г.Владимов в своей статье высказывает недоверие к советским источникам и архивам, сообщаю, что все приведенные выше факты взяты исключительно из западных, «чистых» изданий (в частности, из книг: F.Schlabrendorff. *Offiziere gegen Hitler*. Zurich. 1951; P.Carell. *Unternehmen Barbarossa*. Frankfurt a/M., 1963; I.Fest. *Hitler*. Verlag Utslein. GmbH, Frankfurt a/M. — Berlin — Wien, 1973).

В своем интервью («Вечерняя Москва», 21 марта 1995 г.) Г.Владимов уверяет, что, работая над образом Гудериана, он изучил «все, что написано о нем». Совершенно непонятно, почему же он не заметил, а точнее, в упор проигнорировал все изложенные выше факты и свидетельства, большая часть которых взята из книг, впервые опубликованных в Западной Германии, где проживает писатель. И советские, и немецкие документы неопровержимо подтверждают, что из всех вторгшихся на нашу территорию немецких армий самый кровавый и разбойный след в 1941 году оставили: 6-я общевойсковая

генерал-фельдмаршала фон Рейхенау, а из танковых — 2-я генерала Гудериана.

Вернемся, однако, в начало декабря 1941 года, когда командный пункт Гудериана действительно находился в Ясной Поляне. Следы пребывания генерала и его подчиненных в музее-усадьбе вскоре получили мировую огласку и позднее попали в материалы Нюрнбергского процесса (документ 51/2):

«В течение полутора месяцев немцы оккупировали всемирно известную Ясную Поляну... Этот православный памятник русской культуры нацистские вандалы разгромили, изгадили и, наконец, подожгли. Могила великого писателя была осквернена оккупантами. Неповторимые реликвии, связанные с жизнью и творчеством Льва Толстого, — редчайшие рукописи, книги, картины — были либо разорваны немецкой военщиной, либо выброшены и уничтожены...»

Под «изгадили» подразумевалось устройство в помещениях музея-усадьбы конюшни для обозных лошадей, а под осквернением могилы Толстого имелось в виду сооружение там нужника солдатами полка «Великая Германия». Когда сотрудницы музея притащили немецкому офицеру Шварцу дрова, чтобы он не топил печку книгами и личной мебелью писателя, он им сказал: «Дрова нам не нужны, мы сожжем все, что связано с именем вашего Толстого».

Нет, это не «большевистская агитка» — на советской территории вандализм гитлеровцев впервые засветился именно в Ясной Поляне, они там так чудовищно наследили, что на другой день после освобождения туда привезли иностранных журналистов, приехали кинооператоры и фотокорреспонденты — их снимки появились в газетах многих стран мира.

О личном «гуманизме» Гудериана той морозной зимой впечатляюще свидетельствуют такие, к примеру, пункты из приказа, доводимого за его подписью частям 2-й танковой армии в ночь на 22 декабря:

«...5. У военнопленных и местных жителей беспощадно отбирать зимнюю одежду.

6. Все оставляемые населенные пункты сжигать».

О личном «гуманизме» Гудериана свидетельствует и его приказ «Пленных не брать!», которому немцами впоследствии да-

валось такое прагматическое «оправдание»: танкисты «железного Гейнца» рвались вперед, они делали иногда по 60–80 километров в сутки, и у них не было ни времени, ни людей для того, чтобы собирать и охранять пленных.

В листовке, распространяемой в те месяцы ротами пропаганды 24-го, 46-го и 47-го танковых корпусов группы Гудериана, геббельсовской листовки, получившей известность по набранному крупным шрифтом лозунгу «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича!», сообщалось: «Все командиры и бойцы Красной Армии, которые перейдут к нам, будут хорошо приняты и по окончании войны отпущены на родину»; однако, когда советские военнослужащие попадали в плен к танкистам Гудериана, их расстреливали.

И об этом самом карателе и палаче Г.Владимов в своей статье умиленно пишет: «Как христианин, он не мог поднять руку на безоружного» (?!).

Должен огорчить литературных критиков, пришедших в восторг от «авторских находок» и «замечательной психологической точности» в изображении беседы Гудериана со старым царским генералом в Орле и его телефонного разговора с фон Боком: оба эти эпизода, как, впрочем, и овраг, куда съехал командирский танк генерала, и «незамерзающий глизантин», и многие другие детали — все это заимствовано из мемуаров самого Гудериана («Воспоминания солдата». М., 1954, с. 239, 248 и др.). А вот чтения «Войны и мира» в мемуарах при всем старании обнаружить не удастся — это придумано Владимовым для утепления и гуманизации, для еще большей апологетики гитлеровского генерала. Кстати, фамилия Толстого упоминается в пятисотстраничных воспоминаниях мимоходом только в одной фразе: «Свой передовой командный пункт мы организовали в Ясной Поляне, бывшем поместье графа Толстого» (с. 245), — в реальной жизни, а не в сочинительстве носитель прусских традиций и нацистских убеждений даже не заметил, что Лев Николаевич был не только графом, но и великим русским писателем.

Германия, как и Россия, — страна идолопоклонников, и Гудериан для немцев, быть может, лучшая кандидатура в национальные божки — в отличие от большинства главных гитлеровских военных преступников, он избежал суда. В конце войны, переехав тайком из Германии в Австрию, он сдался

американцам. По их просьбе или заданию, находясь три года в заключении в Нюрнбергской тюрьме и в лагере, он написал несколько разработок, обобщающих опыт действий танковых соединений во Второй мировой войне и, прежде всего, в России, ему были созданы особые условия и доставлялись все потребные документы.

Несмотря на то, что не только Советским Союзом, но и Польшей, и Францией были переданы целые тома юридических доказательств военных преступлений Гудериана, он, как и обещали ему американцы, в июне 1948 года был освобожден — 17 числа этого месяца ему исполнилось 60 лет, другим мотивом была тяжелая болезнь сердца, что тоже соответствовало действительности. Однако главным явились политические соображения: был самый разгар «холодной войны», и западные союзники начали сокращать тюремные сроки немецким военным преступникам, а некоторых просто выпускать на свободу.

Гудериан прожил после войны девять лет, но ни в своих воспоминаниях, ни в статьях, ни в своих выступлениях в высших военных учебных заведениях США, куда его неоднократно приглашали, он ни разу ни словом не осудил захватнические цели агрессивных войн Гитлера, в которых активно участвовал. Он лишь сожалел о том, что время для их осуществления не всегда выбиралось точно: так, например, если бы не события в Югославии, на Советский Союз следовало бы напасть не 22 июня, а 15 мая 1941 года, как первоначально планировалось, — тогда блицкриг был бы успешно завершён до осенней распутицы и небывало морозной зимы. Согласно планам германского командования, Москва должна была пасть в середине августа 1941 года, а в сентябре немцы собирались достичь Урала. И еще: спустя годы Гудериан сетовал на некомпетентное вмешательство фюрера — если бы не Гитлер, то с Советским Союзом было бы покончено через 3–4 месяца после начала войны.

Агрессивные человеконенавистнические идеи Гитлера об установлении мирового господства и порабощении других народов являлись для Г.Гудериана, как для представителя старого прусского генералитета, близкими и желанными. Об этом ясно сказал на Нюрнбергском процессе генерал-фельдмаршал К.Рундштедт: «Национал-социалистские идеи были идеями,

заимствованными от старых прусских времен, и были давно нам известны и без национал-социалистов».

Используя немецкое определение Гудериана как «гения и души блицкрига» и всячески апологетируя генерала, Г.Владимов старательно умалчивает, что целью этого самого блицкрига было завоевание жизненного пространства на Востоке – присоединение к Германии российской территории как минимум до Урала, захват Белоруссии, Украины и Кавказа, включая бакинские нефтяные промыслы, и превращение на завоеванной территории десятков миллионов населения в дешевую рабочую силу.

«ОСВОБОДИТЕЛЬ РОССИИ» ГЕНЕРАЛ А.А.ВЛАСОВ

В своей статье Г.Владимов высказывает сожаление, что пользуясь его явными симпатиями генералы Гудериан и Власов не встретились и не объединились для того, чтобы при невмешательстве западных союзников вместе ударить по России. При этом писатель не замечает или игнорирует истинное – жалкое и унижительное – положение перешедшего к противнику Власова, игнорирует недоверие и неуважение к нему со стороны немцев. С самого начала и до конца генерала-перебежчика курировали только спецслужбы и СС, в частности, к нему были приставлены младшие офицеры германской разведки: В. фон Штрик-Штрикфельд и С.Фрелих, оба из прибалтийских немцев и оба – впоследствии – авторы книг о Власове; последний после двух с половиной лет общения характеризовал своего подопечного следующей фразой: «Власов получил такое воспитание, что его второй натурой стала постоянная мимикрия: думать одно, говорить другое, а делать что-то третье».

Возглавлявший «восточные добровольческие формирования» генерал Кёстринг, бывший военный атташе Германии в России, настоятельно предостерегавший в 1941 году Гитлера от недооценки военного потенциала Советского Союза и от нападения на нашу страну, человек, считавшийся в абвере лучшим аналитиком и специалистом по России, осенью 1942 года, по указанию Кейтеля и адмирала Канариса, встре-

чался с Власовым и после трехчасовой беседы с ним заявил: «Это весьма неприятный, лицемерно-лживый, неприемлемый для нас человек. Любое сотрудничество с ним представляется бессмысленным». В официальном заключении Кёстринг указал: «И даже если нам когда-нибудь пришлось бы хвататься за какую-то фигуру из русских в качестве лидера, мы нашли бы другого». Человек дела и твердых убеждений, Кёстринг категорически отказался в дальнейшем от встреч и разговоров с Власовым, и, возможно, его заключение во многом определило отношение вермахта и самого фюрера к перебежчику. Генерал-фельдмаршал Кейтель на допросе по делу Власова и РОА показал: «Гиммлеру удалось получить разрешение фюрера на создание русской армии, но Гитлер и тогда решительно отказался принять Власова. Покровительство Власову оказывали только Гиммлер и СС».

Достойная компания!.. «Освободитель» России, курируемый эсэсовцами!.. Г.Владимов пишет, что для Власова «... высшим достижением явилась встреча с рейхсфюрером СС Гиммлером...».

Не знаю, как могли быть «достижением», да еще «высшим», встречи и разговоры с человеком, под руководством которого в лагерях военнопленных и концлагерях было уничтожено свыше десяти миллионов человек, но у Г.Владимова, очевидно, иные критерии.

Гиммлер вспомнил о Власове и впервые встретился с ним спустя 26 месяцев после его перехода к немцам, в начале сентября 1944 года, когда Германия оказалась на пороге поражения. Позже он не раз предлагал фюреру принять Власова, на что Гитлер однозначно отвечал: «Он предал Сталина, предаст и нас!», «Этот прохвост предал Сталина, он предаст и меня!»

Об унижительном отношении к Власову говорит и такая деталь: в документах немецкого командования, в том числе и поступавших к Власову, его воинство до ноября 1944 года называлось «туземными частями».

Г.Владимову, замороженному своими нескрываемыми симпатиями и привязанностями к Гудериану и Власову, будто и невдомек, что об альянсе между ними не могло быть и речи. Для воспитанника двух кадетских корпусов, истинного носителя прусских традиций и тевтонского духа, потомственного во-

енного, в течение сорока трех лет с гордостью носившего кадетский, офицерский, а затем и генеральский мундиры, Власов был всего лишь преступившим присягу перебежчиком, клятвопреступником, и по одному тому «гений и душа блицкрига» с ним не только встречаться и разговаривать бы не стал, он бы с ним, извините, в один штабной туалет никогда бы не зашел, а в полевых условиях — на одном километре бы не присел.

Трагедия 2-й ударной армии, которой с 16 апреля 1942 года в течение двух с половиной месяцев командовал генерал Власов, — одна из многих массовых трагедий Отечественной войны. Насчитывавшая более 30 тысяч человек, окруженная в весеннюю распутицу в лесах и болотах вдвое превосходившими силами противника, испытывая катастрофическую нехватку боеприпасов и продуктов, не имея при этом достаточного авиационного прикрытия, армия держалась и вела ожесточенные бои.

О мужестве, выносливости и стойкости этих людей свидетельствует хотя бы такое обстоятельство: в течение нескольких недель продовольственный паек в частях состоял из 100, а затем и 50 граммов сухарей в сутки с добавлением молодой листвы и березового сока и — когда гибли лошади — крохотных кусочков конины.

В военных архивах я отыскал и внимательно изучил 89 объяснений, рапортов и показаний бойцов и командиров — от рядовых роты охраны и штабных шоферов до полковников и генералов. Из анализа всех материалов становится несомненным, что последнюю, роковую для него неделю июня Власов находился в состоянии полной прострации. Причиной этого, полагаю, явилось то, что, когда на Военном Совете армии было оглашено предложение немцев окруженным частям капитулировать, Власов тотчас сослался на недомогание и, предложив: «Решайте без меня!» — ушел и не показывался до утра следующего дня. Военный Совет отклонил капитуляцию без обсуждения, а Власов вскоре наверняка осознал, что этими тремя словами он не просто сломал себе карьеру, но фактически подписал смертный приговор.

Задействованная у нас в отношении Власова формулировка — «добровольно сдался в плен к немцам» — является неточной. Вместе со своей поварихой и сожительницей Марией

Вороновой Власов более двух недель прятался в лесах, сторожках, банях и сараях глухих деревушек Оредежского района Ленинградской области. В своей листовке середины августа, имевшей подзаголовок «Открытое письмо» и выделенную жирным шрифтом фразу «Меня ничем не обидела советская власть», Власов писал: «Я пробился сквозь окружение в лес и около месяца скрывался в лесу и болотах».

Что он думал, чувствовал и решал в эти недели?..

Когда я массировал компетенцию по этому короткому периоду жизни генерала — 17 суток, — мне не раз приходило в голову, что у него было то же самое состояние и пронзительное нереальное желание, какое многожды, пусть скоротечно, посещало на войне и меня — в бытность рядовым, командиром отделения, помкомвзвода и, наконец, взводным, — в трудные, экстремальные минуты, в частности во время бомбежек и артиллерийских обстрелов, когда разрывы ложатся рядом и ты стремишься вжаться в подбрустверную нишу, а за неимением ее — врати в дно окопа, и мысль одна: «Мамочка, дорогая, роди меня обратно!..»

На что мог надеяться Власов, обладавший незаурядной внешностью и ростом 196 сантиметров, к тому же знавший, что его ищут и наши, чтобы уберечь от пленения, и немцы, контролировавшие радиоэфир?.. Он прятался от немцев, даже находясь на захваченной ими территории, пока 12 июля в староверческой деревушке Туховежи в момент обмена ручных часов на продукты у местной жительницы его и Воронову не заметил и не задержал деревенский староста, доложивший об этом оказавшемуся там случайно немецкому офицеру.

Все факты и документы говорят, что Власов, если бы хотел, мог перейти на сторону немцев на две недели раньше, все имеющиеся материалы свидетельствуют, что, по крайней мере, эти две недели Власов прятался и скрывался как от своих, так и от немцев, ставших для него своими лишь после пленения.

Власов был человек природного ума, достаточно компетентный в военных вопросах, честолюбивый и потому карьерный, льстивый с вышестоящими и безразличный к подчиненным. Его миновали чудовищные чистки второй половины 30-х годов, когда в Советском Союзе было репрессировано и уничтожено около 40 000 командиров армии и флота. До конца июня

42-го года он пользовался доверием у Сталина, рос в званиях и должностях и, не скрывая, радовался этому. Он гордился, что лицо у него в мелких рябинах, как у Сталина, разговаривая с ним по телефону «ВЧ» в присутствии генералов и штабных офицеров, вытягивался по стойке «смирно» и усиливал природное оканье, убежденный, что вождю это нравится. 12 лет он состоял в партии, во всех анкетах подчеркивал свое батрацкое происхождение, и пока судьба и карьера складывались благополучно — и советская система, и большевизм его вполне устраивали.

В конце июня 42-го года волею судеб он попал под колесо истории и оказался жертвой основного на войне инстинкта — самосохранения. Он скрывался в лесах и деревушках, понимая, что у своих пощады не будет, у немцев же ему уготована жалкая участь заключенного в лагере для военнопленных, а третьего не дано.

Однако третье, совсем неожиданное, возникло и показалось тщеславному генералу значительным и достойным.

Образ «освободителя России» и борца против «клики Сталина» за «Новую Россию без большевиков и капиталистов», как писал Власов в своих листовках, был ему придуман спустя месяц после пленения, уже в августе, немецкими спецслужбами и отделом пропаганды вермахта по консультации с бывшим советником германского посольства в Москве Г.Хильгером, и Власов с радостью принял и стал исполнять эту роль.

С такой же готовностью, захваченный 12 мая 1945 года в районе Брежи (Чехословакия) советскими военнослужащими и доставленный в штаб 25-го танкового корпуса, Власов тотчас составил и подписал приказ по РОА, в котором говорилось: «Всем моим солдатам и офицерам, которые верят в меня, ПРИКАЗЫВАЮ немедленно переходить на сторону Красной Армии».

Невольно вспоминается утверждение пробывшего более двух лет рядом с генералом-перебежчиком немецкого офицера С.Фрелиха о том, что «второй натурой» Власова была «постоянная мимикрия».

Уже не первое десятилетие, отбросив идеологическую фразеологию, пытаюсь осмыслить и понять поведение и действия генерала Власова в июне-августе 42-го года, стараюсь с позиций общечеловеческой объективности найти хоть какие-то, даже

не оправдательные, а всего лишь смягчающие обстоятельства его поступков, но не получается...

На должностях командующих общевойсковыми армиями в Отечественную войну побывали 183 человека, 22 из них погибли, несколько попали в плен, но, кроме Власова, ни один не перешел на службу к немцам.

16 общевойсковых армий попадали в окружение, при этом несколько командующих погибли, трое в последнюю минуту покончили жизнь самоубийством, но ни один не оставил в беде своих подчиненных, а Власов бросил — около 10 000 истощенных, опухших от голода бойцов и командиров 2-й ударной армии с боями прорвались из окружения, однако более 20 000 человек погибли и пропали без вести.

Доставленный после задержания на станцию Сиверская к командующему 18-й немецкой армией генерал-полковнику Линдеману, Власов в течение нескольких часов через переводчика излагал все, что он знал о 2-й ударной армии, Волховском и Ленинградском фронтах, сообщал сведения, способствовавшие борьбе с его соотечественниками, в том числе и бывшими его подчиненными.

Своей лестью, угодничеством и «жаждой предательства» Власов Линдеману так же, как позднее и генералу Кёстрингу, активно не понравился, вызвал недоверие и, почувствовав это, Власов написал известный реферат — на 12 машинописных страницах изложил свои рекомендации, конкретные советы германскому командованию, как успешнее бороться с той самой Красной Армией, в которой он прослужил 24 года...

Этим общеизвестным действиям Власова нет и не может быть оправдания.

В истории России и Отечественной войны Власов был и остается не идейным перебежчиком и не борцом с «кликой Сталина», а преступившим присягу, уклонившимся в трудную минуту от управления войсками военачальником, бросившим в беде и тем самым предавшим более 30 000 своих подчиненных, большинство из которых заплатили за это жизнями.

В некоторых сенсационных публикациях последнего времени РОА стараются выдать за массовое движение, называя поистине фантастические цифры: миллион и даже полтора миллиона военнотружущих; между тем общая численность владовского воинства, включая авиацию и подразделения охраны,

как однозначно свидетельствуют немецкие документы, максимально составляла всего лишь около 50 000 человек, из них 37 000 были русские. Полностью же укомплектована и вооружена была только одна дивизия — 600-я пехотная полковника, позднее генерал-майора Буняченко, то есть армию как таковую создать, по сути, не успели.

Попытки спустя полвека после войны реабилитировать и, более того, восславить генерала Власова и выдавать его за «освободителя России» или «спасителя Москвы» столь же нелепы и смехотворны, как и само название РОА — Русская Освободительная Армия.

Текст присяги РОА утверждал министр по делам Восточных территорий А. Розенберг, при этом обнаружилось, что в солдатские книжки власовцев по недосмотру попало словосочетание «свободное отечество». Поскольку военнослужащие РОА давали присягу на верность не только Власову, но и в первую очередь Адольфу Гитлеру, случился скандал, после чего все документы, содержащие эти слова, были тотчас изъяты и уничтожены, а Власову письменно строго указали, что «ни о каком свободном отечестве для русских и украинцев не может быть и речи». Удостоверения личности не только рядовых, но и офицеров, и генералов, и самого Власова были напечатаны и заполнены по-немецки, что вызывало у власовцев недовольство.

Как же курируемые СС и спецслужбами, находившиеся на содержании у немцев, не имевшие никакой самостоятельности и права голоса Власов и РОА могли быть освободителями, если целью Германии в войне были захват, порабощение и эксплуатация природных богатств, населения, промышленности и сельскохозяйственных угодий Советского Союза, а отнюдь не мифическое «освобождение»?

За прошедшие после войны годы на Западе только на русском языке опубликовано свыше тридцати книг о Власове и РОА, в большинстве своем содержащих элементы мифологии и — ни малейшего пятнышка на генеральском мундире.

Ни в одном из этих изданий нет упоминания о том, что генерал-перебежчик 24 июня 1942 года бросил на произвол судьбы 30 тысяч своих подчиненных, находившихся в окружении без продовольствия и боеприпасов.

Ни в одной из этих книг не сообщается, что Верховный Главнокомандующий Русской Освободительной Армии давал присягу на верность не России или русскому народу, а Гитлеру и германскому рейху, и нигде не приводятся достаточно известные слова из показаний генерал-фельдмаршала Кейтеля — утверждение, по сути, определяющее назначение и функции РОА в гитлеровской Германии: «Покровительство Власову оказывали только Гиммлер и СС».

ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ

По сравнению с Гудерианом советские военачальники изображены Г.Владимовым по методу контраста: «Чем ночь темней, тем ярче звезды!»

В главе «Даешь Предславль!» они показаны на двадцати пяти журнальных страницах — Г.К.Жуков, командующий фронтом Н.Ф.Ватутин, Н.С.Хрущев и шесть командующих армиями: они совещаются в поселке Спасо-Песковцы и производят поистине удручающее впечатление скорее не военачальников, а колхозных бригадиров или провинциальных массовиков-затейников.

Если Гудериан в романе демонстрирует наряду с набожностью и благородством высокий интеллектуальный уровень, то здесь интересы и темы совсем другие: рассказ о том, как личный повар «выучился готовить гуся с яблоками», сменяется анекдотом о том, как «чекисты с гепеу» требуют у Рабиновича на строительство социализма припрятанные Сарочкой деньги. Генералы радуются привезенным Хрущевым подаркам — «по бутылке армянского коньяка», «шоколадному набору», «календарю с картинками» и «главной в составе подарка» «рубашке без ворота, вышитой украинским орнаментом» («Гости хрустели пакетами, прикладывали рубахи к груди, Жуков тоже приложил...»).

Автору невдомек, что командующий общевойсковой армией в 1943 году имел под своим началом 35–50 тысяч человек и госпитальная база армии состояла из десятка различных полевых госпиталей, и в каждом из них имелись ящики армянского коньяка.

Автору невдомек, что осенью 1943 года уже был позаимствован опыт дополнительного снабжения генералов вермахта, и не только командующих армиями, но и военачальников ниже должностями. По указанию Сталина они получали добавочный лимитный паек серии «А», куда, помимо всяких деликатесов, входили бутылки отборного коньяка и три килограмма шоколада специального изготовления, и по одному тому генералы не могли, подобно туземцам, радоваться подаркам Хрущева, так же, как не могли и не стали бы прикладывать вышитые рубашки к генеральским и маршальскому кителям, — писатель не понимает, сколь все это нелепо.

Прочитав двадцать пять страниц такого изображения, осознаешь, что если Гудериан в представлении Г.Владимова читал «Войну и мир» и, более того, мог сопереживать и умиляться поступку «графинечки» Ростовой, то большинство советских военачальников — как они показаны в романе — и чеховскую «Каштанку» не одолели бы, да и читать бы не стали — дворняжка, и все, какой тут разговор?

Также немецкий и советские генералы удивительно разнятся по внешности.

Вот как изображен в романе германский командующий: «крепкое лицо еще моложавого озорника, лукавое, но неизменно приветливое».

А вот как выглядят лики советских военачальников: «худенькая обезьянка с обиженно-недовольным лицом», «смотрел исподлобья... побелевшими от злости глазами», «прогнав жесткую, волчью свою ухмылку», «цепким, хищным глазохватом», «чудовищный подбородок, занимавший едва не треть лица» и т.п.

Прочитав внимательно роман, с горечью убеждаешься, что автор смотрит на своих бывших соотечественников — не только генералов — «побелевшими от злости глазами». Это читательское восприятие, сам же писатель в одном из многочисленных интервью о своем методе говорит: «Это все тот же добрый старый реализм, говоря по-научному — изображение жизни в форме самой жизни».

Впрочем, есть один русский генерал, которого Г.Владимов изображает с такой же любовью и пиететом, как и Гудериана:

«Он резко выделялся среди них... в особенности своим замечательным мужским лицом... Прекрасна, мужественно-

аскетична была впалость щек... поражали высокий лоб и сумрачно-строгий взгляд... лицо было трудное, отчасти страдальческое, но производившее впечатление сильного ума и воли... Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно...»

В реальной жизни в лице этого человека, прежде всего, отмечались рябины, но писатель рисует икону, и по выраженной тенденции автора романа читатель, возможно, уже догадался, что речь идет о перешедшем летом 42-го года на сторону немцев генерале А.А.Власове. 3 или 4 декабря 1941 года (перед «Днем конституции») он якобы находился в ограде церкви Андрея Стратилата, в полутора километрах от Лобни, и единственный во всем Западном фронте владел ситуацией, и, хотя вся Красная Армия отступала, он, конечно же... («Двадцатая армия наступает, власовцы!»). Но главная его слава впереди — как пишет Владимов: «...будет его армия гнать вперед немцев... от малой деревеньки Белый Раст на Солнечногорск — побудив и приведя в движение все пять соседних армий Западного фронта... он навсегда входил в историю спасителем русской столицы...»

Здесь уже, мягко выражаясь, чистое сочинительство. Назначенный командующим 20-й армией 30 ноября 1941 года, Власов с конца этого месяца и до 21 декабря болел тяжелейшим гнойным воспалением среднего уха, от которого чуть не умер, и позднее страдал упадком слуха, а в первой половине декабря — вестибулярными нарушениями.

Болезнь Власова и его отсутствие в течение трех недель на командном пункте, в штабе и войсках зафиксированы в переговорах начальника Генерального штаба маршала Б.М.Шапошникова и начальника штаба фронта генерала В.Д.Соколовского с начальником штаба 20-й армии Л.М.Сандаловым; отсутствие Власова зафиксировано в десятках боевых приказов и других документов, вплоть до 21 декабря, подписываемых «за» командующего Л.М.Сандаловым и начальником оперативного отдела штаба армии комбригом Б.С.Антроповым.

Поскольку отсутствие Власова, как предположили, будет замечено немецкой разведкой, 16 декабря, по указанию свыше, было организовано его интервью якобы в штабе — Власов

находился в армейском госпитале — с американским журналистом Л.Лесюером.

Впервые на командном пункте армии Власов появился — всего на час — в полдень 19 декабря в селе Чисмены. Он плохо слышал, все время переспрашивал и был крайне расстроен, когда ему доложили, что «командование фронта очень недоволено медленным наступлением армии» и что «генерал армии Жуков указал на пассивную роль в руководстве войсками командующего армией и требует его личной подписи на оперативных документах».

Замечу, что 20-я армия под Москвой по силам была слабее по крайней мере четырех других армий и, может быть, потому вызывала у Ставки командования фронтом нарекания. Утверждение писателя о том, что она привела «в движение все пять соседних армий Западного фронта!», не соответствует действительности, и в сообщении о том, что «гремели имена Жукова, Власова, Рокоссовского, Говорова, Лелюшенко...», имя Власова вставлено Г.Владимовым для апологетики, самовольно и необоснованно: в сообщениях Совинформбюро в декабре 1941 года как «наиболее отличившиеся» в боях под Москвой армия К.К.Рокоссовского упоминалась четырежды, Д.Д.Лелюшенко — трижды, И.В.Болдина — дважды, Л.А.Говорова — один раз, армия же А.А.Власова, так же как и армии Ф.И.Голикова и В.И.Кузнецова, не упоминалась ни разу. И награждены за бои под Москвой они были соответственно: Рокоссовский, Лелюшенко, Болдин и Говоров — орденами Ленина, а Власов, Голиков и Кузнецов — по второму разряду, орденами Красного Знамени.

В листовке за подписью Власова от 10 сентября 1942 года о его участии в боях под Москвой говорилось более чем сдержанно; пусковым документом для создания мифа о «спасителе Москвы» явилась спустя шесть месяцев, в марте 1943 года, пространная листовка, так называемое «Открытое письмо», где без ложной скромности уже сообщалось: «20-я армия остановила наступление на Москву... Она прорвала фронт германской армии... обеспечила переход в наступление по всему Московскому участку фронта». Эти самовосхваления явились основой для создания мифа о «спасителе Москвы», впоследствии раздуваемого в книгах бывших власовцев, энтеэсовцев и теперь в романе Г.Владимова.

Трудно понять, почему в романе Г.Владимова Тула именуется Тулой, Орел – Орлом, Москва – Москвой, а, например, Киев – Предславлем?.. Зато по прочтении становится ясно, с какой целью командующие армиями выведены под весьма прозрачными псевдонимами – генерал П.С.Рыбалко именуется Рыбко, генерал И.Д.Черняховский – Чарновским и т.д., – и при этом они снабжены многими подлинными биографическими данными своих прототипов, вошедших в историю Отечественной войны. Как ни печально, сделано это автором, чтобы безнаказанно опустить, примитивизировать или мазнуть подозрением достаточно известных людей. Я не буду здесь обелять выведенного в романе сверхмерзавцем, истинным монстром прототипа генерала Терещенко – он был не таким, но чтобы опровергнуть все, что на него навесил автор, не хватит и газетного листа, однако об одном командующем должен сказать.

В конце войны и в послевоенном офицерстве, в землянках, блиндажах, палатках и офицерских общежитиях, где после Победы – в Германии, в Маньчжурии, на Чукотке, на Украине и снова в Германии – я провел шесть лет своей жизни, очень много говорилось о войне. Каждый офицер в связи с ранением или по другой причине побывал на фронте под началом многих командиров и командующих, мы могли их сравнивать, и разговоры в застолье и на сухую были откровенными, поскольку эти люди нами уже не командовали и находились далеко. В разговорах этих с неизменным уважением и теплом нередко возникало имя генерала Ивана Даниловича Черняховского, в неполные 38 лет назначенного командующим фронтом и спустя десять месяцев погибшего в Восточной Пруссии, причем рассказывалось единодушно о его не только отличных командирских, но и удивительных человеческих качествах. В 1943 году моим батальонным командиром был офицер, который, как тогда говорилось, «делал Отечку» с первых суток от границы в Прибалтике под началом командира 28-й танковой дивизии полковника Черняховского. С его слов мне на всю жизнь запомнилось, что даже в эти страшные для нашей армии недели, в сумятице отступления, под огнем и постоянным авиационным воздействием противника Черняховский запрещал оставлять раненых и перед отходом с очередной позиции требовал погребения погибших,

чтобы оградить трупы от возможного надругательства. Тот, кто был на войне и попадал под отступление, не может этого не оценить. Генерал погиб под Мельзаком: ехал на командный пункт командира корпуса, сзади машины разорвался снаряд, осколок вошел в левую лопатку — ранение оказалось смертельным.

Г.Владимов, изложив обстоятельства гибели, не может удержаться, чтобы не добавить пачкающую подозрением фразу: «Наверно, вторую бы жизнь отдал Чарновский, чтобы рана была в грудь...»

Почему он «вторую бы жизнь отдал»? Он что, пытался перейти к немцам или бежал с поля боя?.. А если во время атаки сзади солдата разрывается мина или снаряд, что, смерть от осколка, попавшего в спину, позорнее, чем от осколка, попавшего в грудь?.. Писатель не видит и не понимает войну, однако это еще недостаточное основание, чтобы мазать подозрением погибшего на войне и уже униженного перезахоронением из Вильнюса генерала, сочетавшего талант полководца с замечательными человеческими качествами. Встречаешь эту подлянку, кинутую походя в могилу достойнейшему человеку, и ошарашенно удивляешься: «Зачем?!», а главное — «За что?!!!»

Г.К.Жуков в романе спрашивает генерала Кобрисова, откуда он его помнит, где еще до войны видел, и выясняется, что в 1939 году на Халхин-Голе Жуков приказал Кобрисова расстрелять.

Насколько мне известно, расстрелы в боевой обстановке по приказанию, так называемые «внесудебные расправы», возникли только в 1941 году, но я не изучал досконально события на Халхин-Голе и потому не считаю себя компетентным высказываться по этому вопросу. Я не склонен идеализировать Жукова, однако ни маразматиком, ни постинсультником он в войну не был. Автор упустил, что в этом же романе в 1941 году Кобрисов как командующий армией являлся непосредственным подчиненным командующего фронтом Жукова, они не могли не общаться, и то, что этот вопрос впервые возникает у маршала только при случайной встрече в 1943 году, свидетельствует, что имели место перебои мышления или выпадение памяти то ли у Жукова во время боев под Москвой, то ли у Г.Владимова при написании романа.

Подобных ляпов и несуразностей в произведении не мало — я отметил более сорока¹ — и об этом необходимо сказать потому, что в десятке рецензий о них не упомянуто и словом, наоборот, писалось о «толстовском реализме» Г.Владимова, о «толстовской точности изображения», и сам писатель в своих интервью настоятельно декларирует свою приверженность к реализму и точности и тихо, скромно, по-семейному подверстывает себя к Толстому, хотя Лев Николаевич по поводу ляпов, несуразностей и даже неточностей говорил (цитирую по памяти): «Когда я нахожу такую штуку у писателя, я закрываю книгу и больше ее не читаю».

Никто из критиков не заметил, что в романе, названном «Генерал и его армия», фактически нет армии: объектом изображения писателя оказалась не армия, которой командует Кобрисов, а обслуга генерала: его ординарец Шестериков (очевидно, от глагола «шестерить»), определенный одним из писателей «гибридом Савельича из «Капитанской дочки» и Шухова из «Одного дня Ивана Денисовича»», водитель Сиротин и адъютант майор Донской. Эти люди на десятках журнальных страниц шантажируются, провоцируются и терроризируются всемогущим смершевцем майором Светлооковым; в его энергичную всепроникающую деятельность по контролю за руководством боевыми действиями участвующей в стратегической операции армии и за самим командующим вовлечены также «будущая Мата Хари», штабная «давалка», телефонистка Зочка и «старшая машинистка трибунала» Калмыкова.

За генералом Кобрисовым действительно требуется глаз да глаз. О его «дури» говорит и он сам, и окружающие, включая собственного ординарца; маршал при встрече с ним отмахивается, «как машут на дурачка». Его поведение и поступки то и дело озадачивают, и невозможно понять, как этот персонаж — героем его никак не назовешь — уже два года командует на войне десятками тысяч человек. Вызванный в Ставку из-под Киева, он, доехав до пригорода Москвы и, очевидно, уже забыв о столь ответственной выезде, вдруг решает вернуться в свою армию, но, должно быть, запамятавав, где она на-

¹ Наиболее значительные из них рассматриваются в другой главе моей книги — «Невежество и несуразности».

ходится, приказывает ехать... в Можайск. В декабре 1941 года во время боев под Москвой ему звонит полковник Свиридов из якобы захваченной деревушки Большие Перемерки и приглашает прийти — за шесть километров! — выпить коньяку. При сообщении о коньяке, как пишет Г.Владимов: «Генерал сразу повеселел». Поначалу он для видимости отказывается, но повод есть («День конституции подступает»), и выпить так хочется, что, несмотря на предупреждение Свиридова, что на фланге справа от Перемерок нет никакой обороны, «чистое поле», точнее — немцы, генерал с первым встречным бойцом, незнакомым ему до того Шестериковым, на ночь глядя отправляется в неизвестность. Об алкогольной зависимости главного персонажа сообщается деликатно: «...генерал шага не убавлял, что-то его грело изнутри и двигало вперед». В результате вместо коньяка — «Восемь автоматных пуль, вошедших в просторный живот генерала, прошли навывлет...».

Чтобы человек остался живым, получив восемь пуль автоматной очереди в живот, — случай в военной медицине небывалый, впрочем, небылицам в этом «реалистическом» романе не перестаешь удивляться.

Небывальщиной является и то, что Кобрисов, прослуживший более четверти века в армии, имеющий не одно военное образование, а главное — делающий третью войну! — будучи предупрежден, что нет линии фронта и впереди «чистое поле» и там немцы, тем не менее отправился в темноту, навстречу если и не гибели, то тяжелейшему ранению. Явным вымыслом является и то, что командующий армией под «студеным ветром» — в тридцатипятиградусный мороз! — прется за шесть километров в темноте, по снегу, чтобы выпить коньячку.

Не зная войны, автор не представляет себе положение персонажа: если в 1942 году мне, сержанту, отдававшему Богу душу и потому спущенному в подвал, в госпитальный, на три койки, предсмертник, дважды в сутки вливали в глотку по 30–40 граммов коньяку, то генерал-лейтенанту, командующему армией — скажи он слово! — тотчас ящик отборного коньяка в зубах бы притащили! Ко всему прочему, тут полное непонимание психологии и менталитета советских командиров и военачальников: в подобных ситуациях они никогда не спускались «вниз»; чего бы это ни касалось — алкоголя, трофейной автомашины или чего еще, команда подавалась: «Ко мне!» В памяти моей

сохранились десятки таких приказаний, в том числе и весьма необычных, вроде слышанного неоднократно громогласного: «Олю!!! С подушкой!!! Ко мне!!!»

В другом эпизоде изображается, как Кобрисову приносят на подпись «армейскую газетку» и он «генеральским красносиним карандашом» выполняет работу цензора. Вообще-то осуществление политического и цензурного контроля за армейской многотиражкой было функцией инструктора или инспектора политотдела — старшего лейтенанта, капитана или, максимум, майора, — однако прослужившему более четверти века в армии генерал-лейтенанту, в силу его демонстрируемой в каждой главе постоянной неполноценности, очевидно, это невдомек, и потому он безропотно выполняет за других надзорно-фискальную работу.

Несомненной вершиной морального унижения Кобрисова и других генералов были заседания Военного Совета армии, куда систематически являлся всемогущий майор Светлооков («приходил, когда хотел, и, когда хотел, уходил»). Контролируя боевую деятельность армии, он задавал членам Военного Совета различные вопросы, они послушно отвечали, и, заканчивая заседания, Кобрисов осведомлялся: «У товарища Светлоокова нет вопросов?»

Кто же он, всемогущий майор Светлооков? Как утверждает Г.Владимов, — «вчерашний лейтенант», «бывший командир батареи», по воле автора — за два месяца — ставший майором (?!). Попал в органы, и нет для него уже ни законов, ни уставов, ни каких-либо ограничений. Имея звание майора, он в расположении штаба армии, где его все знают в лицо, носит то майорские, то лейтенантские, то капитанские погоны — какие хочет, такие и надевает! — зачем он это делает, понять невозможно, да и автор этого, судя по всему, не знает и, главное, не понимает, сколь это нелепо и абсурдно. Светлооков порочит и поносит командующего армией в разговорах с его подчиненными, настраивает их против генерала (на его языке это называется «посплетничать»), они же воспринимают все как должное и безропотно молчат.

Это в сочинительстве, а вот как это было в жизни. Там же, на Украине, во время наступления во второй половине ноября 1943 года шофера командира нашего полка подполковника Р-на вызвал на беседу офицер контрразведки капитан Л-ов;

о чем он расспрашивал водителя, не знаю, но сержант доложил о разговоре подполковнику. Тот пригласил на командный пункт Л-ва и в присутствии нескольких офицеров предложил ему написать рапорт своему начальству о переводе в другую часть. Как рассказал нам помощник начальника штаба полка по разведке, якобы Л-ов ответил: «И не подумаю!» – повернулся и ушел. Через три дня он исчез из полка, а прибывший на его место офицер контрразведки, тоже капитан, приветствовал командира полка за десять метров и, подойдя, говорил: «Товарищ подполковник, разрешите обратиться...»

Это на уровне полка, а как было выше?.. В Польше в конце 1944 года я впервые услышал о конфликте с контрразведкой командующего общевойсковой армией генерала Г-ва, о конфликте, в который будто бы вмешался Сталин. В 1948 году начальником штаба гвардейского механизированного полка, где я служил, был полковник К-ин, в войну порученец генерала Г-ва, и он подробно рассказывал нам, офицерам, об этом конфликте, – спустя тридцать лет в военных архивах я отыскал документы, подтверждавшие его рассказ. Генерал Г-в в первую военную зиму был завален в блиндаже, отчего страдал болями в позвоночнике, и в штаб из армейского госпиталя перед обедом привозили медсестру: она делала Г-ву массаж спины. Офицер контрразведки, капитан, в госпитальном застолье по случаю какого-то праздника, будучи поддатым, подсел к этой немолодой женщине, матери двух воевавших на фронте сыновей, и, задав несколько вопросов, затем «бодро-весело» поинтересовался, какие у нее отношения с командующим, – на другой день она рассказала об этом генералу. Г-в, будучи человеком крутого нрава (это выражено в его лице на всех военных и послевоенных фотографиях), в тот же день в присутствии начальника штаба и других членов Военного Совета позвонил по «ВЧ» Сталину и сказал: «Товарищ Сталин, контрразведка опрашивает окружающих меня людей. Очевидно, возникло недоверие. Настоятельно прошу до полного выяснения дела отстранить меня от должности». Как рассказывал нам полковник К-ин, Сталин якобы долго молчал, очевидно, переваривая столь неожиданную информацию, а затем сказал: «Товарищ Г-в, спасибо, что позвонили. Мы довольны вашей работой и полностью вам доверяем. А те люди, кто имеет иное мнение,

понесут заслуженное наказание». На другой день полковник, начальник отдела контрразведки армии был отстранен от занимаемой должности, а капитан, «побеседовавший» с массажисткой, был уволен из органов контрразведки и направлен на передовую командиром стрелкового взвода. Сталин материализовал высказанное им доверие — спустя неделю Г-ву было присвоено звание генерал-полковника.

Генералу Кобрисову не требовалось обращаться в Москву. Ему достаточно было — будь он не морально опущенным, а полноценным генералом — при первом же появлении Светлоокова позвонить начальнику отдела контрразведки армии и сказать: «Ваш офицер, майор Светлооков, обнаглев и распоясавшись, позволил себе явиться на заседание Военного Совета армии. Вы сами поставите ему мозги на место или мне сообщить выше?..» После этого из Светлоокова в лучшем случае сделали бы котлету.

По той простой причине, что положение о Военных Советах было разработано и утверждено Сталиным и там был определен и строго ограничен перечень лиц, входивших в состав Военного Совета: командующий, его первый заместитель, член Военного Совета (политработник), начальник штаба, командующий артиллерией и заместитель командующего по тылу — все это в войну были генеральские должности. Остальные лица могли попадать на заседание, если требовалось их присутствие, только по разовому приглашению командующего, переданному секретарем Военного Совета.

В отличие от нынешних бесчисленных президентских указов, которые не читают и не выполняют не только граждане, но и чиновники, документы, подписанные Сталиным, имели в войну силу беспрекословного железного закона и в случае нарушения или невыполнения — как тогда говорилось: «Прими меж глаз девять грамм и не кашляй!»

В различных органах, как их ни называй — карательными или правоохранительными, — было немало карьеристов и откровенных мерзавцев, но все они хотели жить, и каждый из них знал свое место, «размер своего сапога», и знал, что не только майоров, но и генералов и даже наркомов из этих самых органов расстреливали с такой же легкостью, как и армейских генералов.

Какую же тайну с участием стольких людей выведывает Светлооков?.. Оказывается, он доискивается, собирается ли генерал Кобрисов брать город Мырятин?

Но тут не надо ничего выведывать: в описываемой Г.Владимовым стратегической операции — битве за Днепр — участвовало двадцать девять только общевойсковых армий, они действовали по единому общему плану, и, брать город или не брать, определялось не командующим армией, а Ставкой. В войну это знали даже штабные писари, почему это неизвестно всесильному в изображении Г.Владимова смершевцу и адъютанту командующего, автор не объясняет.

Второе задание Светлоокова еще несуразнее: он дает адъютанту чистую карту и предлагает тайком переносить на нее все пометки с карты командующего армией, предупредив, что разговор «смертельно секретный» и «в случае чего» карту надо съесть. В первый момент мелькает предположение, что Светлооков работает на немецкую разведку, но потом утверждаешься в мысли о его умственном помешательстве: стоило адъютанту заявить и показать эту карту, и Светлооков, по законам военного времени, заплатил бы за это даже не должностью, а жизнью.

При изображении Отечественной войны в литературе крайне важен «воздух», атмосфера времени, а она менялась. Если в 1941 году в период отступления и чудовищных поражений военачальники и командиры были для Сталина изменниками и трусами, то осенью 1943 года, когда Красная Армия успешно наступала на тысячекилометровом фронте, они уже были победителями.

Эта перемена явно обозначилась после 24 июля, когда в Указе Верховного Совета СССР впервые возникло словосочетание «офицерский состав», в августе началось более широкое награждение военнослужащих и всяческое выделение и стремление приподнять офицеров, а тем более генералов.

Г.Владимову невдомек, что армия — это сложный, жесткий организм с четко, ригидно определенными функциями, правами и обязанностями каждого, и потому, к примеру, не только командующий, но и командир полка — подполковник или майор — понес бы матом предложившего ему исполнить обязанности цензора; что, однако, безропотно делает в романе Кобрисов.

Писателю невдомек, что и в 1943-м, и в 1945-м для командующего армией или члена Военного Совета майор из «Смерша» был мелкой сошкой, он не имел даже права обращения к генералам, это являлось прерогативой начальника отдела контрразведки армии (штатнодолжностная категория «полковник — генерал-майор»), по одному тому появление Светлоокова на заседаниях Военного Совета и унижение им там пяти или шести генералов — это эпизод не из реалистического романа, а сценка из театра абсурда.

Я далек от мысли идеализировать советский генералитет, разные это были люди, и функционировали они так же, как, впрочем, и Г.Гудериан, в системе, основанной на страхе и принуждении. Однако только по незнанию или умышленно их можно изображать такими примитивными недоумками, какими они выглядят в романе Владимова, и такими униженными, опущенными, как бедолага Кобрисов, и, главное, выиграла войну все же они, а не апологетируемые писателем «гений и душа блицкрига» Гудериан и бросивший в трудную минуту свою армию Власов.

Я далек от идеализации войны на любом уровне и в любой период, победа досталась поистине чудовищной ценой, огромной, небывалой кровью, однако, когда мне говорят, что мы воевали не так и делали совсем не то, я никогда не оправдываюсь и объясняю: «Мы были такими, какими были, но других не было».

Когда пишешь или даже упоминаешь о цене победы, о десятках миллионов погибших, ни на секунду не следует забывать, что все они утратили свои жизни не по желанию, не по пьянке, не в криминальных разборках или при разделе собственности и не в смертельных схватках за амдоллары и драгметаллы, — они утратили свои жизни, защищая Отечество, и называть их «пушечным мясом», «овечьим стадом», «быдлом» или «сталинскими зомби» непотребно, кощунственно.

* * *

С Отечественной войной — величайшей трагедией в истории России — необходимо всегда быть только на «вы».

В своих выступлениях в печати и по радио Г.Владимов в подтверждение своей компетенции о Второй мировой войне охот-

но перечисляет изданные на Западе книги бывших власовцев и нескольких немцев. Однако для создания реалистического произведения об Отечественной войне, точнее о Красной Армии, все же совершенно необходимы советские источники и, прежде всего, доступные в последние годы архивные военные документы 1941–1945 годов — они бы уберегли писателя от многих ляпов, несуразностей и, главное, от абсурдных эпизодов и ситуаций.

То, что Светлооков попал в контрразведку и фантастическое получение им—в течение двух месяцев! — трех офицерских званий, писатель объясняет тем, что «весной» «стали организовываться в армиях отделы Смерша», «любителей не много нашлось...», мол, создавалась новая организация и было полно вакансий, а желающих не оказалось.

Если бы Г.Владимов заглянул в первоисточники, конкретнее, в рассекреченное более четверти века тому назад постановление СНК СССР (№ 415–138 сс от 18.04.43 г.), он бы там прочел: «1. Управление Особых отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать в Народный Комиссариат Обороны...», то есть ничего заново не организовывалось, просто взяли и передали всех особистов в другой наркомат, изменив название организации, и потому никаких вакансий и возможности сказочного получения Светлооковым трех офицерских званий в реальной жизни не было и не могло быть.

Если бы писатель прочел все семь пунктов этого подписанного Сталиным и определявшего от и до все задачи органов «Смерш» постановления, он бы обнаружил, что ни в одной строчке нет и слова о контроле контрразведки за боевой деятельностью войск, и по одному тому десятки страниц с изображением ожесточенной возни на эту тему Светлоокова являются всего лишь нелепым сочинительством. А ведь в этой возне, выдаваемой за деятельность контрразведки, Светлооков постоянно напрягает многих людей; хотя бы женщин пожалел, и, прежде всего, «телефонистку» с «аппарата «Бодо» Зоечку и «старшую машинистку трибунала» Калмыкову («нечто грудастое, рыхлое»).

Вообще-то аппарат «Бодо» до романа Владимова с конца прошлого века во всех странах, в том числе и в России, являлся исключительно телеграфным буквопечатающим аппаратом,

и работали на нем, естественно, не телефонистки, а телеграфистки, однако это уже, возможно, «новое видение» и «новое осмысление» не только «далекой войны», но и техники связи. И должности такой — «старшая машинистка» или даже просто машинистка — ни в армейских, ни в дивизионных трибуналах, как свидетельствуют доступные каждому штаты военного времени, не существовало, и то, что автор безапелляционно именуется «Управлением резервов Генштаба», в жизни называлось Главупраформом Наркомата Обороны, и... Кобрисову никак не могли в декабре 1941 года выделить два гектара земли в Апрелевке, и главная несуразица тут даже не в том, что постановление ГКО о выделении генералам до одного гектара земли появилось только 28 июня 1944 года, а участки стали нарезать лишь в 1945 году, главная несуразица в том, что в описываемые дни всего в двадцати километрах от Апрелевки шли ожесточенные кровопролитные бои и суэта относительно дачных участков никому и в голову не могла прийти.

Писатель не знает, не понимает и не чувствует обстановки, атмосферы и напряженности тех недель битвы под Москвой и в очередной раз опускается до сочинительства. Хотя бы о части подобных нелепостей здесь необходимо сказать, потому что и автор, и критики хором самоупоенно пели и поют о «реализме», «реалистическом изображении», о «точности» деталей и «достоверном изображении войны», чего, к сожалению, нет в романе ни в одной главе. Чем объяснить, что и редакция, и рецензенты не заметили даже логических несуразиц и ляпов, — они что, читали роман через страницу или через две?.. Позволю высказать предположение, что это всего лишь выраженный синдром тусовочного, экстатического, стадного мышления.

О Власове Г. Владимов пишет: «Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно...» Как это ни удивительно, безоглядно доверились генералу-перебежчику и гитлеровскому военачальнику Гудериану не только члены петербургской крайней фашистской организации, где, судя по фотоматериалам, Гудериан и Власов в почете и обожествлении, занимая на парадном стенде соответственно шестое и одиннадцатое места после фюрера (на втором — покровитель Власова рейхсфюрер СС Г. Гиммлер), безоглядно доверились Гудериану и Власову

дамы и господа из демократических изданий. Такое неожиданное духовное единение Г.Владимова и тусовочных литературных критиков с гитлеровскими последышами.

Когда я читал рецензии и слушал радиопередачи с восторгами по поводу «немецкого танкового гения» Гудериана и «спасителя Москвы» Власова, я всякий раз думал — кто эти апологеты?.. Неужели на полях войны от Волги до Эльбы у них никто не остался?.. Они что, инопланетяне или — без памяти?.. Впрочем, как нам уже разъяснили, восславление нацистского военного преступника, виновного в истреблении более полумиллиона советских и польских граждан, и восславление генерала-перебежчика, в трудную минуту бросившего в окружении свою армию, и одновременное при этом уничтожение многих миллионов мертвых и живых участников войны сегодня в нашем несчастном, горемычном Отечестве именуется «просвещенным патриотизмом»...

Мой знакомый, доктор технических наук, делавший войну с весны 42-го по апрель 45-го командиром взвода, а затем и роты в танковой бригаде и потерявший на Зееловских высотах ногу, прочитав роман Г.Владимова и несколько рецензий на это сочинение и послушав радио, сказал:

— Это даже хорошо, что мы не доживем до 60-летия Победы. Если они сегодня с радостью впустили в свои сердца и приняли за освободителей России Власова и Гудериана, а нас держат за зомбированных полудурков, помешавших этому освобождению, то к 60-летию Победы они наверняка водрузят на божницы и портреты главного освободителя России — Адольфа Гитлера. И всласть попляшут на братских могилах, и для каждой приготовят по бочонку фекалий...

О «БРАТАНИИ» С ВЛАСОВЦАМИ,
«НОВОМ ОСМЫСЛЕНИИ ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ»
И НАШЕЙ «ВТОРОСТЕПЕННОСТИ»

Есть в статье Владимова три момента, которые невозможно оставить без внимания.

Касаясь боя Красной Армии с частями 600-й дивизии РОА в районе Фюрстенвальде 13 апреля 1945 года, писатель не верит, что «власовцы» «отступили в беспорядке, оставив на

поле боя убитых, раненых, оружие и амуницию». Он не верит здесь даже «немецким штабным документам». Он пишет: «Боя не получилось. Солдаты с обеих сторон перекрикивались, обмениваясь информацией о житье-бытье. Были и перебежчики — в ту и другую стороны, что значит — не было перестрелки... Чуткий наблюдатель мог бы отметить, что на чужой территории соотечественники относятся к «власовцам» уже иначе, нежели на своей...». Трогательная картинка братания с разговорами о житье-бытье и даже перебежчиками «в ту и другую стороны...».

Как же это было в жизни, а не в сочинительстве?

Я был в 1945 году «на чужой территории» — в Германии, — и должен засвидетельствовать, что если немцев, в том числе и эсэсовцев, определяемых по вытатуированной под мышкой группе крови, как правило, брали в плен (количество пленных было показателем боевой деятельности частей и соединений), то «власовцев», если их не успевали защитить как носителей информации, чаще всего подвергали «внесудебной расправе». Трагической оказывалась судьба даже тех, кого всего лишь принимали за военнослужащих РОА. Чтобы не быть голословным, приведу факты и свидетельства весьма неожиданного характера.

12–14 января 1945 года перешли в наступление 1-й Украинский, 1-й и 2-й Белорусские фронты, в связи с чем десяткам агентурных разведчиков по радио была дана команда выходить из немецкого тыла навстречу нашим войскам. Одновременно в секретном порядке были проинструктированы офицеры разведподразделений, а также пээнша-два¹ в полках, дивизиях и корпусах и уполномоченные контрразведки в частях. В частности, предлагалось: «Вышедших разведчиков обеспечить хорошим питанием, а в случае необходимости медицинской помощью и одеждой. Отбирать у них личные вещи, документы, вооружение и радиостанции категорически воспрещается». Выход разведчиков начался 16 января; то, что последовало дальше, воспринимается как нелепый и страшный сон.

Вот как это изложено в директивной шифровке, которая доводилась командирам соединений 2-го Белорусского фронта спустя десять суток, 27 января, за подписями мар-

¹ Помощник начальника штаба по разведке.

шала К.Рокоссовского и начальника штаба фронта генерала А.Боголюбова (упоминаемые далее фамилии даются в сокращении):

«С успешным продвижением наших войск на запад из тыла противника выходят и встречаются наши войска агентурные разведчики разведотдела штаба фронта, которые по 5–6 месяцев находились в глубоком тылу врага в исключительно тяжелых условиях, не щадя своей жизни, выполняли поставленные перед ними задачи... Вместо того чтобы этих людей по-человечески принять и направить... 19.01.45 г. в Млаве навстречу бойцам 717 стр. полка 137 стр. дивизии вышел командир агентурной группы инженер-капитан Ч-ов и просил направить его в разведотдел штаба фронта, просьбу товарища Ч-ва не выполнили, а его самого зверски убили... 18.01.45 г. в районе Цеханув навстречу бойцам 66-й мехбригады вышла агентурная группа во главе с командиром лейтенантом Г-ым. Группа была доставлена командиру 66-й мехбригады подполковнику Л-о, который не разобрался в существе дела, назвал представленных разведчиков «власовцами» и приказал расстрелять. Только случайность спасла жизнь разведчиков...» В конце директивы предлагалось: «Прокурору фронта расследовать факты убийства...»

Всего за вторую половину января в полосе трех фронтов при возвращении после выполнения задания из немецкого тыла погибло свыше двадцати закордонных разведчиков – офицеров Красной Армии в званиях от лейтенанта до майора. В документах военных прокуратур и трибуналов я отыскал одиннадцать следственных материалов – в девяти случаях эти люди были застрелены у окопов первой линии или боевого охранения только потому, что их принимали за «власовцев». Разные фронты, разные рода войск, а случаи схожие и документы – тоже. Короткие, на полторы-две странички протоколы допросов и практически одинаковые показания: «Я его окликнул, он ответил по-русски, я решил, что он «власовец», и выстрелил...» В некоторых протоколах две-три строчки раскаяния: «...если бы знал, что он наш, не убивал бы». Трибуналы разные, а сроки – и рядовым, и сержантам – одинаковые: 8 лет лишения свободы с применением 28-й статьи (замена заключения передовой) и отправлением в штрафные роты.

Особенно запомнился мне случай убийства капитана К-ва, москвича, трижды орденосца, – застреливший его немо-

лодой боец после ареста, узнав, что он убил не «власовца», а своего, выхватил по дороге у конвоира автомат и покончил жизнь самоубийством. Похожий на приведенные выше по трагичности и нелепости случай был в апреле 45-го года на участке соседнего полка нашей дивизии — там застрелили двух молодых русских женщин, угнанных на работы в Германию. Они поплатились жизнью только за то, что на них были юбки и жакеты из немецкого армейского сукна, отчего их приняли за «власовок».

Такое «братание», такой вот обмен «информацией о житебыть» происходил тогда между солдатами Красной Армии и «власовцами», а также теми, кого всего лишь принимали за «власовцев». К сожалению, автор статьи не имеет и малейшего представления о психологии, настроении, убеждениях и, назовем вещи своими именами, ожесточении и ненависти советских военнослужащих, пришедших на исходе четвертого года войны в Германию, — для последних двух чувств почти у всех имелось более чем достаточно оснований.

Что же касается упоминания о советских солдатах, якобы перебежавших на сторону РОА за 25 дней до капитуляции немцев, когда скорое неминуемое поражение гитлеровской Германии было для всех уже несомненным, то это нельзя расценить иначе, чем одну из фантазий писателя.

* * *

О статье Г.Владимова в журнале «Знамя» я услышал впервые по радио.

Молодая, судя по голосу, журналистка с восторгом говорила про идею писателя о том, что в 1944 году советским войскам, дойдя до государственной границы, следовало бы остановиться. Восторгаясь, она не заметила, а Г.Владимов в статье упустил, что в том же абзаце, всего тремя фразами выше, он писал, что, оставив союзников на Западе за «демаркационной линией», надо было дать германской армии и РОА «оперативный простор» «для войны уже на одном лишь фронте» — против России.

Получается, что советские войска, дойдя до государственной границы, должны были остановиться, чтобы дать немецкому вермахту, изрядно потрепанному в летних боях и отбро-

шенному на сотни километров к Германии, оправиться и восстановить военный потенциал.

Журналистка говорила об этом тезисе Г.Владимова с придыханием, как о «новом осмыслении далекой войны», и удивлялась «глубине мышления» писателя. Она молоденькая, и ей простительно, а я-то гожусь ей, наверное, не только в отцы, но и в дедушки, однако память меня, слава Богу, еще не подводит, и тотчас я уловил знакомый мотив.

Через несколько минут я уже держал в руках ксерокопии двух немецких листовок августа 44-го года: «Офицеры и солдаты Красной Армии!.. Сталин обещал Вам мир у Германских границ. Но, несмотря на это, профессионал-обманщик хочет Вас гнать на убой против Германии...» и «Бойцы и командиры!.. Имеет ли для вас смысл продолжать наступление?.. Знаете ли вы, как подло обманывает вас Сталин, обещая остановиться на бывших границах СССР?..»

Вообще-то Сталин никогда никому не обещал остановиться на границах, но это обычная пропагандистская передержка, рассчитанная на «подрыв боевого духа» и «разложение войск противника». Впрочем, далее в текстах обеих листовок, основной тезис которых спустя пятьдесят лет ретранслирует Г.Владимов, содержатся и угрозы: «...Германия готовится к контрудару. Покончите раз навсегда с войной, ибо вы иначе не увидите своих родных». И более того: «Только смерть даст вам возможность остановиться!»

«Глубокое мышление» и «новое осмысление далекой войны», заимствованные из материалов гитлеровской пропаганды пятидесятилетней давности, — хоть стой, хоть падай! Говорят, что якобы в XI веке наши предки лаптем щи хлебали и тележного скрипа боялись, но ведь с той поры прошло 900 (девятьсот!) лет — обидно, что и сегодня нас держат за беспамятных недоумков.

Г.Владимов пишет: «И как ни покажется странным российскому читателю, Алоизович (Гитлер. — В.Б.) до последних дней считал Восточный фронт второстепенным».

Никаких фактов или свидетельств в доказательство этого утверждения, как и во многих других случаях, писателем не приводится, хотя оно не только российскому читателю, но и любому другому, знающему историю Второй мировой войны, должно показаться не только странным, но и абсурдным.

Как мог быть для Гитлера второстепенным Восточный фронт, где Германия понесла две трети всех своих людских потерь во Второй мировой войне, потеряла 74 % танков и 71 % — самолетов? Если Восточный фронт был для Гитлера «второстепенным», почему же там в 1941–1945 годах постоянно находилось большинство немецких, замечу, наиболее боеспособных, дивизий (к примеру: 22.06.41 г. — 70,3 %; 1.05.42 г. — 76,4 %; 1.07.43 г. — 66 %).

«Все, что я делаю, направлено против России» — это навязчивое кредо Гитлера приводится в десятках западных, в том числе и немецких, изданий. (Впервые эта фраза зафиксирована стенографом 11.08.39 г. в беседе фюрера с К.Буркхардтом на вилле «Бергхоф», впоследствии она повторялась многократно в Ставке среди близкого окружения Гитлера вплоть до весны 1945 года.)

А вот обобщающее суждение о нашей «второстепенности» «до последних дней» известного германского исследователя Иоахима К.Феста, автора считающейся на Западе, в том числе и в Германии, наиболее объективной и аргументированной трехтомной биографии Гитлера: «Начиная с зимней катастрофы (разгром немцев под Москвой. — В.Б.), когда ему впервые явился призрак поражения, Гитлер посвящает всю свою энергию — больше, чем до того, — кампании в России и все явственнее пренебрегает из-за нее всеми другими театрами военных действий».

Завоевание жизненного пространства на Востоке, а потому и Восточный фронт были главными, первостепенными для Гитлера не только до последних дней и минут — они являлись, по его убеждению, программой для немцев после его ухода из жизни и основной целью на будущее. В последнем, подписанном им перед самоубийством, документе, именуемом одними историками на Западе «Политическим завещанием Гитлера», а другими — «Письмом к генерал-фельдмаршалу Кейтелю», Гитлер завещал:

«Усилия и жертвы немецкого народа в этой войне были так велики, что я не могу поверить, что они могли быть напрасными. И впредь должно быть целью завоевание немецкому народу пространства на Востоке».

Все эти свидетельства и документы впервые опубликованы в Западной Германии и впоследствии приводились и перепе-

чатывались в десятках изданий. И то, что проживающий там Г.Владимов полностью их и многие другие тексты игнорирует, говорит о его предвзятости, тенденциозности, а также о явной недооценке «российского читателя». Такая метода (а она десятки раз применяется автором и в романе, и в статье) неправомерна и недопустима.

Как можно при создании образа уведенного от суда военного преступника генерала Гудериана более всего руководствоваться только его мемуарами, апологетически прихорашивая «железного Гейнца» и при этом отбрасывая все негативное?..

Как можно, всячески оправдывая генерала-перебежчика А.А.Власова, оценивать его и РОА по опубликованным на Западе воспоминаниям бывших «власовцев» и «энтеэсовцев», а также по книге барда войск СС немецкого писателя Э.Двингера «Генерал Власов. Трагедия на Востоке»?..

К сожалению, сопоставление указанных выше источников с романом и статьей Г.Владимова свидетельствует именно об этом — к примеру, и мифический тезис о том, что Власов спас в 1941 году Москву, и трогательное братание советских военнослужащих с «власовцами» заимствованы отсюда. Если же в книге С.Фрëлиха «Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным» нет восславления Власова и, более того, подчас содержатся сдержанные оценки генерала-перебежчика и его окружения, то это издание среди приводимых в статье источников, которыми, воспевая Власова и РОА, вдохновлялся Г.Владимов, даже не упоминается.

Г.Владимов не оригинален. Стремление умалить наше участие в разгроме гитлеровской Германии и суждения о нашей «второстепенности» возникли еще в конце 40-х годов, в разгар «холодной войны». В этом на Западе десятилетиями направленно упражнялись публицисты и отдельные историки, и результат очевиден: к примеру, если летом 1945-го в далекой Франции 53 % опрошенных заявили, что Советский Союз сыграл решающую роль в победе над фашизмом, то летом 1994 года об этом сказали всего лишь 11 %. Если так пойдет дальше, то в недалеком будущем окажется, что во Второй мировой войне мы вообще не участвовали.

Для этого делается многое. На празднование 50-летия Победы в Америку были приглашены участники войны из мно-

гих стран — только российских не позвали. В середине марта мне позвонили и сказали: «Американский общественный фонд «Русский дом в Вашингтоне» настолько возмущен несправедливостью, что они решили за свой счет пригласить ветеранов из России, в том числе и вас». Я человек не публичный и отказался, однако то, что за океаном есть люди, помнящие, что в 1941–1945 годах мы не на печи лежали, — приятно, только оскорбительно, что на государственном уровне нас, систематически лишая статуса державы-победительницы, из Второй мировой войны практически выдавили.

Даже в славянских странах разрушают и оскверняют памятники погибшим советским воинам. Известно, каких усилий стоило российским дипломатам заполучить в Москву на 9 мая Клинтон, Коля и руководителей некоторых других государств: они согласились приехать, чтобы, как сообщалось, «поддержать президента и проводимые им реформы».

Зимой — прибывшему во главе делегации на 50-летие освобождения Освенцима, председателю Госдумы И.Рыбкину не дали слова, а узников из России вообще не пустили, хотя освобождали Освенцим советские войска и при этом ушли в землю тысячи наших соотечественников. И Рыбкин утерся, и все промолчали.

А в прошлом году Россию не позвали на празднование 50-летия высадки союзников в Нормандии, хотя туда были приглашены главы десятков стран. Журналисты повозмущались, президент же утерся и промолчал, а если бы высунулся, то даже самые близкие друзья — Билл и Гельмут — могли ему сказать:

— Ты, Боб, даже не возникай! Тебе разве неизвестно, что в мае сорок пятого победила одна из разновидностей фашизма — сталинизм? Ты что, книг и журналов не читаешь? Ты разве не знаешь, что во Второй мировой войне вы, русские, были второстепенными?! Двадцать семь миллионов погибло?.. Так это ж не люди были, а сталинские зомби, мутанты! Неужели ты не знаешь, что они за сто граммов водки воевали?! Понимаешь, за полстакана водки ложились на амбразуру или с гранатами под танки бросались!.. Ты разве не знаешь, что господин Гитлер и господин Власов пытались освободить Россию еще полвека назад, а эти зомби им помешали?.. И неудивительно, что у вас полмиллиона пятьдесят лет валяются незахороненными, — ничего другого они и не заслужили! И ты, Боб, не возникай! Что

касается кредитов, то если будете себя хорошо вести — отстегнем! А вот насчет статуса державы-победительницы и уважения, извини-подвинься, — каждый должен знать свое место!..

Я понимаю антисоветизм и антикоммунизм Г.Владимова — для этого у него достаточно оснований. Я искренне ему сочувствую как человеку, после многих притеснений выдавленному из России, и то, что перед ним как перед пострадавшим от репрессалий до сих пор не извинились и не вернули утраченную в Москве квартиру, аморально и противоправно.

Однако как автор романа и статьи, крайне предвзято и, более того, злокачественно изображающий и трактующий советских людей — именно людей, а не систему! — и Отечественную войну, о которой он имеет, к сожалению, отдаленное и весьма искаженное представление, как писатель, апологетирующий военного преступника Г.Гудериана и генерала-перебежчика А.А.Власова и при этом в упор игнорирующий исторические факты и свидетельства (даже если они содержатся в западных, «чистых» источниках), в упор игнорирующий любую информацию, опровергающую его умозрительные облыжные построения, заимствованные из книг бывших «власовцев» и «энтеэсовцев», он поступает столь же аморально и противоправно по отношению к десяткам миллионов живых и мертвых участников войны, и более того — к России.

Антисоветизм В.Максимова и А.Солженицына отличается от антисоветизма Г.Владимова тем, что если у двух первых объектом неприятия и ненависти являются режим, тоталитарная система и ее функционеры, исполнители, несущие и насаждающие зло, то Г.Владимов в своем романе с неприязнью и ненавистью относится даже к упоминаемым мельком рядовым советским солдатам — стыдно здесь повторять оскорбительные словосочетания-подлянки, в шести местах брошенные им походя в адрес людей, две трети из которых отдали жизни в боях за Отечество.

В своих интервью писатель настойчиво аттестует себя реалистом, однако реализм предполагает объективность изображения и верность жизненным реалиям, а не идеологическую тенденциозность и основанное на ней беззастенчивое сочинительство. Именно поэтому роман «Генерал и его армия» неправомерно выдавать за «новое видение» или «новое осмысление» войны — это всего лишь новая — для России! — мифология, а точ-

нее, фальсификация, цель которой — умаление нашего участия во Второй мировой войне, реабилитация и, более того, восславление — в лице «набожно-гуманного» Гудериана — кровавого гитлеровского вермахта и его пособника генерала Власова, новая мифология с нелепо-уничижительным изображением советских военнослужащих, в том числе и главного персонажа, морально опущенного автором генерала Кобрисова.

О ГАМБУРГСКОЙ КОЛБАСКЕ, ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ
И ОТХОДАХ ИСТОРИИ
(ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФРАГМЕНТУ)

В последние годы в процессе изничтожения «проклятого тоталитарного прошлого», очерняя по указанию «сверху» и по собственной угодливой инициативе Отечественную войну и ее участников, молодежи прививали убеждение, что если бы их деды и отцы проиграли войну, то в России бы сегодня жили по «евростандартам», как в Германии или Франции. Недавно внук моего знакомого, инвалида войны, неглупый, начитанный девятнадцатилетний юноша, всерьез убеждал меня и своего деда, что если бы мы проиграли немцам войну, то он бы сегодня на студенческую «стипуху» «выпивал бы в день пять банок пива и закусывал бы гамбургской колбаской». Как это ни удивительно, подобные же бредовые иллюзии сегодня публично высказывают и дважды, и трижды совершеннолетние люди.

Давайте, наконец, вспомним — что же светило бы России и русскому народу, если бы в той войне победила Германия?..

Чтобы не быть голословным, обращаюсь к первоисточникам: «Застольные разговоры Гитлера», записи личных стенографов фюрера — Г.Гейма и Г.Пикера; впервые опубликованы в 1951 году в ФРГ; цитируется по изданию, выпущенному в Смоленске фирмой «Русич» в 1993 году.

Итак, слово фюреру. 19 февраля 1942-го, ночь, «Вольфшанце»:

«...Русские живут недолго, 50–60 лет. Почему мы должны делать им прививки? Действительно, нужно применить силу в отношении наших юристов и врачей: запретить им делать этим туземцам прививки и заставлять их мыться. Зато дать им шнапсу и табаку, сколько пожелают...» (с. 82).

Запись начала марта 1942-го, полдень, «Вольфшанце»:

«...мы не должны направлять немецких учителей на восточные территории... Самое лучшее было бы, если бы люди там освоили только язык жестов. По радио для общины передавали бы то, что ей полезно: музыку в неограниченном количестве. Только к умственной работе приучать их не следует, и не допускать никаких печатных изданий...» (с. 96).

Эти основополагающие высказывания Гитлера можно дополнить цитатой из меморандума рейхсфюрера СС Гимmlера «Об обращении с инородцами на Востоке»:

«Для не немецкого населения Востока не должно быть обучения выше, чем четырехклассная народная школа. В этой народной школе должны учить лишь простому счету до пяти-сот, написанию своего имени и тому, что Господь Бог требует слушаться немцев и быть честным, прилежным и порядочным. Умение читать я считаю излишним. Никаких других школ на Востоке вообще не должно быть».

Поскольку Гитлер «самым лучшим образованием» определил для «туземцев» — так он называл русских — освоение «языка жестов», что не соответствовало предложенному Гимmlером обучению «счету до пятисот», тот вносит коррективу и, выступая в сентябре 1942 года в районе Житомира перед высшими руководителями СС и полиции на юге СССР, заявляет:

«Принципиальная линия для нас абсолютно ясна — этому народу не надо давать культуру. Я хочу повторить здесь слово в слово то, что сказал мне фюрер. Вполне достаточно, во-первых, чтобы дети в школах запомнили дорожные знаки и не бросались под машины; во-вторых, чтобы они выучили таблицу умножения, но только до 25; в-третьих, чтобы они научились подписывать свою фамилию. Больше им ничего не надо».

Это не параноидальный бред больных в психиатрической больнице, это директивные безапелляционные высказывания людей, захвативших силой и подмявших под нацистскую свастику кроме Германии еще одиннадцать государств Европы и оккупировавших к этому времени (сентябрь 1942 года) советскую территорию от Бреста до Волги и Эльбруса, территорию с населением около 70 миллионов человек.

Специально для «выбороссовской» радиосоловьиши, сладко певшей однажды, как чудненько жилось бы в России, если бы во время войны генерал Власов вместе с немцами освободил

бы Россию, и насколько бы облегчилась тогда жизнь русских женщин, позволю себе процитировать всего лишь одну фразу из выступления того же Гимmlера в 1943 году в Познани перед гауляйтерами и высшими руководителями СС:

«Погибнут или нет от истощения при создании противотанкового рва десять тысяч русских баб, интересует меня лишь в том отношении, готовы ли будут для Германии противотанковые рвы».

Подобных высказываний главарей Третьего Рейха — Гитлера, Геринга, Геббельса, Гимmlера и Розенберга — зафиксировано в стенограммах и других немецких документах сотни.

Может, вместо того, чтобы инициировать, спонсировать и впрямую финансировать очернение в книгах и периодике (в том числе и путем подлогов, фальсификации и клеветнических измышлений) величайшей в нашей истории трагедии — Отечественной войны — и тем самым способствовать очернению десятков миллионов ее участников — живых и мертвых предков сегодняшних россиян, — вместо того, чтобы топтать сотни тысяч могил и унижать и оскорблять еще не успевших уйти из жизни ветеранов, следовало бы выпустить сборники подлинных документов гитлеровской Германии, свидетельствующих о том, что светило России и ее населению, если бы немцы выиграли войну?

Может быть, тогда меньше юнцов тянулось бы в молодежные нацистские организации и гитлеровская символика для многих потеряла бы привлекательность?

Может, тогда миллионы современных молодых людей осознали бы, какая «гамбургская колбаска» и какие «пять банок пива в день» предназначались им, если бы мы проиграли войну, и сообразили, что в «четырёхклассной народной школе» «стипухи» бы не полагалось, хотя выбор образования все же имелся бы: от освоения «языка жестов» до обучения — по высшему разряду — знанию дорожных знаков, счёту до 25 и написанию своей фамилии.

Несомненно, в современной школе следует доводить до сознания каждого подростка, что целью Гитлера и Германии в той далекой войне было не мифическое «освобождение России от большевизма», как по сей день утверждают бывшие «власовцы», «энтеэсовцы» и некоторые «выбороссы», а установление «немецкого мирового господства на века» (А.Гитлер) и, прежде

всего, присоединение огромной территории на Востоке с обязательным уничтожением 30–40 миллионов человек (слабых, евреев, цыган и неблагонадежных), с переселением 60–70 миллионов советских людей в Сибирь и Среднюю Азию и оставлением 20–30 миллионов в качестве рабов для немцев, призванных колонизировать Украину, Белоруссию и Русскую равнину до Урала.

Может, если бы россияне, как молодые, так и люди среднего поколения, осознали, от чего в 1941–1945 годах спасли Россию и уберегли ныне живущие поколения, эти старые, — отходы истории! — опущенные сегодня в нищету, унижения и полное бесправие участники войны, они бы не называли их «доходягами», что стало в последнее время нормой, и не говорили бы им в лицо, как теперь слышится нередко: «Хоть бы скорее вы все передохли!..»

1995 г.

Заметки

КАК Я ПОЛУЧАЛ ОРДЕН

В 1967 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября «За заслуги в развитии советской кинематографии и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся» В.О.Богомоллов как кинодраматург был награжден орденом «Знак Почета».

В.О.Богомоллов эту награду принял, но... спустя полтора года.

Указ о награждении и присланная по этому поводу поздравительная телеграмма Л.А.Кулиджанова, тогда Первого секретаря Союза кинематографистов СССР, оказались для меня неожиданными и вызвали, по меньшей мере, удивление.

Как я потом понял, руководство Союза кинематографистов посчитало вдруг неудобным, что фильмы «Иваново детство» и «Зоя» получили международное признание и отмечены массой разных премий, награды получили многие — от режиссера, оператора, актеров до технических специалистов, но при этом в обойме награжденных и премированных не оказалось автора сценариев этих фильмов, поэтому включили меня по какому-то кампанейскому случаю в список отличившихся для представления к очередным наградам.

То, что это была «кампания», не вызывало сомнений: среди награжденных «трудовиком» — (орденом «Трудового Красного Знамени». — прим. Р.Г.) были известные режиссеры — Э.Рязанов, Г.Чухрай, В.Шукшин и актеры — В.Санаев, С.Столяров, М.Штраух; среди отмеченных «почетом» (орденом «Знак Почета». — прим. Р.Г.) я оказался среди симпатичных мне людей — очень мною уважаемого талантливой режиссера Л.Гайдая и великолепной актрисы Э.Быстрицкой, но подавляющее большинство из «заслуживших эти высокие награды» были чиновники от киноискусства — начальник Главного Управления

Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР, три его заместителя, инструктор отдела культуры ЦК КПСС, зам. председателя исполкома и т.д. — это люди-прилипалы, которые всегда умели, благодаря занимаемым должностям, вовремя поблагодарить себя от лица государства. Увесив себя «побрякушками», они были убеждены, что без их «творческого полета» и многолетней «руководящей роли» советский кинематограф не достиг бы таких огромных успехов.

Однако я был единственным, которого при обосновании награды обозвали кинодраматургом, тем самым причислив к цеху людей, профессионально занимавшихся этим видом творческой деятельности, среди которых было много талантливых и уважаемых мною людей.

Я же кинодраматургом себя не считал, ибо мой «вкладыш» в развитие советской кинематографии состоял в написании только авторских сценариев «Ивана» и «Зоси» (до того я сценарии не писал).

Меня просто развеселила парадоксальность ситуации: прозаик В. Богомолов представлен к награде не за литературные произведения, а лишь за сценарии по своим произведениям, то есть их интерпретацию и адаптацию к языку кинематографа.

Принимать эту в определенной мере двусмысленную для себя «железку» я не собирался. В течение года мне несколько раз звонили из наградного отдела Президиума Верховного Совета СССР, но каждый раз я, сославшись на болезнь, за ней не являлся.

В начале 1969 г., по-видимому, сменилась секретарь этого отдела: жутко настырная баба стала названивать мне каждый месяц. Выслушав очередную мою байку про болезнь, она вдруг решительным голосом заявила, что если я такой больной и инвалид, то за мной пришлют машину и в сопровождении врача доставят в Кремль на церемонию награждения, которая состоится 12 апреля, или, в крайнем случае, при моем согласии, награду мне доставят на дом, но «это будет не так торжественно...» (а жил я тогда в крохотной однокомнатной квартире, где и двоим разойтись можно было с трудом).

Перспектива принять посыльных из Кремля на лестничной клетке мне совсем не понравилась, поэтому я вынужден был пойти на эту церемонию в Кремль. Одетый как обычно, по-демократичному (я вообще не носил костюмов, пиджаков,

а тем более галстуков, которые меня физически стесняли и душили): в темно-синюю трикотажную рубашку и темные брюки, я прибыл в Кремль.

В Георгиевском зале — огромном, торжественном, сверкающем люстрами — я скромно расположился в последнем ряду, с интересом рассматривая через очки с тонированными стеклами уникальный интерьер — лепнину, колонны, стены, украшенные множественными изображениями Георгия Победоносца, и одновременно внимательно наблюдая за церемониалом: вручение наград происходило последовательно по степени уменьшения их значимости — в начале «Звезда Героя», орден Ленина ... орден Трудового Красного Знамени, и где-то в конце — орден «Знак Почета».

В первых рядах сидели военные в парадной форме и группа гражданских в торжественных строгих костюмах — как потом мне стало понятно, это были люди из оборонного ведомства и космоса, получавшие награды разного, но высокого достоинства, по закрытому списку (я специально потом читал Указ, и фамилий таких в списках не было).

Вручал награды Георгадзе Михаил Порфирьевич, Секретарь Президиума Верховного Совета СССР, ассистировала ему еще молодая (до 40 лет), миловидная женщина в элегантно строгом костюме: она передавала Георгадзе открытую коробочку с орденом, которую тот вручал очередному награжденному: пожимая руку, он каждому произносил: «Поздравляю! Желаю дальнейших успехов в работе».

Все шло быстро и без сбоев, как вдруг один из награжденных нарушил отрежиссированный ритуал: братка-белорус П., взойдя на подиум, еще до получения награды, начал что-то радостно и оживленно говорить Георгадзе и первым протянул ему руку. После минутного замешательства Георгадзе вложил в висевшую все это время в воздухе руку П. награду и с каменным лицом произнес все то же «поздравляю» и «желаю успехов в работе» и больше ни одного живого человеческого слова из себя не выдавил, а ведь, судя по всему, он знал его лично; ну, хотя бы здоровья пожелал — П. по возрасту было под 70 лет.

Наконец дошла очередь до списка награждаемых орденом «Знак Почета», и дама назвала мою фамилию.

Я медленно, хромя, припадая на одну ногу, из последнего ряда почти ползу по ковровой дорожке прохода — это ме-

тров 50–60. Со страданием на лице, якобы от испытываемой при ходьбе нестерпимой боли, поднимаюсь на несколько ступенек. Лицо ассистентки Георгадзе, моей мучительницы, вытаскивающей меня сюда, на «торжественную церемонию», — она, кажется, считала каждый шаг моего демонстративно медленного передвижения и все поняла, — покрылось красными пятнами. Испепеляющим взглядом, в котором были и гнев, и презрение, она окинула меня с ног до головы и, не сдержав раздражения, прошипела в спину: «Для такого случая могли бы и приличнее выглядеть, хотя бы надеть пиджак и галстук»¹.

Получив свою порцию дежурных слов к коробочке с «железкой», с непроницаемым лицом я так же медленно проковылял по дорожке к выходу...

¹ В. О. Богомолов не признавал никаких условностей, а тем более диктата, «приличествующего случаю», в одежде — носил только то, что находил для себя удобным, невзирая ни на какие мнения и обстоятельства.

О ПОЛОЖЕНИИ В ЛИТЕРАТУРЕ¹

Два десятилетия двух действительностей, двух моралей и лицемерия.

За эти десятилетия стали нормой приятельство, протекционизм, откровенный блат, кумовство, взаимные услуги, подарки и взятки. При этом интересы государства, как правило, оказывались на втором месте, на всех уровнях одерживали верх и торжествовали личные, карьерные, а то и чисто денежные корыстные интересы, торжествовали неофициальные контакты и связи, как следствие, процветал массовый систематический обман государства и граждан. В этой обстановке происходили растление и деградация людей, причем преуспевали и выдвигались зачастую беспринципные, некомпетентные и бесчестные люди.

Эти растление и деградация не могли не отразиться и на литературе, где воцарилась оценка литературных произведений по должностям авторов, что привело к деформации критериев и созданию дутых величин, когда, в частности в литературе, второсортные беллетристы и поэты были возведены в ранг видных и даже выдающихся (Г.Марков, С.Сартаков, А.Ананьев, И.Стаднюк, А.Иванов, Е.Исаев и др.).

Десятилетиями поддерживались и возвеличивались книги и кинофильмы, в которых благостное изображение действительности ничуть не соответствовало реальной жизни, а созданные в этих произведениях положительные образы были надуманными и недостоверными. Трудности и противоречия в этих книгах и кинофильмах всячески приуменьшались,

¹ В этом незаконченном наброске В. О. Богомолов отражает свое, сугубо личное, мнение на оценку событий в мире культуры и литературы 80-х годов прошлого века.

успехи и достижения выпячивались, а жизнь советских людей приукрашивалась, читатель и зритель видели несоответствие изображаемого реальной действительности, в результате официально поддерживаемые и усиленно тиражируемые произведения воспринимались как лживые рекламные агитки и действенной отдачи в нашей идеологии принести не могли.

В условиях деформации и размыва критериев в творческие союзы были широко открыты двери для людей бездарных, лишенных не только таланта, интеллигентности и внутренней культуры, но и самых элементарных нравственных устоев.

В частности, в Союз писателей были приняты тысячи неспособных к созданию оригинальных художественных произведений, лишенных твердой морали людей, которые при отсутствии таланта для утверждения в литературе стали объединяться в группы, связанные не творческими или общественными, а личными корыстными интересами.

Групповая борьба в Союзе писателей в значительной мере объясняется стремлением многих сотен и сотен бездарных авторов при поддержке других членов той же группы опубликовать свои серые неполноценные произведения. Отсюда – возникновение патернализма: большинство писательских секретарей и главных редакторов имеют своих вассалов, которые охотно выполняют их различные поручения – восславление хозяина, охаивание его противников и оппонентов, голосование за или против и т.п., – со своей стороны хозяева поддерживают этих вассалов, помогают им с изданием книг и публикациями, созданием литературного имени, защищают от критики.

Постоянная внутривидовая групповая борьба во многом определяет климат в творческих союзах. Даже честные люди, в том числе и занимающие руководящие должности, не решаются выступать принципиально из-за боязни стать объектом нападков и организованной травли. Занимающие руководящие посты лица, обладающие властью и распределяющие жилье и ценности (тот же Ф.Кузнецов), на любом совещании, собрании, пленуме или даже съезде могут организовать нужные выступления с целью опорочивания и дискредитации своих оппонентов.

Стоило И.Дедкову опубликовать критическую статью о романе Ю.Бондарева «Игра», как было организовано его пре-

следование, появились грубые статьи с нападками на Дедкова, на последнем пленуме МО ССП критик Бондаренко, в угоду сидевшему в президиуме Ю.Бондареву, с трибуны называл И.Дедкова «беспринципным карьеристом» и другими оскорбительными словами.

Стоило в «Правде» появиться статье, критикующей роман В.Белова, как восславляющий и всячески поддерживающий В.Белова его земляк и приятель Ф.Кузнецов на том же пленуме организовал осуждение этой статьи и принятие соответствующей резолюции.

Десятилетиями в творческих союзах создавалась атмосфера беспринципности, приятельства, круговой поруки и элитарной вседозволенности, размывались моральные устои. Ю.Семенов в нетрезвом виде застрелил на охоте егеря, отца двух малых детей, он же, спустя годы, находясь за рулем, задавил человека и, не оказав помощи, пытался скрыться; в обоих случаях он был уведен от уголовной ответственности хлопотами прежде всего своего тестя — С.Михалкова. М.Таривердиев в состоянии подпития задавил семнадцатилетнего юношу и тоже, не оказав помощи, пытался скрыться, его спас от суда Т.Хренников. Ю.Сбитнев также задавил женщину, мать десятилетнего ребенка, но опять же был уведен от ответственности главным редактором «Огонька» А.Софроновым, у которого работал в то время заместителем. И.Архипова отстояла от суда своего сожителя, певца В.Пьявко, по вине которого погибла молодая девушка.

Эти и десятки других случаев вселили в очень многих деятелей литературы, искусства и кино уверенность в своей исключительности, элитарности, вселили убеждение в безнаказанности и вседозволенности.

Особо разнузданно ведут себя люди, вхожие к членам Политбюро и секретарям ЦК партии. С.Бондарчук был забаллотирован на сессии комитета по Ленинским и Государственным премиям, но визитами к К.У.Черненко и В.В.Гришину в течение двух дней овладел ситуацией и получил Государственную премию. Ю.Бондарев свои романы «Берег», «Выбор» и «Игра» печатал параллельно в толстых журналах и в «Огоньке», что не предусмотрено действующим законоположением, таким образом, ему незаконно были выплачены десятки тысяч рублей, и он еще больше проникся убеждением в своей элитарности,

исключительности и неприкасаемости. Ч.Айтматов, бывая за рубежом, заключает контракты на издание своих произведений и получает гонорары там же, за рубежом, не отдавая государству положенные налоги и сборы, и получить их с него Всесоюзное агентство не в состоянии.

В обстановке беспринципности, приятельства и круговой поруки небывало снизился моральный уровень членов творческих союзов. Если, например, за публикацию стихотворения в «Метрополе», пусть и не антисоветского содержания, могут исключить из Союза писателей, то аморальные проявления, сколь бы серьезными они ни были, даже не осуждают.

Такое невмешательство объясняется прежде всего тем, что большинство руководителей творческих союзов само скомпрометировано своими доходами и беспринципностью. Моральный климат таков, что беспринципные проходимцы, умеющие обделывать свои дела и объединенные при этом корыстью и нечестностью, вызывают у многих членов творческих союзов не осуждение, а зависть и восхищение ловкостью и доходами, эти бесчестные люди действуют группами и открыто торжествуют.

В последние годы небывало распространилось то, что получило название «перекрестное опыление».

Посредственные беллетристы и поэты, занимающие должности в издательствах и литературном ведомстве, действуя по принципу «я тебе, ты мне», без объявления в плане издают друг друга, причем какой-нибудь В.Еременко издается в СССР не меньше, чем Г.Бакланов, В.Распутин или В.Быков. Таких «играющих тренеров» (печатающихся издателей) с каждым годом становится все больше, перекрестное опыление, подобно метастазам, стало настоящим бедствием, поскольку теперь уже значительный процент выходящих книг выпускается по формуле: «Баш на баш, дашь на дашь!»

Разумеется, от перекрестного опыления писатели с именем страдают мало, но молодым начинающим авторам перекрестное опыление перекрывает кислород. О том, как трудно молодым издаваться, опубликованы десятки статей, но положение не меняется, а перекрестное опыление, результатом которого является серость литературы (тот же В.Еременко, Д.Евдокимов, Л.Фролов, Н.Машовец и десятки других, зани-

мающих меньшие должности), получает с каждым годом все большее распространение.

Привитое почти всем руководящим работникам на различных уровнях стремление не брать на себя никакую ответственность привело к деградации литературы и искусства. Серым, вторичным произведениям в кино и в литературе открыта зеленая улица, они выпускались и выпускаются тысячами, в то же время оригинальные произведения встречают при прохождении в редакциях и на киностудиях препятствия и полные запреты. Кинофильм Э.Климова «Агония» волевым указанием В.Гришина был положен на полку и пролежал десять лет. Другой фильм этого же режиссера – «Иди и смотри» – был прикрыт в момент начала съемок в 1977 году. Картина была снята только в 1985 году по тому же самому сценарию (в процессе съемок он назывался «Убейте Гитлера») и получила самую положительную оценку (представлена на Ленинскую премию).

Более полутора лет чинились препятствия публикации романа «Момент истины» («В августе сорок четвертого...»), чтобы не нести никакой ответственности, издатели посылали рукопись на экспертные чтения в различные ведомства, причем каждое предъявляло свои замечания и требования, подчас совершенно нелепые и, как правило, находящиеся за пределами компетенции этих ведомств. Когда же автор протестовал и доказывал несостоятельность, нелепость и, более того, абсурдность этих замечаний и требований, ему совершенно спокойно объясняли, что они «написаны людьми, не имеющими отношения к художественной литературе». Роман, законченный в начале 1973 года, вышел в свет только в декабре 1974 года, был напечатан в первоначальном виде (что доказывает произвольность всех этих замечаний и требований), без каких-либо изменений, причем получил только положительную оценку и издан в течение десятилетия более чем десяти-миллионным тиражом.

1985 г. (?)

О ЛЬГОТАХ УЧАСТНИКАМ ВОВ

Недавно, провожая на Белорусском вокзале товарища, я оказался рядом с изнывавшей от тридцатиградусной жары очередью за билетами. Было душно, тяжело, люди обливались потом, а тут какой-то старикан в облезлом пиджачишке, навьюченный тремя сумками и, судя по всему, приезжий, вытащил удостоверение и полез к окошечку, сбивчиво повторяя, что он участник войны; он произносил это жалобно, с какой-то затравленностью, словно предчувствовал, ожидал, что его сейчас обматерят и выкинут назад или даже станут бить.

Но ничего этого не случилось, только стоявшая в метре от меня молодая хорошенькая женщина с высоким благородным лбом — красивое, открытое лицо жены декабриста, великомученицы середины девятнадцатого века, хотя вся она была в наимоднейшей «фирме» — не выдержав, с удивительной искренностью негромко вздохнула: «Хоть бы скорее они все передохли...» И мальчик лет шести — с таким же хорошим красивым лицом и длинными, крепкими, как у мамы, ногами и так же по моде во все заграничное одетый — посмотрел на мать с сочувствием и тоже огорченно вздохнул.

Я понимаю, что эта льгота — «обслуживаются вне очереди» — государству не стоит и копейки и наверняка была придумана финансистами. Я только не могу понять, как можно вводить привилегию участникам войны за счет всего остального населения и почему сотни миллионов моих соотечественников, и без того уставших и буквально звереющих от неизбежного стояния в бесконечных очередях, должны оплачивать эту льготу своим временем?

В государстве, где для стариков-ветеранов приняты льготы, настраивающие против них остальных граждан, необходимо

хотя бы довести до сознания людей, что это обусловлено неизбежной напряженкой в бюджете, то есть нашей бедностью.

Также следовало бы широко разъяснить, что во всех цивилизованных странах льготы для участников войны несравненно больше, чем у нас, и что, например, во Франции пенсии даже рядового участника войны — солдата или матроса — выше пенсий, которые получают у нас генералы и адмиралы, а уж сколько получают там участники войны генералы и адмиралы, я и упомянуть не решаюсь, чтобы серией инфарктов не парализовать работу родных нам всем и близких Минфина и Госплана. Никак не желая обидеть французов, позволю высказать убеждение, что за четыре года самой чудовищной и кровопролитной в истории человечества войны советские воины сделали даже не в десятки, а в сотни или в тысячи раз больше, чем французские, и хлебнули столько лиха, сколько никому и не снилось, отчего, без сомнения, заслуживают большего.

Не мешало бы также разъяснить, что и эти мизерные льготы участникам войны были введены у нас одновременно с выдачей удостоверений в 1980 году, то есть спустя тридцать пять лет после Победы, когда большинство вернувшихся с войны уже ушло из жизни. Так что и здесь государством десятилетиями успешно претворялось в жизнь историческое высказывание Л.И.Брежнева: «Экономика должна быть экономной!»

Замечу, что весной 1979 года в Белоруссии постановлением, принятым по инициативе П.М.Машерова, участникам войны был разрешен бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси), о чем объявили в газетах. Однако постановление это еще до вступления в силу было отменено по указанию Брежнева.

В отличие от руководителей многих других регионов и ведомств, щедрых на публичное исполнение противоестественной процедуры и на подношения Брежневу за счет казны и злоупотреблений дорогостоящих подарков, имеющих характер взяток, Машеров, сколь его ни побуждали из Москвы, ни разу до этого не опустился. Брежневу и его окружению он не отстегнул и грамма своего достоинства или достоинства республики, отчего не только у Леонида Ильича, но и у зятя его, Чурбанова, вызывал острую неприязнь, которую, посещая Минск, они прилюдно демонстрировали.

Осмелюсь здесь заметить, что руководителям Белоруссии, оказавшейся сегодня экономически более благополучной, чем другие регионы в условиях хозрасчета и возросшей самостоятельности, не грех бы показать пример другим и возродить постановление № 139 от 26 апреля 1979 года, похороненное по указанию Брежнева; это было бы не только пусть крохотной, однако не ущемляющей интересов остального населения, льготой участникам войны, но и данью уважения к памяти великого сына белорусского народа Петра Машерова.

Хорошенькой женщине с лицом декабристки я искренне желаю, чтобы через 35–40 лет, если, не дай бог, ей придется в автобусе, в вагоне метро или в троллейбусе балансировать с сумками на деформированных возрастом больных ногах, кто-нибудь из молодых уступил бы место и чтобы на склоне лет ее на каждом шагу не угощали булыжниками социального бездушия.

Я от души желаю ей, чтобы родной сын, с таким пониманием воспринимающий сейчас каждое мамино слово, не отправил бы в старости ее — сегодня такую молодую, красивую и благополучную — на мучительное дожитие в богадельню для престарелых.

Я искренне хочу, чтобы в двадцать первом веке уже в пожилом возрасте ни ей, ни людям ее поколения не пришлось бы слышать пожелания поскорее подохнуть.

Все стареют, но никто не молодеет, и на исходе жизни не надо никого подталкивать и добивать даже словом, ибо если с этим сегодня не покончить, все это неуважение и неприязнь или ненависть выплюнут и нынешним молодым их дети и внуки.

1985 г.

С МАТОМ ПО ЖИЗНИ

(«ОБЩАЯ ГАЗЕТА», 1994, 11–17 МАРТА)

Ненормативная лексика вошла в мою жизнь в раннем детстве и, полагаю, будет сопутствовать мне до могилы — иного в России не дано.

Впервые в жизни меня болезненно наказали в три или в четыре года — я принес с улицы и ретранслировал непонятные слова, оказавшиеся матерщиной. Далее в дошкольном возрасте за ненормативную лексику меня наказывали не раз, и осмыслить это по малолетству было невозможно: сидят на завалинке взрослые дяди, курят и беседуют, пересыпая свою речь определенными выражениями, и ни у кого это не вызывает замечаний; теми же самыми словами в отсутствие бабушки оснащает свою речь и дед, однако стоит тебе произнести их при людях, и тебя жестоко порют ремнем. Даже живший в Ленинграде дядюшка, самый образованный из всей родни, грешил матерщиной, и всякий раз его молодая красивая жена спокойно не улыбаясь замечала: «Чем мать, легче козу поймать!»

Позднее в школе и на улице среди мальчишек ненормативная лексика звучала на каждом шагу и должна была, очевидно, свидетельствовать о возмужании подростков. Впрочем, что такое настоящая убойная матерщина, я узнал в Действующей армии, где в минуту предельного напряжения приказания и угрозы, сопровождаемые нецензурной бранью, особенно доходчивы и эффективны. В декабре 1943 года во время боев под Житомиром я, семнадцатилетний взводный, случайно услышал по связи переговоры и приказания командиров корпуса и дивизии и был, без преувеличения, ошеломлен — до того я был убежден, что матерщина бытует в социальной низовке и в армии культивируется на уровне роты и батальона, а тут яростно, убойно матерились полковник и генерал.

Когда же спустя полвека я прочел в газете запись переговоров высокопоставленных генералов во время кончившегося трагически пролета южнокорейского «Боинга» в нашем воздушном пространстве, запись, в которой каждая третья фраза оказалась оснащенной матерщиной, я ничуть не удивился.

Армия, война, офицерство — это десять лет моей жизни, за эти годы я побывал в семи частях и соединениях, в четырех стрелковых полках и в трех бригадах: воздушно-десантной, механизированной и горно-стрелковой, — и в моей памяти сохранились сотни офицеров, людей разного возраста, образования и менталитета, из них я могу назвать лишь двух, которые никогда не матерились, чем выделялись и смотрелись белыми воронами: один — старший лейтенант, командир минометной роты, истинно верующий, религиозный человек, отчего у него были неприятности с политработниками, и кончилось это тем, что с передовой его отправили во фронтовой психогоспиталь; второй был майор, начхим дивизии, из крещеных татар, до войны доцент Казанского университета, странный молчаливый интеллигент, не бравший в рот спиртного и обращавшийся даже к рядовым исключительно на «вы», у него тоже была репутация «чокнутого», и по окончании войны его сразу же демобилизовали.

В 1948 году, будучи офицером, из-за отсутствия парохода я добирался из Петропавловска во Владивосток на попутном тральщике Камчатской военной флотилии. Это был новенький небольшой корабль — восемь офицеров и полсотни матросов и старшин — полученный из Америки по ленд-лизу. Я был изумлен чистотой и порядком в матросских кубриках, высокой культурой и этикетом в кают-компании. Матросы спали в отличных подвесных койках с белоснежными простынями и наволочками, и ни один из них не пил обеденный компот, не остудив его предварительно в настенном портативном холодильнике. После нескольких лет, проведенных в полевых условиях на войне, а затем на службе в отдаленных северных гарнизонах Дальнего Востока, после семи лет жизни в землянках, блиндажах и обвалованных снегом палатках, тральщик показался мне вершиной новейшей цивилизации и культуры. Не менее я был восхищен и обстановкой в кают-компании, где обедали все вместе, кроме вахтенного офицера, и даже к лейтенантам обращались по имени и отчеству, велся негромкий,

с юмором, интеллектуальный разговор, никто никого не перебивал и ни разу не произносились грубые слова. Особенно меня впечатлили командир тральщика и старший помощник, лет 28–30 капитан-лейтенант, с речью, манерами и учтивостью профессоров или даже дипломатов. Я не мог не думать о том, насколько морские офицеры образованней, культурней и содержательней сухопутных, и с грустью осознал, что это другой мир и совсем другие люди; я заметил, что даже боцман, распоряжаясь приборкой палубы матросами, не допускал матерных выражений.

На третьи сутки разыгрался сильнейший шторм, и к ночи случилось несчастье — с палубы смыло вахтенного матроса. Тотчас приостановили машины, врубили прожектора, включили ревун, развернулись и начали маневрировать. Мрачные, тягостные минуты: многометровые, черные в ночи волны, заваливающие небольшой корабль то на бок, то на корму, то на нос, низкая видимость из-за жесткого, летящего от горизонта снега и гнетущее ощущение бесполезности или безнадежности всех прилагаемых усилий. Это продолжалось не менее часа, и все это время по корабельной трансляции звучали голоса командира тральщика и старпома, точнее, гремела яростная, ошеломительная матерщина — матроса посчастливилось поймать лучом прожектора, пробковый спасательный жилет удерживал его на воде в вертикальном положении, был он уже, очевидно, без сознания и не подавал признаков жизни, он погибал на глазах, а на палубе изготовились для прыжка три или четыре человека в таких же спасательных жилетах, схваченные сзади вперекрест длинными страховочными фалами, однако из-за огромных волн подойти к забортнику ближе никак не удавалось.

Спустя три десятилетия, когда в застолье среди отставных моряков я рассказывал этот драматический случай, они, не дослушав до конца, убежденно заявили: «Безнадега!..» Но ведь матроса-то выловили и вернули к жизни! Потом в кают-компании командир тральщика мне сказал: «Ты извини, что мы вчера выражались по-французски. Если бы не матерились, мы бы его не спасли!»

Несомненно, что в экстремальной обстановке каждому русскому и русскоязычному человеку матерщина сообщает ускорение, добавляет энергии, быстроты и стремления до-

стичь цели. Поэтому употребление ненормативной лексики не только в боевых условиях или при спасении человека во время шторма, но и в других форсмажорных, чрезвычайных ситуациях представляется обоснованным и правомерным. Однако, безусловно, мат — язык сильной половины человечества и может культивироваться только в мужском сообществе. Когда же матерятся в присутствии женщин, детей или стариков, даже у большинства людей, привычных к мату, возникает ощущение дискомфорта, неловкости. Эти же чувства не могут не возникать при коллективном восприятии ненормативной лексики — когда она звучит со сцены, с экрана кинотеатра или телевизора.

Что же касается литературы, то в реалистической прозе при изображении мужского сообщества, в том числе и армии, в прямой речи персонажей употребление ненормативной лексики представляется правомерным. При этом полагаю обязательным микширование: в словах, являющихся бранными, отдельные буквы следует заменять точками или отточиями. Также считаю необходимым перед текстом каждого произведения, содержащего ненормативную лексику, непременно помещать предупреждение для читателей, быть может, в виде короткой сноски. Это в интересах не только пуристов, которых могут огорчить напечатанные бранные выражения, но и в интересах автора: в опубликованной в прошлом году повести «В кригере» я дал перед текстом такое уведомление, и ни в одной из восьми рецензий не содержалось упрека по поводу ненормативной лексики, не было их и в читательских письмах.

История публикации романа¹ «В августе сорок четвертого...»

¹ Подлинники писем Б.Полевого, копии заключений «инстанций», письма В.О.Богомолова находятся в личном архиве В.Богомолова. Стиль и орфография в письмах и документах полностью сохранены. — *Здесь и далее примеч. Р.Глушко.*

Цензура во все века и при любом режиме существовала и, наверное, еще долго будет существовать, но в нашей стране она приобрела нетерпимые, уродливые и карательные формы: можно было запретить все, что в данный момент противоречило политической или иной конъюнктуре.

Вряд ли найдется хоть один творческий человек, будь то прозаик или поэт, произведения которого не прошли через гребенку цензуры или вышли оттуда без потерь. У каждого автора свои воспоминания, как правило, болезненные и неприятные, от общения с «ее величеством» цензурой. Есть такой эпизод и в моей творческой жизни.

Как писатель я стал известен после публикации повести «Иван» (1958 г., впоследствии экранизированной А.Тарковским, фильм «Иваново детство» получил главный приз Венецианского фестиваля «Большой Золотой Лев» в 1962 году), рассказа «Первая любовь» (1959 г.), повести «Зося» (1963 г., экранизирована режиссером М.Богиным, одноименный советско-польский фильм, 1967 г.), рассказов-миниатюр «Сердца моего боль», «Второй сорт», «Кругом люди», «Кладбище под Белостоком», «Сосед по палате» (1963 г.).

Перед выходом этих произведений Главлит четыре раза предпринимал необоснованные попытки изъятия из текстов отдельных фраз и абзацев. Я говорю «необоснованные» потому, что все неясности были сняты после предоставления мной справочно-пояснительного материала, и при последующих неоднократных переизданиях все четыре цензурные купюры полностью восстанавливались в текстах и не вызывали ни у кого никаких возражений или сомнений.

Все эти годы параллельно я работал над другими произведениями, в частности над большой повестью о советских контрразведчиках времен Великой Отечественной войны.

ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ»

В 1971 году редакция журнала «Юность», узнав о близкой к завершению повести, предложила мне сотрудничество.

На это предложение 4 марта 1971 г. я ответил письмом главному редактору журнала Б.Полевому, в котором честно информировал его о том, что все события и персонажи детектива «Убиты при задержании...» (первое условное название повести) вымышлены и предупреждал о трудностях цензурного характера, которые могут возникнуть у редакции при сдаче рукописи в печать.

«ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ
ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ»
тов. Полевому Б.Н.

Уважаемый Борис Николаевич!

Все события и персонажи детектива «Убиты при задержании...» (название условное) вымышлены; архивными материалами или закрытыми источниками при работе над повестью я не пользовался; все «оперативные документы» сочинены, но так же, как и события, привязаны к конкретной исторической обстановке.

Что касается деятельности контрразведки и военных вопросов, то в повести нет ни одного момента или специального термина, которые не упоминались бы в открытой советской печати (например, главы «Оперативные документы» построены в основном на терминологии из документов сборника «Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», М. 1968 г.).

Я реально представляю себе трудности цензурного характера, которые могут возникнуть при сдаче рукописи в печать, поэтому вместе с окончанием повести мною будет представлена в редакцию пространная многостраничная справка — подробный перечень всех книжных и периодических изданий с указанием страниц, где упоминаемые мною обстоятельства или термины «расшифровываются» и описываются.

Чтобы Вы могли представить, как это будет выглядеть, прилагаю страничку с перечнем (неполным) источников по «радиоигре», самом, наверно, «секретном» моменте во всей

повести — до 1955 года даже упоминание этого слова в печати (применительно к советским органам) не разрешалось. (Я пишу «секретном» в кавычках потому, что за границей об этом за последние три десятилетия написаны сотни книг).

Должен также заметить следующее:

В советской художественной литературе, к сожалению, даже у талантливых авторов («Июль 41 года», «Горячий снег», «Мертвым не больно»¹, романы К.Симонова) офицеры контрразведки — образы исключительно отрицательные, негативные. В неверном представлении уважаемых писателей, а затем и в созданном этими произведениями представлении многих миллионов читателей офицеры контрразведки — подозрительные перестраховщики, люди неумные, ограниченные, а то и просто трусливые.

Между тем все четыре года войны офицеры военной контрразведки самоотверженно выполняли опасную, сложную и крайне ответственную работу, от которой нередко зависели жизни тысяч людей, судьбы целых операций (что я и стремлюсь показать в своей повести). Тысячи офицеров контрразведки героически погибли на фронтах Отечественной войны; многим из них, например, старшим лейтенантам П.А.Жидкову (1-й Украинский фронт), Г.М.Кравцову (1-й Белорусский фронт), М.П.Крыгину (Сейсинский десант) посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Начальник Управления особых отделов всей Красной Армии Михеев, единственный (в Отечественной войне) руководитель целого рода войск погиб на поле боя, отстреливаясь до последнего патрона. Кстати, он прилетел в Прилукское окружение по собственной инициативе, когда положение уже было безнадежным, отдал свой самолет для вывозки раненых и секретных документов и погиб, пытаясь спасти командующего фронтом Кирпоноса и секретаря ЦК Украины Бурмистенко.

Кто знает о Михееве, о Крыгине, Кравцове и Жидкове? Очень немногие из редких и коротких юбилейных публикаций в научно-исторических журналах. А в художественной литературе прочно утвердился стереотип «особиста», «особняка» — человека недалекого, подозрительного и трусливого.

¹ «Июль 41 года» — роман Г.Бакланова, «Горячий снег» — роман Ю.Бондарева, «Мертвым не больно» — повесть В.Быкова.

В своей повести я стремлюсь реалистически показать трудную, самоотверженную работу армейских контрразведчиков на фронте и не сомневаюсь, что люди, которые должны будут санкционировать публикацию этого детектива, не меньше чем я или редакция журнала «Юность» заинтересованы в появлении в нашей литературе положительных образов офицеров советской контрразведки.

С уважением

Богомолов
4 марта 1971 года»

5 марта 1971 года редакцией журнала «Юность» в лице ответственного секретаря Л.А.Железнова со мной был заключен договор на публикацию повести «Убиты при задержании...» объемом 12 авторских листов с гонораром 300 рублей за авторский лист (всего 3600 руб.), сроком сдачи рукописи не позже 1 декабря 1971 г.

Как было указано в договоре, содержание повести должно удовлетворять следующим условиям: «Рассказать о работе советских контрразведчиков в годы Великой Отечественной войны в пределах, доступных для опубликования в открытой печати». Редактором была определена Мэри Лазаревна Озерова.

24 марта 1971 года по заключенному с редакцией журнала «Юность» договору мною был получен аванс в издательстве «Правда» в сумме 838 рублей¹.

Я, как показало время, предусмотрительно сохранил эту расписку:

«24 марта 1971 года получен аванс в издательстве «Правда» по договору с редакцией журнала «Юность» на детективную повесть в сумме 838 (восемьсот тридцать восемь) рублей.

Богомолов
24 марта 1971г.»

Я работал медленно и не укладывался в срок сдачи рукописи, обусловленный договором. 1 декабря 1971 г. Б.Полевой после прочтения первого варианта повести, которую он назвал «при-

¹ Журнал «Юность» принадлежал издательству «Правда».

ключенческим романом», прислал мне письмо одобрительного характера и просил поторопиться с ее завершением.

«Дорогой Владимир Осипович!

Простите за то, что нарушаю тишину Вашего творческого кабинета. Когда-то, уже довольно давно, все мы читали рукопись Вашего приключенческого романа. Она всем нам приглянулась: и читается интересно, и, несмотря на остро-приключенческий сюжет, написана в духе доброго реализма. Словом, мы сейчас возлагаем на этот Ваш роман надежды.

Разумеется, «Юность» никогда не бывает на голодном пайке, однако не скрою, что мне хочется залучить к нам и поскорее именно Вас и именно с этой вещью. Когда мы читали первый вариант, бывший у нас, рукопись была вполне готова, оставались какие-то мелкие недоделки, речь шла о нескольких главах.

Я не из тех, кто торопит авторов, однако, очень Вам советую: приналягте Вы на этот свой роман и давайте поскорее. Хотелось бы его напечатать где-то весной будущего года.

Всего хорошего,
Ваш

Б.Полевой
1 декабря 1971 г.»

19 декабря 1971 г. я ответил письмом Б.Полевому, что работаю с предельной нагрузкой, но еще многое надо сделать, и просил пролонгировать договор и планировать публикацию на август – сентябрь 1972 года.

«Многоуважаемый Борис Николаевич!

Ваше письмо получил.

Прежде всего, должен заверить Вас и Мэри Лазаревну, что я работаю над повестью с предельной нагрузкой и, хотя более месяца проболел, дело заметно продвинулось.

Весной мною в редакцию представлялось примерно две трети детектива – 47 главок из 72. За это время сделано еще 15,5 глав, в том числе, и самый конец. Думается, что после написания этих 100 с небольшим страниц повесть усилилась, стала, несомненно, значительней.

Таким образом, осталось сделать 9,5 глав (65–70 страниц). При максимальном напряжении мне потребуется на это 3,5–4 месяца, в связи с чем прошу Вас пролонгировать договор до 30 апреля 1972 года.

Что же касается планов редакции, то, учитывая трехмесячный срок подготовки номера журнала в печать, начало публикации следует пролонгировать не на весну, а на август или сентябрь 1972 года.

С уважением

Богомолов
19.12.72 г.»

Так как повесть не была закончена, я вторично, 27 апреля, обратился к Б.Полевому с просьбой об очередной пролонгации договора до 30 октября 1972 г.

«ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ
ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ»
тов. Полевому Б.Н.

Уважаемый Борис Николаевич!

В связи с некоторым увеличением объема повести и необходимостью изучения значительного количества различного справочного материала, прошу Вас пролонгировать договор до 30 октября сего года.

Возможно, мне удастся закончить работу раньше.

С уважением

Богомолов».

Редакция прозы и мой редактор М. Озерова не оставляли меня в покое, напоминали о неоднократных пролонгациях договора, о моих обязательствах, настаивали на предоставлении рукописи повести в издательство.

Наконец в январе 1974 года я передал в редакцию два экземпляра рукописи, изменив первоначальное название повести «Убиты при задержании...» на «Возьми их всех!..», сопроводив это письмом:

«Уважаемые Борис Николаевич и Владимир Ильич!»¹

НВ!

1. Просьба с этим экземпляром обращаться бережно, поскольку именно с него роман будет перепечатываться начисто.

2. В тексте имеются отдельные синонимические варианты, которые будут сняты при окончательном редактировании. В тексте отсутствует большинство сносок; в двух главах не представлены польские и немецкие фразы.

3. Настоятельно прошу до принятия окончательного решения о публикации, никого из лиц, не имеющих прямого отношения к решению этого вопроса, с рукописью не знакомить² и никакой информации о романе никому не давать.

4. Если роман по каким-либо причинам «Юности» не подойдет — никаких претензий к редакции у меня не будет и полученный мною аванс в этом же году будет безоговорочно возвращен в издательство «Правда». Только сообщите мне об отклонении рукописи без промедления.

С уважением

Богомолов
12.01.74 г.»

На письме приписка рукой М.Озеровой:

«Получено 24/1-74 года» М.Озерова.

После ознакомления с рукописью, спустя месяц, меня пригласили в «Юность» к главному редактору. При разговоре присутствовал первый его заместитель поэт-песенник А. Дементьев и зав. отделом прозы.

Главный дословно мне сказал: «Я был на фронте с первого и до последнего дня, я полковник и войну, слава Богу, знаю. Я поражен вашей компетентностью, вашим знанием войны, всех деталей и воздуха того времени и вашей памятью. Все это удивительно здорово, но... лишь на уровне дивизии! Как только вы поднимаетесь выше, — это уже написано не Богомоловым, а Ласкиным! Я имею в виду прежде всего главу «В Ставке»,

¹ Владимир Ильич Амлинский — зав. отделом прозы журнала «Юность».

² Подчеркнуто в письме В.Богомоловым.

изображение Сталина, наркомов, маршала Баграмяна и эпизоды с генералами. Ко всему прочему, эти места, да будет вам известно, делают роман практически непроходимым. Противопоставление ваших героев, розыскников, уполномоченным контрразведки в частях — это ненужная драматургия, от нее тоже надо избавиться. И спорить тут просто нелепо!.. Поверьте моему опыту! Вы ведь Сталина если и видели, то только на мавзолее во время демонстрации, а я с ним встречался лично, разговаривал не раз вот так, как с вами, я себе его отчетливо представляю и как человека, и как руководителя. С Иваном Христофоровичем Баграмяном я в дружеских отношениях с сорок первого года и должен заметить, что вы сочинили на него шарж, причем не лучший. Эти образы у вас искажены. От эпизодов со Сталиным и с генералами надо избавиться без колебаний и без малейшего сожаления — все, что выше дивизии, написано Ласкиным! Поверьте моему опыту!»

Я спросил: «И Баграмян искажен тоже?» Полевой ответил: «Да, безусловно!»

Я не знал, кто такой Ласкин, в рукописи не было никакой дивизии, не было и шаржа на Баграмяна: очень любопытно, если учесть, что фамилия Баграмяна упоминается только в одной фразе без какой-либо оценки или характеристики — там сообщается о его отсутствии в этот момент в штабе фронта.

Неудивительно, что от услышанного я находился в немалом недоумении и погодя отвечал, что не могу согласиться с замечаниями и не смогу что-либо убрать или переделать. Я вслух откровенно предположил, что между нами возникла «нестыковка» и нам лучше «по-хорошему разбежаться», я готов немедленно вернуть аванс, на что главным редактором мне было заявлено:

«Не надо горячиться и не надо ничего возвращать! У нас нормальный рабочий диалог! Я вам высказал наше мнение, и вы его внимательно обдумайте, а мы подумаем над тем, что сказали вы. Потом встретимся и совместим наши позиции. Я убежден, что нам удастся достигнуть взаимопонимания».

Позднее я не раз дивился высокому цензорскому — политическому и идеологическому — чутью того времени, каким обладал главный редактор «Юности» Б. Полевой: то есть по прочтении рукописи, до отправки ее в «Инстанции» для получения разрешительных виз на публикацию, он отметил, выделил то, что эти «Инстанции» потом мне вчиняли и на чем настаивали.

Меня попросили без промедления представить в редакцию еще три экземпляра рукописи. Я решил, что они хотят, не теряя времени, ознакомить с текстом членов весьма многочисленной редколлегии, чтобы все дружно прочли и рукопись была бы запущена в работу. Я был уверен в романе и срочно сделал допечатку.

Я и не подозревал о том, что последовало за разговором с редактором, мне и в голову не могло прийти, что полученные от меня экземпляры начнут за спиной автора последовательно гонять на так называемые «экспертно-консультативные чтения» по различным адресам: в Главное управление Министерства Обороны, КГБ, МВД, Главному военному цензору, Главное Политическое Управление и т.д.

Как выяснилось впоследствии, всего в закрытом «рецензировании» и «экспертно-консультационных» чтениях рукописи моего романа в разных ведомствах, судя по официальным отзывам и пометкам на полях, участвовало не менее восемнадцати генералов и старших офицеров — от просто начальников до узких специалистов, в частности в области криптографии и радиопеленгации, — замечу, что ни одного профессионального замечания они мне вчинить не смогли. Причем всюду соблюдалась иерархия: первые оставляли автографы только шариковыми ручками, а вторые — карандашами.

Как потом выяснилось, для Главлита было достаточно и требовалось всего два заключения: Пресс-бюро КГБ и Министерства Обороны.

Рукопись в редакцию я представил в начале декабря, а отбить все навязываемые мне купюры и поправки и выколотить последнюю необходимую для публикации «чистую» визу мне удалось лишь спустя восемь с половиной месяцев, 21 августа 1974 года.

Следует сказать о сопутствующих факторах, повлиявших на развитие ситуации.

Ответственным секретарем «Юности» был немолодой человек¹, якобы в прошлом, во время войны, главный редактор какого-то издания — журнала «Фронтовые иллюстрации» или «Красноармейца». После войны, еще при Сталине, была расстреляна его жена по какому-то облыжному политическому

¹ Л.А.Железнов.

обвинению. Это был сломленный, крайне осторожный человек, но большой энтузиаст «спеццензуры». Из перестраховки, опасаясь, как бы потом его не обвинили в идеологических просчетах, он последовательно, официально и неофициально, отправлял по второму кругу рукопись аж в семь адресов; в двух компетентных организациях, куда он пытался загнать экземпляры, от дачи заключения уклонились.

Другим негативным фактором была дрессированность советских авторов, их покорность и убежденность в том, что все замечания, которые «учреждения», «инстанции» им вчиняют, имеют директивный характер и обязательны для авторов и изданий.

Во избежание необоснованных купюр, которые принимались Главлитом при публикации моих предыдущих произведений, но затем полностью им восстанавливались в текстах после уточнения и выяснения, без каких-либо даже минимальных замечаний, в начале марта 1974 года я обратился с письмом в Главлит, в котором просил все для них неясные вопросы предварительно согласовать с военной контрразведкой – Управлением Особых отделов, для чего прилагал подробнейшую справку с подтверждением, что упоминаемые в романе термины ранее были опубликованы в открытой советской печати и не являются секретными.

«В ГЛАВЛИТ

Уважаемые товарищи!

Все события и персонажи романа «Возьми их всех!..» («В августе сорок четвертого...») вымышлены (кроме упоминаемых в главе 56-й, «В Ставке ВГК»), однако для создания иллюзии достоверности привязаны к конкретной исторической обстановке и подлинному положению на фронтах в середине августа 1944 года.

Никакими неопубликованными архивными материалами, никакими закрытыми источниками, консультациями или советами специалистов в работе над романом я не пользовался. Все действия и специальные термины, упоминаемые или описанные в романе, многократно упоминаются или описаны в открытой советской печати.

При публикации моих предыдущих произведений четырежды имели место необоснованные изъятия Главлитом от-

дельных фраз и абзацев (я пишу «необоснованные» потому, что при последующих неоднократных публикациях этих самых произведений все четыре цензурных купюры восстанавливались в тексте и не вызывали ни у кого никаких возражений или сомнений). Поскольку эти изъятия, как мне объяснили, имели место только потому, что у цензора не оказывалось под рукой упоминания в открытой печати какого-либо специального термина или действия, прилагаю составленную мной справку с указанием упоминания специальных терминов и действий в открытой советской печати.

Во избежание необоснованных купюр, влекущих за собой нарушение цельности и ослабление художественного произведения, настоятельно прошу вас неясные для Главлита вопросы согласовать с военной контрразведкой – Управлением Особых отделов, куда мною, как в службу наиболее заинтересованную в опубликовании этого романа, будет направлено более подробное пояснительное письмо.

С уважением

Богомолов
10 марта 1974 г.»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
РЕДАКТОР ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ АКСЕНОВ

Еще в феврале месяце 1974 г. издательство «Молодая гвардия» предложило мне сразу после журнальной публикации выпустить роман отдельной книгой.

Моим редактором в «Молодой гвардии» стал Валентин Павлович Аксенов, которого мне послало провидение – скромный, тихий, с залысинами, мужчина за 40 лет, инвалид, ходил с трудом на протезах – в юности у него были отморожены и ампутированы обе стопы. Он оказался смелым, честным, принципиальным и мужественным человеком и редактором, без его неоценимой помощи роман вряд ли бы прошел многоэтапную цензуру без потерь.

Дело в том, что В.П.Аксенов, параллельно с работой со мной, редактировал книгу Б.Полевого «До Берлина...» столько-то там километров – сборник очерков. Поэтому он часто приезжал в «Юность», где знали, что в «Молодой гвардии» будет

издан роман, интересовался этапами цензурирования, снимал копии со всех заключений, которые приходили в «Юность», и, естественно, знакомил с ними меня.

Безусловно, большой удачей, подарком судьбы явилось то обстоятельство, что в последующей борьбе с ведомствами за роман мой молодогвардейский редактор В.П.Аксенов, как говорится, находился со мной в одном окопе, разделяя мои убеждения и позицию.

Его информация была бесценна, то есть когда я потом ходил в учреждения и «инстанции» отбивать вчиняемые купюры и претензии, у меня, конечно, было преимущество: я знал их возражения, а они об этом не догадывались.

КОНФРОНТАЦИЯ

Третьего июня в первой половине дня мне позвонил из издательства В.П.Аксенов и сообщил, что первый заместитель главного редактора «Юности» А.Дементьев был в главной редакции издательства «Правда» и там сказал: «Богомоллов идет у нас в трех номерах, но там у него есть две идейно мутные главки («В Ставке ВГК» и «В стодоле»), которые мы печатать не будем».

И сразу же из главной редакции издательства «Правда» позвонили в редакцию прозы журнала «Юность».

Короче, рукопись, которая находилась в работе в типографии — там уже прошел и был сверстан первый кусок романа, у меня на руках была корректура, — через полчаса была остановлена в производстве. Но из этого первого куска ничего не вынималось. Все должно было выниматься — свыше 30 страниц текста — из второго куска.

Я работал со многими редакторами в десятках изданий, где выходили повести «Иван», «Зося», «Первая любовь», рассказы-миниатюры в сборнике «Сердца моего боль» — это были люди высоко профессиональные, относившиеся ко мне с большим уважением, несмотря на мои жесткие требования, особенно на этапе корректуры.

Ни в одном издательстве у меня не было конфликтов, каких-то немислимых требований и претензий. На протяжении жизни я помню всех своих редакторов, был им благодарен по-человечески, поддерживал дружеские отношения.

Такого вероломства и предательства со стороны редакции журнала к своему автору — за его спиной, не ставя в известность, на этапе верстки выдернуть две главы — мне и в страшном сне не могло привидеться. В это трудно поверить, но это было.

Когда я об этом узнал, я буквально через час дал телеграмму Б. Полевому в журнал «Юность», что в связи с недружественными действиями сотрудников редакции считаю договор расторгнутым и настоятельно прошу **НЕМЕДЛЕННО** вернуть все экземпляры рукописи.

У меня сохранилась копия этой телеграммы и даже квитанция об отправлении. В телеграмме было 122 слова (на почте долго упирались, ибо текст еле влез в 5 склеенных телеграфных бланках), и я заплатил за нее 3 рубля 76 копеек (по тем временам вполне солидная сумма за обычную телеграмму).

ТЕЛЕГРАММА

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ тчк СВЫШЕ ТРЕХ ЛЕТ РЕДАКЦИЯ ОТКРОВЕННО НЕ ДОВЕРЯЕТ РОМАНУ И АВТОРУ зпт ЧТО ОТРАЖЕНО ДАЖЕ В ДОГОВОРЕ тчк ПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ДВУХ ГЛАВ И ВЧИНЕНИЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ ПОПРАВК НЕОДНОКРАТНО МЕНЯЛАСЬ зпт В РЕЗУЛЬТАТЕ Я ТЕПЕРЬ СОВЕРШЕННО НЕ ДОВЕРЯЮ РЕДАКЦИИ тчк С ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО АПРЕЛЯ КОНТАКТЫ С РЕДАКЦИЕЙ ВЫЗЫВАЮТ ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ зпт НЕДОВЕРИЕ К РОМАНУ НЕ ПРЕКРАТИЛОСЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ тчк В СИЛУ СЛОЖИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКИ зпт НЕ СЛОЖИВШИХСЯ ОТНОШЕНИЙ И ВЫРАЖЕННОГО ВЗАИМНОГО НЕДОВЕРИЯ СЧИТАЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ОТ ЖУРНАЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ ОТКАЗАТЬСЯ тчк ВОПРОС СОГЛАСОВАН С УПРАВЛЕНИЕМ АВТОРСКИХ ПРАВ тчк ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕНУЖНЫХ ЗАТРАТ ВСЕ ТИПОГРАФСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОШУ ПРЕКРАТИТЬ тчк СОГЛАСНО ПУНКТУ ОДИННАДЦАТОМУ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОГОВОРА НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОШУ НЕМЕДЛЕННО ВЕРНУТЬ ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ РУКОПИСИ тчк БОГОМОЛОВ

Впоследствии я получил два письма от Б.Н.Полевого. На типографском бланке в левом верхнем углу проставлено: «Борис Полевой». В письме от 5 июня 1974 г. он подтвердил, что дей-

ствительно на стадии сверки они собирались снять две главы и что они собирались делать это «исключительно в интересах романа, интересах читателей» и, прежде всего, будто бы «в моих интересах». В связи с односторонним расторжением договора по моей инициативе унижительно для меня оперировал законом, по которому договор будет передан юрисконсульту «для истребования от Вас возврата выданного аванса в сумме 900 рублей».

Далее в письме Б.Н.Полевой сообщает, что один экземпляр рукописи редакция «лишена возможности вернуть, так как он находится на чтении в соответствующей инстанции», а другой экземпляр, первые 175 страниц, в наборе», и ссылается на заключение Пресс-бюро КГБ от 21 мая с. г., по которому редакция вынуждена получить дополнительное заключение Министерства Обороны.

«Глубокоуважаемый Владимир Осипович!

Не скрою от Вас, что Ваша телеграмма, в которой Вы отказываетесь от журнальной публикации своего романа в «Юности», очень удивила и огорчила меня.

Мне совершенно непонятны Ваши, адресованные редакции журнала упреки якобы в нашем недоверии к Вам как автору и к Вашему произведению. Мы послали рукопись на консультацию в соответствующие организации, что было оговорено в подписанном Вами договоре, ибо в повести речь идет о сложной деятельности наших контрразведчиков в период Отечественной войны. Иначе мы и поступить не могли, да Вы и не возражали против этого. Где же тут недоверие?

Вы упрекаете нас в том, что в подписанном Вами договоре оговорено требование автору писать в романе только о вещах, доступных для опубликования в открытой печати. Где же тут недоверие к вам? Наоборот, этот пункт договора не вызвал у Вас ни малейшего возражения в свое время, и Вы проявили тогда полное понимание этого элементарного требования.

О том, что редакция с самого начала доверяла Вам и верила в Вас свидетельствует, на мой взгляд, и тот факт, что мы, не задумываясь, выдали Вам аванс в сумме 900 рублей под ненаписанный еще роман, а потом дважды пролонгировали сроки сдачи рукописи, оговоренные в договоре, даже не позволив себе упрекнуть Вас за то, что Вы нарушили последний срок

пролонгации почти на 1 год и 3 месяца, сдав роман лишь 25 января 1974 года вместо 30 октября 1972 года, да и еще и в одном, не первом, экземпляре рукописи. Где же тут недоверие?

Как Вам известно, в первых числах апреля Ваша рукопись была направлена в соответствующие органы на консультацию, откуда она вернулась 21 мая с положительными в общем-то заключениями, но и с довольно серьезными, обоснованными замечаниями. Об этих замечаниях Вы были информированы еще до того, как они поступили в редакцию.

Редакция и к этому времени еще не имела первого экземпляра этого романа и лишь 23 мая Вы представили нам 175 стр. из него, которые 29 мая и были засланы нами в набор с тем, чтобы уже в 8 номере можно было начать его печатать. Рукопись была направлена в набор без единой поправки, что, разумеется, не означало, что в них не было необходимости. Но мы, идя Вам навстречу, решили внести их с Вашего согласия уже в верстке.

И вот итог: в ответ на наше столь внимательное и неформальное отношение к автору я получаю от Вас раздраженную и оскорбительную по своему тону телеграмму, выражающую недоверие к редакции журнала. Признаюсь, ничего подобного никогда не приходилось получать за всю мою уже довольно длительную жизнь в литературе. И даже слышать о чем-то подобном не приходилось.

Ну что я Вам могу ответить?

1. Ничем не вызванное с нашей стороны недоверие к редакционному аппарату «Юности», Ваша постоянная раздражительность и агрессивность по отношению к людям, старавшимся Вам помочь дружеским советом, отнюдь ничего не навязывая Вам, Ваша недопустимая, на мой взгляд, резкость суждений о работниках, трудящихся над рукописью и авторов «Юности», Ваше адресованное им выражение «жлобы», «перестраховщики», — все это я не могу считать нормальным в обычных деловых отношениях между автором и редакцией.

2. Учитывая все сказанное, работники журнала «Юность» приняли единственное возможное в таких условиях решение: не делая пока никаких поправок в рукописи, сдать ее в набор в том виде, в каком Вы ее представили, и лишь после получения всех замечаний соответствующих, специально уполномоченных на то инстанций, произвести вместе с Вами и, разумеется, с Вашего согласия окончательную правку.

3. Мы не нарушили ни одного из своих обязательств, предусмотренных в подписанном Вами договоре. Строго соблюдены все сроки прохождения рукописи в редакции. К Вам не предъявлено ни одного требования, которое договором не было обусловлено.

Таким образом, Ваше беспрецедентное решение расторгнуть с нами договор и требование вернуть Вам рукопись не обусловлено причинами, зависящими от редакции, а целиком продиктовано Вашим личным желанием, что, естественно, повлечет предусмотренные авторским правом последствия.

4. Если Вы настаиваете, редакция вернет Вам немедленно свободные экземпляры рукописи, один экземпляр мы лишены возможности Вам вернуть, так как он находится на чтении в соответствующей инстанции, другой экземпляр, первые 175 страниц, в наборе. Получив Вашу телеграмму, я, разумеется, немедленно распорядился выполнить Вашу волю приостановить набор, хотя он уже готов.

5. А теперь я вынужден поставить Вас в известность, что нам придется сообщить в издательство «Правды» о том, что Вы расторгаете с нами договор, берете рукопись, что, естественно, в свою очередь издательство передаст своему юристу договор и все документы для истребования от Вас возврата выданного Вам аванса в сумме 900 рублей. Тут уж ничего поделать будет нельзя, ибо договор есть договор, а закон есть закон.

В заключение, глубокоуважаемый Владимир Осипович, хочу Вам уже как писателю посоветовать обдумать присланную Вами телеграмму и обсудить с самим собой Ваше решение. Несмотря на тон Вашей телеграммы мы оставляем для Вас двери редакции открытыми, приглашаем Вас зайти к нам в любое удобное Вам время, спокойно обсудить создавшееся положение и вместе обдумать обстоятельства, толкнувшие Вас на столь решительный и, как мне кажется, ошибочный шаг. Может быть, вместе найдем более разумное решение.

С уважением и лучшими пожеланиями,
Ваш

Б.Полевой
5 мая 1974 г.
г. Москва»¹

¹ Б.Полевой ошибся, письмо написано 5 июня.

ПЕРВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА РОМАН¹

СССР

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при Совете Министров СССР

Пресс-бюро

21 мая 1974 г.
№ 4-ПБ-426 г.

г. Москва

Главному редактору
Журнала «Юность»
тов. Полевому Б.Н.

г. Москва ул. Горького, 32/1

Возвращаем Вам рукопись романа Владимира Богомолова «Возьми их всех!...». Наши замечания отмечены на полях рукописи.

В материале не содержится сведений, составляющих государственную тайну.

Поскольку материал затрагивает интересы Министерства обороны, нам представляется полезным получить консультацию этого ведомства по рукописи в целом и, в частности, по таким вопросам:

а) целесообразно ли доводить операцию по поимке группы агентов противника (3–4 чел.), заброшенных в тыл советских войск, до таких масштабов, когда операция берется на контроль Ставкой, и от ее успеха зависит судьба предстоящей наступательной операции двух фронтов;

б) целесообразно ли давать детали подготовки и проведения общевойсковой операции по прочесыванию лесного массива, в котором предположительно скрывается шпионская группа, в частности, количество войск, руководящего состава операции, техники и т. д.

Приложение: рукопись на 509 л.

Начальник Пресс-бюро КГБ при СМ СССР
Полковник

Кравченко

¹ Все официальные заключения, приводимые здесь и далее, соответствуют форме оригинала.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЫВ С «ЮНОСТЬЮ»

8 июня 1974 г. я телеграфным переводом вернул в издательство «Правда» аванс 838 рублей, выданный мне еще в 1971 г. при заключении договора с журналом «Юность» (вот когда пригодилась сохраненная мною расписка), повеселив сотрудников издательства — это был единственный случай, когда автор возвращал аванс.

Кроме того, я вернул в «Юность» почти 6000 рублей, выданные мне в долг за роман (в 1971 г. — 3600 рублей и еще за увеличение объема в 1972 г. в двух пролонгациях) — (как и телеграфный перевод аванса, так и расписка о возвращении денег в «Юность» у меня сохранились).

В 1974 г. это были очень большие деньги, «Москвич» тогда стоил 4,5 тысячи, и мне пришлось крутиться, чтобы занять такую сумму.

На мою телеграмму и немедленный возврат аванса Б.Н.Полевой ответил вторым письмом, в котором сожалел о расторжении договора, не избежал нотаций, приведя в качестве наидания строптивому и несговорчивому автору пример: «даже Лев Толстой прислушивался к замечаниям доброжелательных критиков и не раз правил рукописи по их советам».

Но тогда были доброжелательные критики, а не закулисно-перестраховочные спеццензуры.

Одновременно с письмом Б.Полевого курьером из редакции мне был доставлен только один экземпляр рукописи, тот, что был в типографии, а я ведь отдал в редакцию 5 экземпляров.

«Глубокоуважаемый Владимир Осипович!

Хотя на мое письмо, посланное мною две недели назад, Вы не нашли времени ответить, сегодня вот, перед выездом в Чехословакию, снова пишу Вам.

Эти два письма разделяют примерно две недели времени, но за эти две недели Вы не сочли возможным зайти в редакцию, поговорить по важным, на мой взгляд, вопросам, ибо речь шла о публикации Вашего романа, не прислали и письменного ответа. Мы с Вами договорились по телефону о дне и часе встречи, удобном Вам, но Вы не пришли. Вам снова звонили товарищи, предупреждали о том, что я собираюсь в Чехословакию и про-

шу Вас зайти ко мне или хотя бы известить о дне и часе Вашего прихода, Вы не ответили и на это.

Для нас стало ясно, что Вы настаиваете на том, что было изложено в Вашей телеграмме, на Вашем требовании прекратить набор, вернуть Вам рукопись. Ну что же? Мне кажется это очень печальным, однако, не имея возможности разубедить Вас, выполняю Вашу просьбу и рукопись возвращаю; также выполняю и Ваше требование о расторжении авторского договора, о чем сообщаем в издательство «Правда».

Дорогой Владимир Осипович, признаюсь честно, делаю я это не без некоторого сожаления, ибо в общем-то роман Ваш пришелся нам ко двору.

А теперь позвольте мне как старому литератору, уже не один десяток лет проработавшему «на ниве литературы», дать Вам совет: не поступайте с другими журналами или издательствами, куда Вы отнесете свой роман, так, как Вы поступили с доброжелательно расположенной к Вам «Юностью». Даже Лев Толстой внимательно прислушивался к замечаниям доброжелательных критиков и не раз правил свои рукописи по их советам.

За всем тем примите от меня лучшие пожелания, а Вашему роману — хорошего пути в литературе.

Ваш

Б.Полевой

P.S. Рукопись возвращаю с курьером».

Я ответил Б. Полевому обстоятельным письмом.

«Глубокоуважаемый Борис Николаевич!

Я не стал к Вам заходить прежде всего потому, что хорошего конструктивного разговора у нас получиться не могло, а плохой не нужен был ни Вам, ни мне.

Я не собирался оставить Ваше письмо без ответа, однако две недели болел и второй месяц поглощен неотложными житейскими заботами (главная — поступление в институт сына, которому из-за романа последний год совсем не уделял внимания). Только поэтому, а не по какому-то умыслу, отвечаю Вам с немалой задержкой теперь уже на оба Ваши письма одновременно.

Моя телеграмма не должна была Вас, Борис Николаевич, удивить: еще в апреле (числа 22-го — 23-го), а также 29-го и в начале мая месяца я трижды предупреждал М.Л.Озерову (29-го апреля в присутствии А.Д.Дементьева), что если редакция вчинит так называемые «запредельные», т. е. вкусовые перестраховочные поправки, я буду вынужден отказаться от журнальной публикации. Неужели Вам это не передали? Все три раза моя позиция была выражена четко и принципиально и не оставляла повода для кривотолков или удивления.

А вот многие аспекты и утверждения Вашего первого большого письма меня, Борис Николаевич, не могли не удивить. Вы пишете о законе, о договоре, о беспрецедентности моего решения, ничуть не замечая беспрецедентности и, извините меня, недостойности многих действий и поведения редакции.

Ну, неужели же «прецедентно» и достойно то, что за четыре месяца после прочтения главным редактором рукописи журнал, имея, как камень за пазухой, поправки и собирая целое досье замечаний, не предъявил автору ни одной с «точным мотивированным указанием существа необходимых исправлений», как это предусмотрено не только договором, но элементарными этическими нормами?

Неужели «прецедентно», руководствуясь сугубо эгоистическими соображениями редакции, месяцами вести с автором двойную игру, с целью загнать автора в угол, поставить его в безвыходное положение и на стадии верстки, а может быть и сверки, предъявить ему целое досье с поправками по сложному пятисотстраничному роману в надежде, что в этой ситуации автор — «в кармане» у редакции, никуда ему не деться и он будет вынужден на все согласиться?

Неужели «прецедентно», что сотрудники редакции своими действиями и разговорами допускали компрометацию романа, произведения сугубо патриотического? (Факт такой компрометации, о котором мне сообщили 3-го июня утром, и явился причиной отправки Вам телеграммы).

О направлении рукописи в Пресс-бюро КГБ мне, безусловно, было известно. С марта 1971 года и до мая сего года М.Л.Озерова неоднократно говорила мне: «Будет виза КГБ — и все! Больше нам ничего не нужно!» Ни о какой другой инстанции не было сказано ни единого слова. И вот в июне в своем письме Вы признаете (я это предвидел значительно

раньше, еще в феврале м-це), что роман без ведома автора, за его спиной, посылается в различные «инстанции».

Имеет ли редакция на это право? Да, имеет. Весь вопрос в том, как это делается и главное — для чего?

При направлении рукописи в Пресс-бюро КГБ туда было послано 42 (сорок две) страницы, составленного мною, справочно-пояснительного материала, и в Пресс-бюро мне прямо сказали, что без этого материала было бы невозможно «провести согласование». Чем же — безответственностью редакции или жаждой получения поправок можно объяснить посылку столь сложного по материалу романа в «соответствующие инстанции» без справочно-пояснительного аппарата? О чем думали при этом Ваши сотрудники? Неужели только о том, как чужими руками вырубить неудобные редакции главы и пополнить досье перестраховочными поправками и замечаниями?

И главное — для чего это делалось? Согласно действующему законодательству обязательными и беспрекословными для редакции и для автора являются только замечания, касающиеся: 1) разглашения государственной и военной тайны, 2) антисоветских, враждебных государству и нашей идеологии мыслей, высказываний и фактов, 3) порнографии.

Что в романе нет первого, Вам официально подтвердило Пресс-бюро КГБ; что в романе нет второго, не должно было возникать сомнений: это произведение сугубо патриотическое; нет в романе даже и намек на порнографию.

Следовательно, речь шла только о соискании редакцией журнала «Юность» у «соответствующих, специально уполномоченных на то инстанций» вкусовых перестраховочных замечаний, которые находятся за пределами прав и обязанностей всех этих инстанций и потому называются «запредельными».

Я уже не раз сталкивался с такого рода поправками и знаю цену этим «серьезным обоснованным замечаниям» (так Вы, Борис Николаевич, их именуете в своем первом письме). Чтобы не быть голословным, прилагаю два текста: в верхнем «по соображениям разглашения» военной цензурой был вырублен абзац и слово «опергруппа». После моего протеста при публикации в том же изд-ве «Правда» (спустя девять месяцев) все это «разглашение» было до буквы восстановлено, в чем Вы можете убедиться, заглянув в приложение.

Я по опыту знаю, что все запредельные поправки или изъятия, какой бы «инстанцией» они не вчинялись, в случае обоснованного опротестования снимаются при последующих публикациях — достаточно мотивированного письма в ЦК КПСС.

И как писатель Вы, Борис Николаевич, должны понимать и разделять мою позицию: ослабленное поправками и запредельными изъятиями произведение, цельность которого нарушена, следует публиковать минимальным тиражом (с издательством у меня договор на 15.000 экз., и уж во всяком случае не тиражом «Юности» (2.600.000 экз.)). Об этом я и сказал 29 апреля М.Л.Озеровой. В ответ она мне заявила: «Все поправки «Юности» будут внесены в текст Вашей книги в издательстве». Сидевший рядом с ней столь же интеллигентный и обаятельный А.Д.Дементьев с улыбкой подтвердил: «Да, безусловно».

Реакция моя на это заявление была весьма и весьма резкой, но неужели же я должен был в ответ лицемерно улыбаться?.. Не скрою: в эти минуты судьба нашего сотрудничества была наполовину решена. Какое, извините, дело Вашим сотрудникам до последующих публикаций?.. Что это — попытка запугать или стремление сделать человеку пакость?

Я не из пугливых и в случае необходимости не боюсь идти на обострение с кем бы то ни было, но никак не желал субъективности в оценке этого разговора и всей крайне неприятной для меня ситуации.

Вы пишете, Борис Николаевич, о доверии редакции ко мне и к моему роману. В чем же оно выражалось? В том, что роман без ведома автора, за его спиной, гоняли по «соответствующим инстанциям», о чем Вы с нескрываемым удовлетворением мне сообщаете? Или в том, что, спустя почти четыре месяца после прочтения романа главным редактором, автору все еще не было выписано одобрения? Или в том, что, несмотря на трижды выраженную просьбу, автору так и не показали иллюстрации к роману, заявляя, что в «Юности» это не положено?

Вы пишете о моей «раздражительности и агрессивности», а как же я, Борис Николаевич, должен был реагировать на эту противоестественную и в высшей степени тягостную для моего прямодушного характера ситуацию?

Ведь я еще в середине апреля разгадал и точно определил недостойную игру, которую вели со мной Ваши сотрудники.

В чем же выражалась моя агрессивность?.. В том, что, имея около шести тысяч долга (о чем М.Л.Озерова знала), я за четыре месяца после прочтения рукописи главным редактором журнала ни разу даже не попросил выписать мне одобрение? Или в том, что я при первом же намеке немедленно вернул аванс? (К чему было, Борис Николаевич, писать мне про «юрисконсульта», про «истребование» и что «закон есть закон»? Я без всякого «истребования» в тот же вечер достал деньги, а утром следующего дня возвратил в издательство аванс. Поверьте, я возвратил бы его и без напоминания.)

Не надо, Борис Николаевич, выставлять меня скандалистом. Я десятки раз имел дело с издательствами и журналами, издавался в некоторых («Художественная литература», «Детская литература») по пять-шесть раз, и всегда у меня с редакциями были и есть нормальные, более того, хорошие отношения. Это и естественно, потому что ни одна редакция ни разу не вела себя со мной так недостойно и вероломно, как «Юность».

И тут не может не удивлять следующее обстоятельство: в организованном обмане автора, в этой недоброй затее вчинить — на стадии верстки! — поправки и замечания редакции и «всех соответствующих, специально уполномоченных на то инстанций» участвовало по крайней мере пять руководящих сотрудников журнала «Юность».

Как же ни у одного из них не достало совести или соображения сказать: «А что, если автор не примет ни в верстке, ни в сверке всех этих поправок? В какое положение мы его поставим? Мы же лишим его, работающего медленно и печатающегося редко, значительной части вознаграждения за большой многолетний труд?»

Я убежден, что в душе Вы и сами, Борис Николаевич, понимаете недостойность поведения редакции и, наверно, потому во втором своем письме пытаетесь изобразить дело так, будто я забрал рукопись, чтобы отнести ее в другой журнал. Это неправда.

За шесть недель, прошедшие после разрыва с «Юностью», я никуда рукопись не относил, более того, даже ни одной редакции ее не предлагал, хотя в двух редакциях о том, что я забрал рукопись из «Юности», знали уже в июне, поверьте, не от меня, а со слов Ваших сотрудников. К тому же Вы прекрасно знаете, что устроить незамедлительную публикацию романа объемом

в 24 печатных листа практически невозможно, на этом, не сомневаюсь, и был построен расчет редакции «Юности» с вчинением поправок на стадии верстки.

В своем втором письме Вы также пишете мне, что «даже Лев Толстой внимательно прислушивался к замечаниям доброжелательных критиков».

Никак не могу понять, какое отношение этот пример может иметь к данной ситуации?.. Доброжелательные критики, к мнению которых прислушивался Лев Толстой, служили Литературе, все же «соответствующие, специально уполномоченные на то инстанции», поправки и замечания которых редакция собиралась вчинить мне на стадии верстки, — это люди, не имеющие отношения к художественной литературе, и Вы, Борис Николаевич, не хуже меня знаете, что проблемы художественности и цельности произведения — за пределами их интересов, задач, а чаще всего и понимания.

Не исключено, Борис Николаевич, что, читая мое письмо, Вы не раз подумаете: «Ему-то хорошо, а был бы он на моем месте...»

Если бы я, Борис Николаевич, оказался на Вашем месте, я бы после ознакомления с романом пять месяцев тому назад, 11 февраля с. г., прямо сказал бы автору: «Уважаемый товарищ! Наши читатели — в основном школьники. На наш взгляд, в романе есть две главы, рассчитанные не на школьников. Могут быть два решения. Или вы откажетесь от этих двух глав или мы вынуждены отказаться от вашего романа».

Поверьте, только такая позиция журнала была бы в этой ситуации честной, принципиальной и во всех отношениях достойной.

В заключение, глубокоуважаемый Борис Николаевич, хотел бы заметить следующее: «Повесть о настоящем человеке» — одна из любимых моих книг; я ее не раз перечитывал и хочу, чтобы в моем сознании Вы, как и до этой печальной истории, оставались автором этого превосходного произведения, а не руководителем сотрудников редакции, недостойное поведение которых лишило меня журнальной публикации романа.

P. S. Настоятельно прошу Вашего указания вернуть мне до сего дня невозвращенные: два экземпляра сносок, все страницы, вырезанные на дубликаты, и еще один экземпляр рукописи. О последнем в своем письме от 5 июня Вы сообщили мне,

что он находится «на чтении в соответствующей инстанции». Неужели до сих пор читают?.. Возможно, редакции неудобно затребовать его?.. Я в состоянии получить этот экземпляр немедленно в любой инстанции, только сообщите, где он есть¹.

С уважением и самыми добрыми пожеланиями

Богомолов

12 июля 1974 г.»

В связи с тем, что редакция «Юности» убито молчала и не возвращала остальные экземпляры рукописи, которые якобы находятся «на чтении в соответствующих инстанциях», я вынужден был 23 июля 1974 г. обратиться с письмом в ВААП (Всесоюзное Агентство по охране Авторских прав) с просьбой обязать главного редактора журнала «Юность» без промедления вернуть все экземпляры рукописи.

«ВО ВСЕСОЮЗНОЕ АГЕНСТВО
ПО ОХРАНЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

3 июня 1974 г. я расторг договор от 5 марта 1971 г. с редакцией журнала «Юность» на роман «В августе сорок четвертого...» и телеграммой попросил вернуть все экземпляры рукописи.

8 июня с. г. я возвратил полученный мною аванс от редакции журнала «Юность» в издательство, спустя месяц получил два экземпляра рукописи, но остальные редакция журнала мне до сего дня не возвратила.

Прошу Вас разъяснить главному редактору журнала «Юность», что, согласно заключенному мною с редакцией журнала «Юность» договору, редакция обязана без промедления вернуть автору все экземпляры рукописи.

С уважением,

Богомолов

23.07.74 г.»

Второй экземпляр рукописи, о котором Б.Н.Полевой сообщал в июньском письме, что «редакция лишена возможности его вернуть, так как он находится на чтении в соответствующей

¹ Подчеркивания в письме сделаны В.О.Богомоловым.

щей инстанции», неожиданно вернулся ко мне уже... переплетенным.

Это был чудесный случай: генерал-лейтенант из этой инстанции, который внимательно прочел рукопись и дал свое заключение по роману, наверное, был абсолютно уверен, что его никто никогда не напечатает в государстве. Он отдал рукопись переплести и увез к себе на дачу (в личную библиотеку!), а сам уехал отдыхать в Сочи. Как у участника войны и прослужившего в армии свыше 30 лет, у него было 45 суток отдыха.

Сам по себе факт увоза рукописи из учреждения противозаконен. Думаю, что в течение 1,5 месяцев, пока он загорал, купался и отдыхал, а редакция металась в поисках рукописи, сотрудники пережили не лучшие моменты в своей жизни.

Переплетенный экземпляр вернулся с небольшими личными пометками на полях, не хватало только для полного личного удовольствия генерала благодарственной надписи автора на экземпляре.

На заключительном этапе конфронтации главред «Юности», после того, как в телефонном разговоре я в категоричной форме высказал еще раз все, что я думаю о действиях редакции и лично его, и заверил, что после этого из деликатности даже оправляться с ним на одном километре не сяду (грубо, конечно, но заслуженно), наконец осознал, что роман в «Юность» никогда не вернется, и неожиданно отдал В.П.Аксенову не как частному лицу, а как редактору издательства «Молодая гвардия», в котором будет публиковаться роман, 7 или 8 документов, в том числе подлинники трех заключений спеццензур, которые в тот же день оказались у меня.

Когда же я получил остальные три экземпляра рукописи и увидел пометки на полях — «автографы» и «мнения» ведомств, представлявшие собой шедевр чуши и нелепости, я понял, что я их одолею.

На этом мои отношения с «Юностью» закончились, но судьба романа находилась в подвешенном состоянии. После разрыва с «Юностью» я вообще решил отказаться от журнального варианта, решил, что мне надо отбить все заключения и претензии всех этих ведомств, чтобы роман вышел отдельной книгой в «Молодой гвардии».

ЖУРНАЛ «НОВЫЙ МИР»

В этот момент в журнале «Новый мир» происходит чрезвычайное происшествие: цензура снимает уже набранный роман писателя Вергасова о войне.

В этом романе какой-то подполковник попадает на полк, полк совершенно разваленный, там полный беспредел. Он восстанавливает этот полк и с этим полком уходит в бой (так мне рассказывали содержание этого романа).

Цензура не стала читать до конца, она уперлась в начало: пьянство, дезертирство... и сняла роман совершенно.

Из-за этого снятия обнажилось место (три номера «Нового мира» оказались пустыми). Один номер заполнили «Волчьей стаей» В.Быкова, в остальных до конца года оказался пробел, который надо было срочно занять.

Мне позвонила из «Нового мира» редактор Инна Михайловна Борисова и сказала, что накануне в редакции был В.Быков, который сообщил, что «у Богомолова есть готовый роман». После этого я отдал рукопись в «Новый мир».

В течение двух суток роман прочли 5 человек, как потом мне было сказано, на одном дыхании: Косолапов (главный редактор), его замы – Олег Смирнов, Феодосий Видрашку и еще двое. Читали по кускам, передавая друг другу: роман надо было срочно ставить в номер.

Впечатление от романа (без преувеличения!) было восторженное, но как только Косолапов узнал, что у меня в оппонентах КГБ и Министерство Обороны, он уполз в кусты и все это подохло. Спустя месяц Косолапов ушел в отпуск, но фактически был освобожден, так сказать, за идейный просчет с посылком в набор романа Вергасова. Он ушел в отпуск, чтобы не вернуться. Выполнять обязанности главного редактора стал Олег Смирнов. Это человек, которому я обязан тем, что журнальная публикация романа состоялась.

О.Смирнов, сам участник войны, после прочтения рукописи позвонил мне, пригласил в редакцию журнала и сразу заключил со мной договор, хоть я и отказывался, на совершенно фантастических условиях с оплатой 400 рублей за авторский лист. Я был ошеломлен – мне никогда по 400 рублей за лист не платили: тогда это был предел – только для лауреатов Госпремий.

В «Молодой гвардии» притормозили сдачу романа в производство до появления журнального варианта.

БОРЬБА ЗА РОМАН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Началось мое единоборство, упорная, изматывающая многомесячная борьба за авторский текст романа с многочисленными «инстанциями» и оппонентами из разных ведомств, через которые пришлось пройти, чтобы исключить вчиняемые купюры, отбить необоснованные замечания.

Какие претензии предъявляли мне по рукописи в разных ведомствах? Прежде всего, они были все одинаковые, и у меня возникло ощущение, что это — согласованные действия и согласованные заключения. Впоследствии это нашло свое подтверждение.

Первая претензия: полное изъятие главы «В Ставке ВГК». Рецензентов не устраивал образ Сталина. Говорилось мне при этом так: «Если он был изверг — у вас Сталина боятся все окружающие его в Ставке люди, — если это так, то как же мы выиграли войну? Ну, как вы это представляете? Да если они его так боялись, они не могли рядом с ним работать, тем более плодотворно».

Второй момент — взаимодействие родов войск (глава «В стоде»), где встречаются представители трех ведомств, причем обстановка там не лучшая, там душно, не на чем сидеть и прочее. Конечно, там возникает противоречивая, конфликтная ситуация. «Как это так? — говорили мне. — Все наши ведомства действовали в войну согласованно, именно благодаря этому мы выиграли войну».

Третья претензия, которую мне вчиняли: противопоставление героев романа, розыскников, — уполномоченным в частях, в частности, уполномоченному в автобатальоне лейтенанту Комолову.

Четвертая — в чрезвычайном розыске трех агентов задействовано свыше 20 тысяч человек. «Сталин что, был дураком, самодуром, что закрутил такую машину?»

Но я-то знал, что в чрезвычайном розыске 43-го года весь этот «предельный режим» осуществлялся от Владивостока и до передовой, у меня же — только в тылах двух фронтов — значительно меньше. Не знаю, смог бы я это доказать, но в это время на юге ловили какого-то убийцу по фамилии Алексеев. В газете я прочел, что к его поимке было привлечено чуть ли не два с половиной миллиона человек. Предъявив вырезку из газеты

с публикацией об этом событии в «инстанции», я сказал, как же так, убийцу трех человек ловит вся страна, и это нормально. У меня же в романе опаснейшую разведгруппу ловят 20 тысяч человек и это вас не устраивает.

Упреждая мыслимые и немыслимые замечания и чтобы просветить «экспертов», я направил в каждое ведомство пояснительный материал на 42 страницах с подтверждением, перечислением и указанием конкретных литературных источников, в которых многие термины, понятия, специфическая терминология, некоторые действия и отдельные факты оперсводок, задействованные в моем романе, начиная с 1944 года неоднократно были опубликованы в открытой печати и, следовательно, как я полагал, должны были снять многие вопросы закрытого цензурирования романа.

У всех этих ведомств была совершенно общая позиция или концепция: советская литература обязана изображать только позитивные явления. Об этом следует напомнить автору и тому, кто этот материал собирается печатать.

И главное — это отношение «ведомственных» людей к автору. Автор, в их понимании, изначально «пидарас» и скрытый антисоветчик, это щелкопер, пишущий человек, ему за это платят деньги. Если он написал не то, что хотелось бы и соответствовало их вкусовым представлениям, то это подлежало изъятию.

На полях рукописи писалось: «Выбросить!», «Необходимо изъять», «Опустить», «Снять», «Выбросить целиком» или «Выбросить полностью» — причем писали на полях совершенно безапелляционно. Для них то, что не укладывалось в позитивные явления, истолковывалось как искажение советской действительности — и автору надо было «вправить мозги» и показать, «как надо Родину любить».

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВОЕННОМУ ПРОШЛОМУ

Я не испытывал никакого пиетета к ведомствам, я их не боялся, потому что свою «школу страха» прошел во время войны. Я три раза на войне оказывался в эпицентре чрезвычайных происшествий, фигурантами которых были мои подчиненные. Причем это были тяжкие по военному времени происшествия,

о которых докладывалось в 8–10 адресов, включая не только командование фронтом, но и генеральный штаб в Москве, главного Военного Прокурора и прочее. Это были серьезные вещи, серьезные чрезвычайные происшествия, за которые грозил военный трибунал.

В одном случае это был среди трех человек, перешедших на сторону немцев, «нацмен», который числился в моем взводе; в другом — мародерство в полковой похоронной команде, которую я после медсанбата, будучи ограниченно годным, возглавлял около недели; третье — отравление спиртоподобной жидкостью четверых красноармейцев моего взвода.

Меня таскали, я был невиновен.

Но была система и были люди.

«Нацмен» только числился в моем взводе, я его не видел, он был поваром на батальонной кухне, его регулярно возили к командиру дивизии готовить необыкновенный плов.

Во время дознания, к своему удивлению, я узнал, что у него было офицерское, чисто шерстяное белье, у меня — х/б (хлопчатобумажное), у него — яловые сапоги, у меня — кирза, то есть мы находились с ним на разных уровнях (хоть он и был «придурком» — как говорили в армии).

Что касается мародерства: я в этой полковой похоронной команде был всего неделю, а мародерничали там месяцами. О том, что они мародерничали, я до этого ничего не знал, увидел впервые, когда ночью при свете фонарика меня разбудили в избе и показали плоскогубцы, клещи и мешочек из-под махорки, набитый золотыми коронками, часами и серебряными изделиями.

Третий случай — в мае 1945 года, вскоре после войны, — отравление метиловым спиртом в моем взводе: два со смертельным исходом, а двое — ослепли. Я не был виноват, потому что оставил за себя в выходной воскресный день дежурного офицера.

Во всех случаях прокуратура, которая в войну работала с исключительно обвинительным уклоном, контрразведка, которая являлась правоохранительным карательным органом, командование — не требовали предания меня суду военного трибунала, хотя меня наказывали и в двух случаях я был отстранен от занимаемой должности. Меня даже понизить было

нельзя: я был Ванька-взводный — дальше фронта не отправят, меньше взвода не дадут.

Но кто требовал моей крови, кто писал заключения?

Внештатные военные дознаватели, то есть свои братья-офицеры. В официальных заключениях по материалам дознания они требовали предания меня суду военного трибунала — пытались «кинуть под Валентину» («Валентина» или «Валентина Трифоновна», сокращенно «ВТ» — так называли военный трибунал) и «сломать хребет».

Кто же были эти дознаватели? Это офицеры, которым поручали проведение дознания.

В армии строевые командиры, за величайшим исключением, не назначались военными дознавателями, только начальники служб: начфин, начхим и т. д., то есть как бы общественники.

В одном случае это был красивый, молодой, с голубыми глазами парень, лет на пять-шесть старше меня, выпускник архитектурного московского института, начинж полка; в другом — майор, начхим дивизии, пожилой человек, лет 45–48, с высшим образованием, интеллигентный; в третьем — инспектор политотдела корпуса, тот прямо из порток выскакивал, так хотел кинуть меня под трибунал.

Сами дознаватели не имели права арестовывать офицера без санкции командира полка, дивизии. Меня спасло то, что я был молодой, несовершеннолетний, мне еще не было и 18 лет, и ни командир полка, ни командир дивизии не дали меня на съедение.

В армии дознавателей не любили, они пытались переплюнуть и прокуратуру, и контрразведку, подводя результаты дознания под трибунал.

А этот парень, начинж, погиб спустя месяц. Он в порядке инженерно-саперной подготовки демонстрировал офицерскому составу полка немецкое подрывное устройство, которое вывели из боя. Начинж, старлей, на глазах 60 офицеров полка включил подрывную машину, а взрыва не произошло. Он пошел к пеньку, под который был заложен заряд, наклонился, что-то там под пеньком тронул — и от начинжа нашли ошлепки гимнастерки и медаль (без колодочки) «За отвагу».

Начхим, пожилой человек с бритым черепом, встретил меня мрачно, после допроса, с совершенно зверской рожей,

советовал: «начальство тебя куда ни вызовет — кайся: виноват, товарищ майор, виноват, товарищ полковник», при мне куда-то позвонил и сказал: «так он же несовершеннолетний, ему 18 лет нет» и... пишет заключение: «Предать суду и военному трибуналу» (именно так — суду и военному трибуналу).

Они меня так в жизни задели, столько желали зла...

КОНСПИРАЦИЯ

В.П.Аксенов был убежден, что за мною ведется наблюдение и телефон прослушивается, его подозрений я не разделял, но предложенную им конспирацию соблюдал неуклонно.

Он звонил мне по телефону и с радостным азартом сообщал: «Приехали четыре ядерных телки! Групповичок!!! Жратвы повывезли и выпивки — целую корзину! Вот погужуемся!»

Мы весело хохотали и, если бы нас подслушивали, должно было бы создаться впечатление, что два мужика радуются предстоящей выпивке и групповому сексу с приехавшими телками.

Меж тем это сообщение означало, что поступило очередное заключение на мой роман и он уже снял в «Юности» копию, что в этом документе четыре страницы и опять требуют изъятия текста (словом «ядренный» шифровались императивность и категоричность предложений так называемых «спеццензур»); «целая корзина жратвы и выпивки» означала, что возвращенный экземпляр рукописи разрисован замечаниями, пометками и обозначениями купюр, «групповичок» — что в «экспертно-консультационном чтении» участвовало несколько человек и таким образом прибавилось три или четыре оппонента, а радостное: «Вот погужуемся!» свидетельствовало, что замечания на полях рукописи и «рекомендации» опять же нелепы и абсурдны и я смогу их использовать в дальнейшей борьбе.

После этого мы встречались в одном из трех кафе неподалеку от издательства. Аксенов приезжал на «Москвиче» с ручным управлением, мы обедали, и он передавал мне какую-нибудь книгу с вложенными в нее копиями.

ПРЕСС-БЮРО КГБ.

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ КРАВЧЕНКО

С мая месяца я стал регулярным посетителем Пресс-бюро КГБ и Министерства Обороны, чтобы при личном контакте с этими людьми из разных ведомств, определявших судьбу романа, отбивать нелепые замечания. Я имел все их заключения, с которых В.П.Аксенов вначале снимал копии в «Юности», а затем, после разрыва с «Юностью», получил и все остальные. Но они-то не знали, что я об этом знаю и у меня на руках их заключения и экземпляры рукописи с «автографами» рецензентов на полях.

В обоих ведомствах были очень крутые разговоры.

В КГБ я общался только с Пресс-бюро, поначалу все было достаточно вежливо, разговаривали спокойно и даже понимающе изредка улыбались, однако, прожимая свои купюры, действовали закулисно и, как потом подтвердилось, за спиной кидали подлянку.

При разговоре — помимо начальника Пресс-бюро Владимира Федоровича Кравченко — всегда присутствовали два человека: полковник и генерал, все рассаживались за длинным полированным столом, в углу кабинета за приставным столиком сидел еще один полковник, который никогда в разговор не вступал (может, вел стенограмму разговора).

В первый мой приход сотрудница КГБ, молодая интересная брюнетка в кокетливом переднике, бесшумно внесла в кабинет поднос и поставила на стол стаканы чая в подстаканниках и два блюдечка с несколькими конфетами и печеньем, как я про себя отметил, двух одинаковых на них не было. При последующих посещениях чай уже не подавали.

Я слушал все молча, всем им давал выговориться, чтобы получить максимум информации и иметь представление. Обыкновенно я слушал, опустив голову, как бы покорно, а потом начинал: сначала спрашивал, кто из них правил мне стиль в рукописи, я хотел бы тому посмотреть в глаза; в ответ — молчание; а потом я заявлял, что без согласия автора никто не имеет права вносить какие-то поправки в текст.

Для них это было полным откровением.

Тогда я предъявляю начальнику Пресс-бюро Гражданский кодекс РСФСР, раздел «Авторское право», 480-ю главу. Он

внимательно смотрит на титул, я ему говорю: «Да нет, это не за океаном, это у нас издано, это закон РСФСР, которым вы должны руководствоваться в своей деятельности».

Он передает эту книжку своему подчиненному, полковнику, и тот списывает 480-ю главу на моих глазах — и списывает титул Кодекса! То есть они работают десятилетиями и ни один автор в это их не ткнул носом.

Затем начиналась «электросварка», которая длилась несколько часов. Есть у меня особенность: в моменты максимальной концентрации внимания я должен сосредоточить свой взгляд на каком-либо объекте или предмете. Таким предметом стал мой кейс, в котором я приносил необходимые для разговора документы. Я ставил кейс на шикарный полированный стол и автоматически поворачивал его в сторону говорящего, внимательно слушал, затем отвечал, подтверждая все заготовленными документами, где надо — давил демагогией — использовал их же оружие. По мере неоднократных движений кейса на столе агрессия говорящих уменьшалась, появилась какая-то скованность, осторожность в выражениях, люди менялись на глазах.

Анализируя их поведение дома, я предположил, что они посчитали, будто в моем кейсе находится диктофон и я их записываю. В моих автоматических действиях они, наверное, заподозрили (предположили), что я использую их повседневные излюбленные методы.

Если так себя вели в Пресс-бюро КГБ, где были люди более образованные, более грамотные и воспитанные, и чтение рукописей — их постоянная работа, то что можно было ждать и требовать от армейских генералов?

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

В Министерстве Обороны народ был просто темный и вели они себя довольно откровенно.

Я этих людей, в общем-то, себе представлял. Это были боевые офицеры, которые прошли войну, кончили войну командирами роты, батальона или полка, продолжили в послевоенное время служить в армии, дослужились за десяти-

летия до генералов и осели в различных тепленьких и не пыльных ведомствах — я по колодкам на кителях видел, что это боевые офицеры Отечественной войны. И вдруг возникает такая вещь: нужно консультационное заключение по рукописи художественного произведения. Вызывают человека, который никакого отношения ни к литературе, ни к рецензированию не имеет, но который горд полученным поручением, и он отстаивает все, что не соответствует его представлениям.

Ты приходишь — там сидит начальник Управления какого-нибудь, генерал, причем он разъярен совершенно, что ты к нему добиваешься пропуска и ты его заставляешь этот пропуск тебе выписать, он уже против тебя настроен враждебно. Конечно, разговоры там были как с подчиненными по принципу: «я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак». Поскольку он здесь начальник — я дурак.

Захожу в один кабинет. Нормальный мужик, постарше меня, седоватый, но крепенький, подобранный. Здравуюсь с предельной приветливостью: «Добрый день!»

Как он меня понес! «Распустили вас... Я не обязан вас принимать, а вы лезете! Кто вы такой?! Каждый писака считает себя вправе ставить ультиматумы генералам! Обнаглели и распоясались!» Поорал пару минут.

Я не удивился, потом спокойно спрашиваю: «Простите, вы не скажете, какое учебное заведение вы окончили?» Он неприязненно отвечает: «А какое вам дело?»

Я говорю: «Просто мне интересно». «Вот!» — с гордостью показывает на китель, у него там значки об окончании военного училища и академии. И сразу раздражается.

Я продолжаю: «Вы понимаете, я говорю скорее о гуманитарном образовании. Вы вот здесь «документ» написали через «а», вот здесь еще в двух местах совершенно чудовищные грамматические ошибки. Может, у вас своя «ведомственная орфография»? Вы понимаете, что этот вопрос не цель моего визита, но он меня беспокоит. Причем, как гражданин, я считаю своим долгом обратиться в ЦК КПСС, потому что если у нас оборона находится в руках людей, которые пишут «документ» через «а» и прочее, то в этой стране жить ведь опасно и страшно».

Это люди, которые разговаривают с тобой как с подчиненными, не стесняясь в выражениях, резко, грубо, и если их не тормозить, они ничего не понимают.

Одному такому армейскому генералу я тоже показал Кодекс, он его читает и говорит: «Ну и что? Это же ваш гражданский Кодекс, а мы военным руководствуемся».

И все... То есть это люди специфические.

Были и угрозы. За два месяца до этого я сумел попасть к другому генералу и он мне орал: «Вам предписали, а вы не выполняете! Кто вы такой?! Советская власть, она что — кончилась?! Кто вы такой?! Кто вас уполномочил, кто вам дал право описывать Ставку и Сталина?!»

Я и ему протягиваю Гражданский кодекс РСФСР, а он мне кричит: «Я его в гробу видал. У нас свой военный кодекс!»

Как только я стал осаживать его на место, он спросил: «Вы где прописаны, в каком районе?»

Я сказал, и он, повернувшись к боковому столику с телефонами, нажал какую-то кнопку или рычаг и, не беря ни одну из трубок, закричал: «Самойленко! Райвоенкома Краснопресненского через полчаса на связь!»

Потом повернулся ко мне и объяснил: «Я вас отправлю на шестимесячные сборы — в Кушку! Поползаете там полгода в барханах со змеями и тарантулами — живо придете в чувство! Мы вас научим уважать Советскую власть!»

Тот первый генерал хоть сесть разрешил, а этот даже не предлагает. Стою у приставного столика, опустив голову, а он разоряется, не понимая, что заряжает меня и ожесточает. Вы впервые видите человека, у вас еще не может быть к нему ни злости, ни неприязни. А этот не понимает, что чем больше он орет, тем жестче я возьму его за горло.

Наконец он мне надоел. Отодвинув стул у приставного столика, я сажусь, открываю папку и говорю: «Насчет наряда, гауптвахты и командировки в солнечную Туркмению — это все эмоции, лирика! Давайте по существу — я же не целоваться к вам пришел. Это ваше заключение?» — и протягиваю ему бланк.

Он кричит: «Я не разрешал вам садиться, а вы сели! Вы что здесь себе позволяете?! Совершенно обнаглели и распоясались!»

Затем стал читать, покраснел и с возмущением спрашивает: «Где вы это взяли?»

А я ему невозмутимо: «Это мне дали в Инстанции».

Инстанцией они тогда ЦК КПСС называли и писали это слово в документах обязательно с большой буквы. Разумеется, я врал — все копии мне передавал В.П.Аксенов.

И вот эти люди, до того читавшие только свою специфическую литературу, приказы, Уставы, может, еще мемуары военачальников, получали приказание написать заключение на художественное произведение.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

а) идеология

Несмотря на то, что я направил обширный справочный материал (им не надо было даже прилагать усилий), разъясняющий многие термины и действия, они или его не читали, или полностью игнорировали, находясь в мире раз и навсегда выстроенного уставного порядка; мне по новой вчиняли необоснованные замечания и поправки, которые не должны были бы даже возникать, будь у них здравый смысл.

Они даже не понимали, что это отнюдь не документальное произведение, а художественная, идеологически направленная легенда. Они все написанное воспринимали буквально и выражали свое непонимание, недоумение и возмущение на полях рукописи.

Они наверняка были убеждены, что экземпляры рукописи пойдут куда-то в архив и автор никогда не увидит и не прочтет то, что так щедро писалось на полях.

Эти люди, тем не менее, уловили в рукописи то, что впоследствии кратко сформулировал К.Симонов: «Это роман не о военной контрразведке. Это роман о советской государственной и военной машине сорок четвертого года и типичных людях того времени».

Один из рецензентов писал на полях авторучкой крупно и размашисто, другой — каллиграфическим почерком тонким простым карандашом.

Главы романа они обзывали «параграфом»:

Параграф 56-й (это глава «В Ставке ВГК», 17 машинописных страниц) — *выбросить полностью!* И так по «параграфам» — 20, 52, 73-й и т. д.

Кто дал право автору публиковать секретные документы? — *целые страницы перечеркнуты.*

Кто разрешил снятие копий с оперативных документов и сводок? — *Зачем это? Выбросить целиком!*

Кто разрешил опубликование этого документа? — *Об этом нельзя! Выбросить!*

Кто дал право автору на каждом шагу упоминать Ставку?

Проконсультировать в Инстанции!

Радиоигру — везде заменить на мероприятие.

Как название советских органов может быть пугающим? — *Название «Смерш» везде выбросить! Оно нас не украшает.*

Зачем печатать подлинные документы? — *Они нас не украшают и т. д.*

Эти стражи государственности и единственно правильной идеологии, как они привыкли себя считать, в сугубо патриотическом романе не преминули поискать «идеологических блох», выразив это безапелляционно: «Позиция автора».

Например, в главе, где Аникушин, боевой офицер, раздраженный с точки зрения персонажа перестраховочными действиями группы Алехина и «спецификой» их работы, поучениями о бдительности, вспоминает анекдот: «Чем отличаются особисты от медведя?.. А тем, что медведь спит только зиму, а особисты — круглый год...».

Сбоку на полях: *Позиция автора! Не любит Советские органы!*

Аникушин сообщает Алехину, что за четыре года службы в армии «власовцев, дезертиров, паникеров... видел, но шпионов — ни одного! А вас, охотничков, — как собак нерезаных!.. НКВД, НКГБ, контрразведка, прокуратура, трибуналы... И еще милиция!..»

На полях один пишет: *Стыдно это читать! Все об органах выбросить!*

Другой: *Откровенная позиция автора! Вряд ли капитан мог так откровенно болтать.*

В тексте, где начальник милиции объясняет Алехину настороженное поведение и неразговорчивость местных жителей, говорит: «Темный народ, забитый. Западники...».

На полях — *Темные люди применительно к советским гражданам это — антисоветчина. Выбросить!*

В главе, где пьяный старшина в парикмахерской произносит такую фразу (не автор, а пьяный персонаж): «Это тебе не с нашей Дунькой: погладил по шерстке — и замурлыкала».

Генерал на полях пишет: Кто дал право автору позорить нашу Советскую Дуньку? (причем «советскую» написано с большой буквы).

Другой написал: Зачем обливать грязью нашу Дуньку? В таком контексте слабость Дуньки возводится автором в национальную черту.

В главе «В стодоле», где задыхающемуся генералу пытаются расстегнуть китель и вынести его на свежий воздух, —

один пишет: *Это хулиганство. Параграф выбросить полностью;*

другой: Советская литература должна изображать только позитивные моменты. Об этом следует напомнить автору и тем, кто этот материал будет печатать.

б) правка стиля

А как они мне правили стиль!

Мысленно герой оценил ситуацию «как весьма хреновую», генерал «Шарииков» вычеркивает «хреновую» и сверху пишет «*плохую*»;

уборную — заменяет на *сарай*;

агентурные данные — на *полученные*,

мороз был около пятнадцати градусов — на *крепкий*;

заподозренные нами — на *обратившие наше внимание. Язык!*

энергичный инструктаж — на *обстоятельный*;

шайки обыкновенных дезертиров — на *бандитов. Об этом не упоминать!*

тыловая гусятина, лопух злокачественный (выражение Таманцева по поводу действий Аникушина) — *Язык! Стиль! Опять ругань! Выбросить!*

В тексте Таманцев ведет наблюдение за домом из заброшенной уборной, вынужденный, чтобы не быть обнаруженным, простоять не шевелясь свыше пятнадцати часов — на *целый день* и на полях приписка — *не лучшее место для наблюдения. Уборную — заменить!*

Вы ко мне некачественно относитесь — на *плохо. Язык! Что за выражение?*

Отстранив московских полковников — *Вычеркнуть. Нужны бы другие слова.*

В главах, где на поляне Алехин начинает проверку документов и отображен «поток мышления»,

один пишет: *Алехин «качает» проверяемых, а автор — читателя;*

другой: *Отдельные слова и точки. Это же бред какой-то! Неужели это собираются печатать?*

Попытка членовредительства с целью уклонения от мобилизации — *Стиль! Язык! Выбросить! Это позорит Советскую армию.*

Читая с огромной ответственностью рукопись романа, генералы так входят в его действие, настолько им нужен их уставной порядок, что пишут на полях, ей Богу, нарочно не придумаешь, чистый анекдот, обхохочешься.

В главе «В стодоле», где (так бывает в экстремальных ситуациях) не позаботились, не привезли ни скамеек, ни стульев, и людям — полусотне человек — в душной, жаркой стодоле не на чем сидеть.

Генерал на полях пишет: *«Скамьи и стулья должны немедленно привезти!»*

Дальше, в этой же сцене, где у старика-генерала развивается приступ удушья — он задыхается, на полях написано: *«Советский генерал не должен задыхаться, давиться кашлем и лить слезы. Стыдно это читать. Генерала — выбросить!»* (выбросить — подчеркнуто).

В главе «На поляне» написано: «На разостланной под березками плащ-палатке, похрапывая, мертвым сном спал Таманцев — «похрапывая, мертвым сном спал Таманцев» вычеркнуто и на полях мнения:

один написал: *Операция продлена на несколько часов (суток — не дали), а Таманцев — спит!*

Другой «писатель» более категоричен: *Такая ответственная операция, а Таманцев спит и еще похрапывает. Выбросить!* (выбросить подчеркнуто).

Там такой чуши было полно, всего и не перечислить.

Вот такие вещи были отражены на полях людьми, которые получили приказание написать заключение.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС:
«ЦАРАПАЙСЯ САМ!»

Когда в «Новом мире» закрутилось с публикацией романа и главный редактор Косолапов перепугался, а по Москве ходил слух: не то Богомоллов бодается с ведомствами, не то ведомства «употребляют» Богомоллова, мне позвонил ответственный консультант ЦК КПСС Игорь Сергеевич Черноуцан (жена его работала в издательстве «Художественная литература» и была раньше моим редактором) и попросил принести рукопись.

При встрече он мне прямо сказал: «Знаешь, я вообще не люблю такую литературу, где шпионов ловят. Я ни шпионов, ни чекистов терпеть не могу». Прямо сказал, открытым текстом. «Но я это прочту».

Через два дня он мне позвонил сам и буквально сказал: «Устроил мне бессонную ночь. Роман прочел с огромным интересом. Ты даже не представляешь, что ты написал. У романа – будущее, и пусть все ведомства застрелятся!».

Затем роман прочел зам. зав. отделом культуры ЦК КПСС А.А.Беляев и все сотрудники его отдела. Впечатление от романа было очень хорошим: роман высоко патриотичен, не содержит идеологических перекосов, в советской литературе еще не было столь интересного в композиционном плане произведения, великолепно показана «слаженность внутри группы и слаженное расторопное взаимодействие всей службы», написан образным живым языком и автор досконально знает фактологию материала и т.д.

Отделом культуры ЦК КПСС по пятисотстраничному роману было сделано всего одно замечание, касающееся четырех строчек; мнение И.С.Черноуцана было особенно важно, поскольку он ведал в ЦК КПСС изображением И.В.Сталина в художественной литературе и кинематографии и в этом вопросе являлся наибольшим авторитетом, отчего главу 56-ю («В Ставке ВГК») он не просто читал, а изучал, и дал ей высокую оценку – «Все акценты расставлены необычайно точно».

Об автографах на полях и правке стиля Игорь Сергеевич со смехом сказал: «Дубье!», а по поводу замечаний категорич-

но: «Вы не должны принимать необязательные поправки, которые могут ослабить произведение. Здесь мы вас поддержим».

Посоветовал при публикации взять второе название романа, вместо «Возьми их всех!» («детективщина, несерьезно») — «В августе сорок четвертого...», хотя и оно ему тоже не нравилось, из-за того, что как бы перекликалось с солженицынским «Август четырнадцатого».

Я предложил третье — «Момент истины», но И.С. Черноуцан глубокомысленно заметил: «Повремени. Они из-за одного названия встанут на дыбы, замотают, придется тебе писать еще 50 страниц обоснования и что ты под этим подразумеваешь. Восстановишь потом. Сейчас перед тобой более важные задачи».

И заключил разговор: «Ну что я тебе скажу? Я в курсе дела, я знаю, кто у тебя в оппонентах, во главе этих двух ведомств — члены Политбюро¹. Кто с ними будет царапаться? Петр Нилыч?² У него и так всю дорогу полные штаны. Кто будет за тебя здесь? Нет, царапайся сам!»

И вот это «царапайся сам» — было основное указание, если можно так сказать, которым я руководствовался в своих действиях, когда знаешь, что ты отстаиваешь и что тебе никто в этом не поможет.

И я «царапался».

КГБ. ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРОПОВ

Хочу еще раз напомнить, что я предполагал определённые цензурные трудности, с которыми «Юность» может столкнуться, не скрывал этого и, чтобы избежать их и даже упредить, я еще в апреле месяце обратился с письмом

¹ Юрий Владимирович Андропов, Председатель Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР, генерал армии, Герой Социалистического Труда, член Политбюро ЦК КПСС.

Андрей Антонович Гречко, Министр Обороны СССР, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, член Политбюро ЦК КПСС.

² Петр Нилович Демичев, Министр культуры СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.

к Ю.В.Андропову (Председателю КГБ) и в УОО (Управление Особых отделов).

Хочу пояснить, чтобы быть правильно понятым. Многие годы я работал над романом в полном одиночестве без какой-либо помощи «органов», и в своем письменном обращении к лицам, возглавлявшим самые закрытые и всемогущие ведомства, я просил об оказании поддержки, чтобы органы госбезопасности, допустим, взяли своего рода шефство над романом, восславляющим одну из их служб, подвергавшуюся долгое время диффамации и очернительству.

Аргументируя свою просьбу, я выделил основные моменты: изображение в художественной литературе патриотизма, мужества, самоотверженности советских людей (армейских чекистов) — в интересах органов госбезопасности, а взятие дела «Неман» на контроль Ставкой подчеркивает особое внимание, которое ему уделяется, и огромное значение, которое придается борьбе со шпионажем не только «органами», но и государством, в данном случае И.В.Сталиным.

Я в душе надеялся и даже наивно рассчитывал, что в Комитете госбезопасности, как ни в одном другом ведомстве, положительные образы героев романа и их работу — «немногим, которым обязаны многие...» (эпиграф к роману) — поймут, проникнутся и одобряют.

Как ни удивительно, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы поддержать роман или как-то мне помочь. Наоборот, в последние три месяца, вольно или невольно, сотрудниками комитета были допущены прямо противоположные недружественные действия.

И только значительно позже я понял все.

В середине 80-х годов, уже после смерти Ю.В.Андропова, мне показали резолюцию, которую он оставил на официальном обращении Комитета по кинематографии для получения разрешительной визы ведомства на экранизацию романа:

«Автор обожает розыскников и они не могут не нравиться. Розыскники — младшие офицеры — изображены автором ярко, с уважением и любовью. Они профессиональны, достоверны и несравненно привлекательней Верховного Главнокомандующего и его окружения. В результате вольно или невольно возникает противопоставление младших офи-

церов системе высшей власти, не украшающее ее и в какой-то степени компрометирующее. Роман получил активное признание и не считаться с этим не следует. Я не говорю категорически: «Нет!». Я считаю нужным высказать свое сомнение: а нужно ли подобное противопоставление тиражировать средствами важнейшего и самого массового вида искусств — кинематографа».

Юрий Владимирович Андропов, многолетний чекист по духу и стилю руководства, наверно, постеснялся увидеть представителей своей службы с человеческим лицом, с их ошибками и слабостями, побоялся, что зомбированный временем и историей страх к ним может смениться некоторым уважением и симпатией, чего делать ни при каких обстоятельствах не надо.

Могущественное ведомство всегда отличалось острым «нюхом» как профессиональным, так и дипломатическим, политическим.

Они знали, чувствовали, хоть это нигде не было высказано, что нет однозначности, твердости в оценке романа руководством, и потому «катали Ваньку» по многочисленным инстанциям, надеясь, что там выищут что-нибудь, за что можно зацепиться мертвой хваткой, и тогда продавливать автора по всем законам их жанра.

МОЛЧАНИЕ ВЕДОМСТВА. ГЕНЕРАЛ АРМИИ П.И.ИВАШУТИН

К середине лета 1974 г. уже было известно мнение Отдела культуры ЦК КПСС, имелось заключение Пресс-бюро КГБ от 21 мая, что «в рукописи романа не содержится сведений, содержащих государственную тайну»; несмотря на это рукопись направили на «консультацию», так они называли спеццензуру, в Минобороны, «поскольку роман затрагивает интересы Министерства обороны», но и спустя почти три месяца этого заключения не было.

Я направил телеграмму в Министерство Обороны генералу армии П.И.Ивашутину с просьбой содействия в ускорении консультации.

ТЕЛЕГРАММА¹

«МОСКВА К-160 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ТОВАРИЩУ ИВАШУТИНУ ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ

Многоуважаемый Петр Иванович тчк уже третий месяц на консультации в министерстве находится мой роман о военных контрразведчиках тчк это не документальное произведение зпт а специально разработанная художественная идеологически направленная реабилитационная легенда зпт задача которой задействовать в сознании многомиллионного читателя сугубо положительные образы особистов зпт подвергавшихся многие годы диффамации и очернению тчк роман написан исключительно по открытым материалам и все в нем подчинено в первую очередь задаче моральной реабилитации особистов тчк и в редакциях зпт и у руководства отдела культуры ЦК КПСС роман получил самую хорошую оценку зпт было сделано всего одно частное замечание касающееся четырех строчек тчк на тщательное цензурное изучение романа и оформление визы с указанием зпт что роман не содержит сведений составляющих государственную тайну зпт комитету госбезопасности понадобилось не многим более месяца тчк в министерстве же обороны роман находится уже почти два с половиной месяца зпт хотя просили не визу зпт а всего-навсего необязательную зпт по мнению отдела культуры ЦК КПСС зпт в данном случае консультацию тчк такая задержка фактически уже сорвала журнальную публикацию этого сугубо патриотического произведения тчк убедительно прошу вашего Петр Иванович содействия в ускорении консультации тчк с уважением тчк. Богомолов»

Одновременно я письмом информировал заместителя заведующего Отделом культуры ЦК КПСС А.А.Беляева о том, что «воз» и донныне в Минобороны:

«Многоуважаемый Альберт Андреевич!

На прилагаемый роман Пресс-бюро КГБ (№ 4-ПБ-426 от 21 мая 1974 г) дано заключение:

¹ Копия телеграммы и приложенная к ней почтовая квитанция об отправлении – в архиве В.О.Богомолова.

«В материале не содержится сведений, составляющих государственную тайну»

В том же заключении было написано: «Поскольку роман затрагивает интересы и Министерства Обороны, нам представляется полезным получить консультацию этого ведомства».

В связи с этой последней фразой роман уже третий месяц находится на чтении в Министерстве Обороны; как я понял, там не могут понять, чего от них хотят, и перекидывают рукопись от одного к другому.

Шестой месяц и в редакциях и в КГБ автору высказывают одни восторги, роман называют «уникальным», «героическим», высокоидейным и т. д.; автор же в июне был доведен до прединфарктного состояния бесконечным закулисным чтением рукописи.

С уважением

Богомолов
25.07.74 г.»

Хорошо помню июльский полдень 1974 года, когда И.С.Черноуцан, ознакомившись с десятками замечаний на полях и убедившись, что среди них нет ни одного относящегося к компетенции людей, их писавших, сказал мне:

«Там есть очень толковый доброжелательный человек, генерал Бобков. Сейчас пойду и от Беляева «по вертушке» ему позвоню...» (Филипп Денисович Бобков, генерал-лейтенант, возглавлял 5-е Управление КГБ, иначе Управление по борьбе с идеологическими диверсиями, созданное по личной инициативе Ю.В.Андропова, который считал, что «основной функцией органов госбезопасности является защита конституционного строя — не людей, стоящих у власти, а именно устоев государства»).

Минут десять спустя он вернулся и сообщил: «Я с ним говорил, он отнесся с пониманием и все передаст. К сожалению, Пресс-бюро ему не подчиняется...».

Несомненно, разговор Ф.Д.Бобкова с Пресс-бюро повлиял на дальнейшие события, хотя В.Ф.Кравченко, как оказалось, тоже был не лыком шит.

ВОЕННАЯ ЦЕНзуРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА МИНОБОРОНЫ

Заканчивался июль, а Минобороны хранило глухое молчание, летели все планы публикации романа в «Новом мире».

Это подстегнуло меня обратиться письменно в Министерство к Главному военному цензору генерал-майору И.Т.Болдыреву, с которым я еще за полтора месяца до того выяснял отношения, и его заместителю генерал-майору Чистякову И.М.

«В МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
Генералам гг. Болдыреву И.Т. и Чистякову И.М.

Многоуважаемый Иван Тимофеевич!
Многоуважаемый Игорь Михайлович!

Как мне только теперь стало известно, у Вас с мая месяца находится посланный на консультацию редакцией журнала «Юность» мой роман «Возьми их всех!..». В связи с этим, пусть с опозданием, считаю нужным сообщить:

Все события и персонажи романа вымышлены (кроме упоминаемых в главе 56-й «В Ставке ВГК»), однако для создания иллюзии достоверности привязаны к конкретной исторической обстановке и подлинному положению на фронтах в середине августа 1944 года.

Никакими неопубликованными архивными материалами, никакими закрытыми источниками в работе над романом я не пользовался. Все действия и специальные термины, упоминаемые или описанные в романе, многократно упоминаются или описаны в открытой советской печати.

При направлении редакцией рукописи в Пресс-бюро КГБ туда было послано 42 (сорок две) страницы составленного мною справочно-пояснительного материала, и в Пресс-бюро мне прямо сказали, что без этого материала они были бы поставлены в крайне затруднительное положение. К сожалению, при направлении рукописи на консультацию в Министерство Обороны туда не послали ничего, хотя в «Юности» имелись специально мною туда переданные два комплекта справки для Главлита (экземпляры справки – приложение № 5).

По существу вопросов, консультация по которым в Министерстве Обороны представляется Пресс-бюро полезной, считаю нужным заметить:

1. В записи самих вопросов, указанных в визе Пресс-бюро (копия визы – приложение № 1), содержатся неточности.

Так, в пункте а) визы ошибочно указано: «судьба предстоящей наступательной операции двух фронтов». Речь в романе, что совершенно ясно из текста, идет только о судьбе Мемельской операции, которая проводилась силами одного 1-го Прибалтийского фронта, точнее, левым крылом этого фронта.

В том же пункте а) визы ошибочно указано: «группа агентов противника (3–4 чел.)». Речь в романе идет о сильной квалифицированной и разветвленной резидентуре противника, действующей в тылах двух фронтов (3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского) на территории Литвы, Западной Белоруссии и Польши от Шауляя и до Белостока. Только в тексте романа описываются и конкретно указываются как уже известные нашей контрразведке шесть вражеских агентов: Мищенко, Чубаров, Васин, «Матильда», Чеслав и Винцент Комарницкие.

В пункте б) визы Пресс-бюро ошибочно указано: «общевойсковая операция по прочесыванию лесного массива». Речь в романе идет об операции по прочесыванию, проводимой частями войск НКВД по охране тыла фронта, т. е. не об «общевойсковой», а о так называемой «чекистско-войсковой операции» (при двухчасовом разговоре со мной в Пресс-бюро КГБ 16 мая с.г. ее только так и называли).

Должен заметить, что вся подготовка операции по прочесыванию Шиловического лесного массива сделана мною исключительно по открытым материалам, опубликованным в 1944–45 гг. в журнале Войск НКВД СССР «Пограничник» (список статей – приложение № 2).

По этим же материалам в ж-ле «Пограничник» мною было исчислено количество людей, потребное для войсковой операции в Шиловическом лесу. При площади массива около шестидесяти квадратных километров и протяженности опушек около сорока (см. рукопись стр. 223–224) требуется:

Для создания надежного оперативного кольца из парных заслонов при оцеплении по периметру, при норме отделение (10 человек) на сто метров, следовательно всего —	4000 человек
Для двух цепей прочесывания при необходимой в густом лесу дистанции между бойцами не более 5 метров, всего —	3000 человек
Итого	7000 человек

Почему по вопросу войсковой операции, проводимой в Шиловическом лесу подразделениями войск НКВД под командованием начальника войск НКВД по охране тыла фронта, Пресс-бюро «представляется полезной консультация Министерства Обороны», это непонятно ни автору, ни редакциям, ни прочитавшему с большим вниманием роман ответственному консультанту ЦК КПСС по литературе доктору филологических наук, профессору И.С.Черноуцану, пробывшему всю войну на политработе в Действующей армии.

2. В визе Пресс-бюро указано, что представляется полезным проконсультировать в Министерстве Обороны, целесообразно ли доводить розыск до масштабов, когда дело берется на контроль Ставкой.

Со всей ответственностью сообщаю, что во время Отечественной войны было, по крайней мере, три чрезвычайных розыска, которыми интересовался Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин и о ходе которых ему ежедневно докладывали — это можно без труда проверить по архивам военной контрразведки.

Прототипом розыска группы Мищенко является чрезвычайный розыск резидента-вербовщика германской разведки Грищенко, только в моем романе значительно приуменьшены масштабы розыска: Грищенко ловили не только в тылах двух фронтов, как в романе; его ловили военная контрразведка, все органы государственной безопасности и внутренних дел не только в тылах всех фронтов, но и на всей территории страны. (Поймали Грищенко транспортные органы госбезопасности в Челябинске или Свердловске, за что один сотрудник был награжден орденом Ленина, а двое получили ордена Красного Знамени).

Должен заметить, что по своей шпионской биографии персонаж романа Мищенко не имеет ничего общего с Грищенко.

Я не знаю и, возможно, сейчас нельзя точно установить, чем так насторожил И.В.Сталина переброшенный в единственном числе Грищенко, но целую неделю на огромной территории от Белоруссии и до Дальнего Востока творилось небывалое: оперативно-розыскные группы трех ведомств действовали круглосуточно, какой-либо отдых до завершения розыска был запрещен, для поддержания работоспособности оперативному составу выдавалось усиленное питание; о ходе розыска все органы докладывали каждые несколько часов, за поимку Грищенко были заранее обещаны правительственные награды.

Это мероприятие, о котором ежедневно докладывали И.В.Сталину (повторяю: в моем романе масштабы розыска по сравнению с тем, что было в действительности, значительно приуменьшены), было столь впечатляющим, что не только бывшие розыскники, но и многие офицеры контрразведки из частей и сегодня, спустя 30 лет, помнят, что Грищенко имел рост 184 см (отчего задерживали и проверяли всех военнослужащих да и гражданских высокого роста) и был обут в кирзовые сапоги 43-го размера.

Так что если рассматривать изображаемое в романе с позиций достоверности, то розыск в романе доведен как максимум до десятой части того масштаба, какой он трижды, по крайней мере во время войны, принимал в действительности, когда он был не местным и проводился в тылах не двух, а всех фронтов и на территории страны от передовой до Дальнего Востока.

Если же говорить о целесообразности, то в художественном произведении прежде всего и главным образом целесообразно то, что работает на нашу идеологию, на впечатляющее изображение патриотизма, мужества и самоотверженности советских людей, на воспитание у читателя высокой бдительности, а все это, по единодушному мнению и трех редакций, и Комитета госбезопасности, и Отдела культуры ЦК КПСС, в романе есть.

3. В романе на стр. 304 сообщается, что «к проведению розыскных и проверочных мероприятий по делу «Неман», считая личный состав частей по охране тыла фронтов и комендатур,

а также поддержки, выделенные армией, было привлечено более двадцати тысяч человек». Много это или мало?

Только в сборнике документов «Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945» (М. 1968 г.) в описываемый мною период упоминаются следующие части НКВД по охране тыла 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов:

3-й Белорусский фронт

(Место упоминания)

217-й погранполк	стр. 478
86-й погранполк	стр. 479
13-й Виленский погранполк	стр. 479, 546
132-й Минский погранполк	стр. 546

1-й Прибалтийский фронт

31-й погранполк	стр. 476
216-й погранполк	стр. 476
33-й погранполк	стр. 477

Численность личного состава погранполка НКВД по охране тыла фронта в 1944 году составляла от трех до четырех тысяч человек. Следовательно, численность военнослужащих только частей НКВД, которые не могли не участвовать в розыскных и проверочных мероприятиях, составляла более двадцати тысяч человек.

А ведь в розыске, который проводится на территории от Вязьмы и Калинина до Белостока и границы с Восточной Пруссией, в полосе двух фронтов должны были участвовать и офицеры контрразведки, и территориальные органы, и личный состав комендатур в сотнях населенных пунктов, и контрольно-проверочная служба ВАД (ее посты имелись в тылах фронтов при выезде из всех городов), то есть указываемые в романе «двадцать тысяч» — это не преувеличение, а, наоборот, приуменьшение, причем приуменьшение по крайней мере в два раза.

Замечу также, что убийцу Ионисяна ловили все органы внутренних дел и госбезопасности; убийцу Алексева ловила милиция всей страны (чтобы не быть голословным, прилагаю

сохранившуюся вырезку из газеты — приложение № 3, только к первому экземпляру).

Почему же к поимке одиночного убийцы, уголовника могут привлекаться и привлекаются сотни тысяч человек и об этом прямо сообщается в газетах, а к поимке сильной квалифицированной группы агентов, представляющей несравненно большую опасность для государства — особенно во время войны! — не могут привлекаться двадцать тысяч человек, которым по обязанности в первую очередь положено это делать?..

Если пойти по такому пути, то это может привести только к одному результату: к принижению неизмеримо большей опасности, которую представляют по сравнению с уголовниками вражеские агенты, а следовательно, и к принижению значения неослабной бдительности.

4. Над романом «Возьми их всех!..», первым большим художественным произведением о военной контрразведке, я работал многие годы. В июне прошлого года роман был дописан и по моей просьбе читался самыми разными людьми (писателями, редакторами, участниками Отечественной войны, генералами, ответственными сотрудниками аппарата ЦК КПСС и т. д.) на предмет получения конструктивных критических замечаний. Все замечания 29 человек были мною затем тщательно изучены и все обоснованные — реализованы.

Результат такой всесторонней консультации и последующей доводки рукописи налицо. При получении визы в КГБ, где роман читали не только в Пресс-бюро, но и в Управлениях, по пятисотстраничному произведению не было сделано ни одной обязательной поправки. При чтении романа руководящими сотрудниками Отдела культуры ЦК КПСС зам. зав. отделом А.А.Беляевым и ответственным консультантом профессором И.С.Черноуцаном было сделано всего одно замечание, касающееся четырех строчек. (Мнение И.С.Черноуцана было особенно важно, поскольку он ведает в ЦК КПСС изображением И.В.Сталина в советской художественной литературе и кинематографии, и в этом вопросе является наибольшим авторитетом, отчего главу 56-ю («В Ставке ВГК») он не просто читал, а изучал, и дал ей высокую оценку («Все акценты расставлены необычайно точно»).

Роман «Возьми их всех!..», имеющий посвящение: «Немногим, которым обязаны очень многие...» — можно рассматри-

вать как литературный памятник офицерам военной контрразведки, погибшим на фронтах Отечественной войны, и как дань подвигу особистов в минувшей войне, но в любом случае это убедительная художественная легенда, восславляющая особую государственную службу, подвергавшуюся длительное время диффамации, массовому интенсивному очернению. В нем контрразведка занимается не арестами безвинных советских людей, честно и самоотверженно защищающих Родину, а тем, чем она должна заниматься в последний год войны: розыском и обезвреживанием активно действующей вражеской агентуры — немецких агентов-парашютистов.

Я здесь излагаю все это так подробно, чтобы было ясно, что речь идет не просто о публикации военного романа, речь идет о том, чтобы задействовать в сознании многомиллионного читателя впечатляющие и убедительные, сугубо положительные образы офицеров военной контрразведки, задействовать в сознании многих миллионов людей тщательно разработанную идеологически направленную легенду¹.

Что «Возьми их всех!..» художественная идеологически направленная легенда, поняли и в редакциях, и в КГБ, и в ЦК КПСС. Прохождение романа до июня месяца было необыкновенно быстрым: в редакциях его прочитывали в короткий срок, в ЦК (А.А.Беляев и И.С.Черноуцан) прочли его за 4 и 5 дней, в КГБ, где при выдаче визы его изучало (вместе с Управлениями) 6 или 7 человек, на оформление визы понадобилось немногим более месяца. Тем более непонятно, почему в Министерстве Обороны, консультация которого представилась полезной Пресс-бюро, роман находится уже третий месяц и, как мне сказали, два месяца лежал без движения?

Самое же печальное, что из редакций и Отдела культуры ЦК мне, прочитав роман, без промедления звонили, из Пресс-бюро КГБ каждые 10–12 дней звонили в редакцию и сообщали о своем положительном отношении к роману, из Министерства же Обороны уже третий месяц ни редакции, ни автору нет никаких вестей, отчего вместе с романом автор уже третий месяц находится в подвешенном состоянии.

За что?.. За то, что написал сугубо патриотическое, высоко идейное произведение, получившее не просто хорошие, а бо-

¹ Подчеркивания в письме сделаны В.О.Богомоловым.

лее того, восторженные оценки и в редакциях, и в КГБ, и в Отделе культуры ЦК КПСС?

Каковы реальные последствия этой задержки?

На сегодняшний день практически похоронена журнальная публикация романа: он может поместиться минимум в трех номерах, а в конце июля сданы в набор десятые (октябрьские) номера толстых литературных журналов, перенести же публикацию на будущий год нельзя — роман через 3–4 месяца должен выйти книгой в изд-ве «Молодая гвардия» (план 1974 г.), журнальная же публикация должна предшествовать книжной.

Многоуважаемые Иван Тимофеевич и Игорь Михайлович!
Настоятельно прошу Вас:

1. Ускорить консультацию романа.

2. Если у Вас есть вопросы, не стесняясь попросить разъяснения у автора: все эпизоды и детали романа основаны на достоверных фактах и я могу это без труда доказать — у меня имеются десятки папок справочного фактографического материала.

3. Читая роман, не забывать, что это отнюдь не документальное произведение, повествующее о подлинных событиях, а художественная идеологически направленная легенда.

4. Направить консультационное письмо и рукопись романа в издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» (Москва, К-30, Сущевская, 21), зав. отделом прозы тов. Яхонтовой З.Н., поскольку в августе в этом издательстве должна быть верстка романа, публикация же в журнале «Юность», пославшем Вам роман, уже похоронена.

Приложение — по тексту.

P. S. Все мероприятия по оперативной маскировке (гл. 56-я), являющиеся объектом компетенции военной цензуры, сделаны исключительно по открытым материалам. (Список источников — приложение №4).

С уважением

Богомолов
31 июля 1974 года»

В начале августа В.П.Аксенов привез мне копию долгожданного заключения Главного военного цензора Минобороны

генерал-майора И.Т.Болдырева, адресованное главному редактору журнала «Юность», хотя в своем письме я указал новый адрес — издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

В этом заключении почти слово в слово повторяется заключение Пресс-бюро КГБ, с которым я был уже знаком.

Начиналось «за здравие» — военная цензура не нашла в романе «сведений, составляющих военную тайну», но продолжила перечисление «за упокой».

По «их мнению» из романа «следовало бы исключить следующие сведения», далее следуют перечисления.

На копии заключения я подчеркнул места, которые опровергались представленным мной справочно-пояснительным материалом, и напротив каждого написал — «все вымышлено», «неверно», «неверно». Опять упорно цеплялись к препарату «Кола», как будто автор скрытый наркоман и преследует цель внедрить «применение стимулирующего препарата личному составу оперативно-розыскных групп».

ВТОРОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА РОМАН

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

Главный военный цензор
7 августа 1974 г.
№ 322/181
103160 г. Москва. К-160

Главному редактору
Журнала «Юность»
г. Москва, ул. Горького, 32/1

Военная цензура рассмотрела роман В.Богомолова «Возьми их всех!..»

Сведений, составляющих военную тайну, в нем не содержится.

По нашему мнению из романа следовало бы исключить следующие сведения:¹

¹ Подчеркивания и комментарий сделаны В. Богомоловым.

– конкретные цифры¹ оперативных и войсковых сил и средств, которые привлекались для розыска шпионско-диверсионной группы противника в тылах 3-го Белорусского и 1 Прибалтийского фронтов; – *Все вымышлено.*

– обобщенные данные о потерях войск Красной Армии от действий националистических групп и бандформирований; – *Неверно.*

– обобщенные данные о ликвидированных группах противника и бандформированиях, действовавших в тылу фронта; – *Неверно.*

– о применении стимулирующего препарата «Кола» личным составом оперативно-розыскных групп;

– компрометирующие характеристики и клички армейских контрразведчиков, их привилегированное положение среди армейских офицеров. – *В чем?*

Генерал-майор

И.Т.Болдырев

НОВЫЙ ХИТРЫЙ ХОД ПРЕСС-БЮРО КГБ

Что же это такое? Одни и те же претензии (я тогда еще не предполагал, что это была одна идейно спаянная «команда консультантов»), одно и то же требовалось разъяснить и Главному военному цензору и вновь (в который раз!) Пресс-бюро КГБ.

16 августа я последний раз направил обширное письмо в Пресс-бюро КГБ, в котором последовательно и аргументированно отвергал все их поправки и не соглашался ни с одним их замечанием (большинство положений было абсолютно идентично тем, которые я изложил в письме Главному военному цензору).

В этом многостраничном (на 15 страницах машинописного текста) письме по существу вопросов, консультация по которым в Министерстве Обороны представилась Пресс-бюро «полезной», я на первых семи (это пункты 1, 2, 3 письма Главному военному цензору) идентично перечисляю все неточности в постановке вопросов и ошибочные заявления в визе:

¹ Так в документе.

- «судьба предстоящей наступательной операции двух фронтов» — в романе речь идет только о судьбе Мемельской операции, которая проводилась силами одного 1-го Прибалтийского фронта, точнее, его левым крылом;
- «группа агентов противника (3–4 чел.)» — в романе речь идет о сильной квалифицированной резидентуре противника, действующей в тылах двух фронтов, описываются и конкретно указываются как уже известные нашей контрразведке шесть вражеских агентов;
- «общевойсковая операция по прочесыванию лесного массива» — в романе речь идет не об «общевойсковой», а так называемой «чекистско-войсковой операции» (так ее назвал В.Ф.Кравченко в разговоре);
- относительно уменьшения количества людей, привлекаемых к войсковой операции по окружению и прочесыванию Шиловического массива и вообще к войсковым, розыскным и контрольно-проверочным мероприятиям, я категорически не соглашался, обосновывая это конкретными документами и фактами аналогичных ситуаций, бывших во время войны, и консультационным заключением генерала армии В.В.Курасова, в описываемый период начальника штаба 1-го Прибалтийского фронта.

В этом самом, пожалуй, единодушном требовании всех ведомств — уменьшить численность задействованных в операции военнослужащих в 2,5–3 раза я и после долгих размышлений очень и очень сомневался: не только с моей точки зрения, но и читавших роман в «Инстанции» (Отделе культуры ЦК КПСС), — да и он, Кравченко В.Ф., не мог этого не понимать, — это в большей или меньшей степени ослабит и сам роман и значение работы, проводимой группой Алехина.

Я предложил, поскольку цифры упоминаются в «документе», такое решение: поставить вместо цифр многоточия и дать сноску: «цифровые данные опускаются».

Еще раз отстаивая свою позицию, я подчеркивал, что изображение в романе взятия дела «Неман» на контроль Ставкой — это, прежде всего, изображение внимания, которое уделяется, и значения, которое придается борьбе со шпионажем не только «органами», но и государством, в данном случае И.В.Сталиным, и такое изображение, прежде всего, в интересах органов безопасности.

Совершенно непонятно, зачем было Пресс-бюро КГБ ставить перед Министерством Обороны этот вопрос, который, безусловно, находится за пределами компетенции военного ведомства, о чем мне прямо, по своей инициативе, заявил после моей телеграммы на имя Ивашутина в телефонном разговоре 5-го августа генерал И.М.Чистяков:

«Я получил рукопись 27-го мая и была она у меня всего три дня. В материале нет вопросов компетенции Министерства Обороны. Скажу Вам прямо – рукопись нам прислали только для того, чтобы перестраховаться».

Далее в письме я пишу Кравченко В.Ф.:

«... Я знаю, что Вы считаете меня твердолобым упрямым, деликатно называя в глаза «несговорчивым». Это неверно, хотя для автора, у которого за многие годы продумана в романе каждая деталь, несговорчивость в отношении поправок, ослабляющих произведение, не является недостатком, а является исключительно достоинством. Есть отдельные вопросы и поправки, решение которых, чтобы как можно меньше ослаблять роман, хотелось бы без промедления согласовать».

Относительно термина «радиоигра». С 1965 г. он свободно и с расшифровкой понятия употребляется в открытой советской печати, в том числе и в книгах, выпускаемых при участии КГБ (например, «Чекисты», стр. 325, «Фронт без линии фронта», стр. 109, 206 и т.д.). Имеется он и в только что выпущенной книге Г.Меркурьева и Г.Савина «Конец операции «Остайнзатц» («Московский рабочий», 1974 г., стр. 37). Не сомневаюсь, что будет он и в тексте переиздаваемой сейчас книги «Фронт без линии фронта».

Необходимо заметить, что в отзыве УОО, подписанном тт. Черневым и Булыгиным, об исключении этого термина из текста нет ни одного слова. Если же его отныне не разрешено употреблять не только мне, но и всем, то я тогда сделаю не «операция» или «мероприятие», а «радиодезинформация». Этот термин и расшифровка понятия имеются во всех военных словарях (приложение № 4 из «Словаря основных военных терминов», выпущенного Воениздатом в 1965 году).

Относительно препарата «кола». Должен заметить, что шоколадные шарики «кола» во время войны давали для поддержания сил и летчикам, и войсковым разведчикам, и даже

саперам при наведении переправ, когда было необходимо сутками работать без отдыха. Это отражено в открытой военно-исторической и мемуарной литературе, ничего зазорного в приеме шоколадных шариков «кола» не было и нет. Вы, наверное, помните, что высококалорийный шоколад «кола», точно такого же состава, как и эти шарики, продавался без рецепта во всех аптеках и до войны, и в 1948–53 гг.

Какое же решение в данном случае я предлагаю? Сделать в тексте вместо «стимулирующий препарат кола» — «тонизирующий препарат кола» (что соответствует истине) и дать следующую сноску:

«шоколадные таблетки с добавлением ореха кола применялись как средство против переутомления при больших физических нагрузках, в частности, в ночной бомбардировочной авиации, в войсковой разведке и т.д.»

Все в этой сноске соответствует истине, все взято из БСЭ (2-е издание) и справочника «Лекарственные средства», М., 1954 г. (В 1958 году производство шоколада и шоколадных таблеток «кола» было прекращено, так как появились более эффективные и действенные средства: настойка женьшеня, настойка лимонника, настойка заманихи, настойка левзеи и настойка элеутерококка).

Работая многие годы над романом, я тщательно продумывал значение каждой детали, я твердо убежден в необходимости и в размерах каждой, и потому мне так трудно делать какие-либо изменения, ослабляющие роман (ни в одном своем произведении я никогда не менял ни одного слова)».

Заканчивалось письмо так:

«Владимир Федорович! Я человек убежденный, человек слова, причем держу его в любом случае, даже если это мне невыгодно, и считаю необходимым в Вашем лице предупредить Ваше ведомство, что если впредь будут допущены хотя бы малейшие недружественные закулисные действия в отношении романа «Возьми их всех!..», я немедленно, в соответствии со ст. 480-й ГК РСФСР, даже на стадии сверки, откажусь от его публикации».

На заключительном этапе конфронтации, уже в конце августа, после четвертого конфликтного и очень жесткого с моей стороны разговора в приемной с начальником Пресс-бюро

В.Ф.Кравченко в присутствии двух полковников, его подчиненных, когда я в лицо им заявил, что «они меня достали» и «пусть все они станут раком на Красной площади — но я даже запятую не сниму в романе», он позвонил мне на другой день и как наилучшему другу радостно сообщил:

«Вы нас убедили! Мы отзываем все свои рекомендации и замечания. Никаких претензий к вашей рукописи у нас нет!»

В какой-то момент я в это поверил, а дней пять спустя, опять же благодаря В.П.Аксенову, обнаружилось, что три страницы своего заключения — дословно, до буковки, до опечатки в фамилии Аникушин! — Пресс-бюро загнало в заключение Главного военного цензора Генштаба, без визы которого рукопись не могла быть опубликована.

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНЗОР МИНОБОРОНЫ

Этот цензор, генерал-майор И.Т.Болдырев, полторы недели не желал меня принимать, точнее, заказать пропуск, но я его убедил.

Когда я шел на самую ответственную встречу, я был уверен, что сегодня наконец-то их «дожду», поэтому предусмотрительно взял с собой накануне подготовленный, на типографском бланке, запрос заместителя главного редактора журнала «Новый мир» Олега Смирнова, адресованный Главному военному цензору: дать срочное заключение по роману В.Богомолова «Возьми их всех!..»

Встретил он меня без крика, однако, с откровенной враждебностью. Я положил перед ним на стол рядышком заключение Пресс-бюро и его последнее августовское и спросил, чем объяснить, что в обоих документах три страницы текстуально идентичны.

Он, разумеется, сразу возбудился и закричал: «Где вы это взяли?», а потом заявил, что идентичность текстов свидетельствует, что оба ведомства при консультационном чтении рукописей руководствуются одними и теми же «государственными критериями».

Конечно, они сыграли со мною в такую игру, никак не подозревая, что у меня на руках копии их документов, которые я им

не предъявлял, чтобы не «засветить» Аксенова, — я полагал, что в отличие от армейских генералов Пресс-бюро могло его вычислить.

Тогда я положил перед ним его первое, майское, в три раза более короткое заключение, что его еще более возбудило, и со всей резкостью вчинил:

«А где же были ваши критерии раньше? То, что вы, Главный военный цензор Генерального Штаба, включили в свое заключение три страницы текста Пресс-бюро, которых в первом вашем же заключении не было, свидетельствует о том, что вы являетесь внештатным сотрудником КГБ!»

Разумеется, это было всего лишь мое предположение, никакими доказательствами я не располагал, но вклеил ему это совершенно безапелляционно и, очевидно, попал в десятку.

Он побагровел, у него задрожали руки и начался сбой мышления, с полминуты он, задыхаясь, выкрикивал одно и то же: «Как вы смеете?!»

Прежде всего, я положил перед ним упаковку с валидолом, которую всегда носил для себя, отправляясь на «ведомственные встречи», и со всей доброжелательностью объяснил, что дело не во мне, а в фактах, опровергнуть которые невозможно.

Я заверил его, что ничего страшного еще не произошло, что сотрудничество с органами — его патриотический долг, и порекомендовал ему успокоиться, подумать хорошенько наедине и, если надо, посоветоваться — я указал рукой на столик с телефоном, затем вышел из кабинета в приемную.

Там я просидел более получаса, читая журнал по соседству с дежурным цензором, полковником в авиационной форме, который, как на конвейере, в темпе просматривал полосы газетных, очевидно, гранок и лихо вычеркивал целые абзацы.

О чем за двумя обитыми дверями разговаривал по телефонам хозяин кабинета, я не знаю, но минут через сорок с мрачным враждебным лицом он вынес и сунул мне листок с «чистой» визой и упаковку с валидолом (тут же демонстративно брошенную мною в корзину для мусора у стола полковника) и, весь дрожа от негодования, проговорил: «Пропуск не забудьте отметить!»

Пережитый, без преувеличения шок, не позволил Болдыреву¹ лично подписать разрешительную визу, за него это сделал его заместитель, полковник Короткин.

Но это уже не имело никакого значения.

**ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДНЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
«ВОЗРАЖЕНИЙ ПРОТИВ ПУБЛИКАЦИИ РОМАНА
НЕ ИМЕЕТСЯ»**

Новый мир
Ежемесячный
литературно-художественный

Министерство Обороны
Главному военному цензору
генерал-майору Болдыреву
И.Т.

и общественно-политический
журнал
20 августа 1974 г.

Редакция журнала «Новый мир» просит Вас срочно дать заключение по роману В.Богомолова «Возьми их всех!..»

Нами в настоящее время экстренно сдается досье в набор для публикации, начиная с 10-го номера журнала, текст романа «Возьми их всех!..» полностью идентичный с тем, что находился у Вас в военной цензуре.

Заместитель
Главного редактора

О.Смирнов

На бланке внизу заключение:

«Военная цензура рассмотрела роман. Сведений военного характера, запрещенных к открытому опубликованию нет. Возражений против его публикации не имеется.

Заместитель Главного военного цензора
Полковник

Короткин
20.08.74 г.»

Выйдя из неуютного ведомства, я медленно шел арбатскими переулками к дому. Было тепло, накрапывал дождь (я люблю

¹ Спустя много лет в семье И.Т.Болдырева произошла чудовищная трагедия. В.О.Богомолов позвонил ему и выразил соболезнование.

такую погоду), на душе — полное умиротворение. Была среда, 21 августа 1974 года, — этот день я считаю официальным днем рождения романа: «роды» были трудные, затяжные, но «ребенок» родился полноценным, здоровым и жизнеспособным.

Я тут же позвонил В.П.Аксенову и поздравил его с победой, вечером, уже из дома, Олегу Смирнову и с радостью сообщил, что драгоценная разрешительная «чистая» виза Главного военного цензора у меня на руках.

Вот так это было. Главное, я не уступил в романе ни одного слова, не поступился ни одним сокращением, не согласился ни на одну, даже минимальную купюру, не изменил ни одного термина. Спустя годы уже трудно представить, что такое было возможно. Но было время и были люди.

Я до конца своей жизни всегда с благодарностью буду помнить замечательных людей, чья гражданская позиция, смелость и мужество в принятии решений способствовали тому, что роман увидел свет. Это трогательный и отважный Валентин Павлович Аксенов, честный Олег Александрович Смирнов, умный и проницательный Игорь Сергеевич Черноуцан, доброжелательный Альберт Андреевич Беляев, принципиальный генерал Филипп Денисович Бобков.

Низкий им поклон!

Роман «В августе сорок четвертого...» вышел в срок в журнале «Новый мир» в 1974 году в трех номерах (№№ 10, 11, 12), а в начале 1975 года в издательстве «Молодая гвардия» роман с посвящением «Немногим, которым обязаны очень многие...» вышел отдельной книгой.

Уже в первых числах января 1975 г. в прессе появились первые положительные отзывы и рецензии на роман: «ЛГ», 1 января, в статье «Герои, о которых не знали» Б.Галанов назвал роман героическим; «Лит. Россия», 3 января, «На свинцовом ветру»: Анат. Елкин нашел роман «в высшей степени современным»; «Комсомольская правда», 8 января, «Это и есть война...», Л.Корнешов — «удивительная книга, написанная мастером очень большого и честного таланта». А 14 января в газете «Правда» (Центральном органе ЦК КПСС) была опубликована статья «Люди высокого полета», в которой С.С.Смирнов — глубоко уважаемый мной человек и писатель, чье мнение для меня было особенно важным, весомым и ценным, в наиболее, пожалуй, основательной рецензии дал высокую художествен-

ную оценку романа: «Впервые в нашей литературе появилось произведение, убедительно и глубоко показывающее «черный хлеб» повседневного труда контрразведчиков — физические, психологические и чисто технические особенности их профессии... Роман отличается высоким профессионализмом самого автора и всех его героев».

В середине лета 1975 года мне позвонили из Союза писателей и сообщили, что роман выдвигается на Государственную премию и для представления надо оформить какие-то документы. Я поблагодарил за внимание и, естественно, отказался. При повторном звонке меня попросили изложить отказ письменно, причем в два адреса, что я и сделал:

**«ЗАМЕСТИТЕЛЮ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ
КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС БЕЛЯЕВУ А.А.¹**

Многоуважаемый Альберт Андреевич!

В связи с намерениями издательства «Молодая гвардия» и журнала «Новый мир» выдвинуть роман «В августе сорок четвертого...» на Государственную премию, убедительно прошу Вашего содействия в освобождении романа от этого выдвигания.

Дело в том, что единственно возможное для меня положение — это амплуа рядового автора. Амплуа же известного писателя, в котором я невольно при всем моем противодействии последние полгода пребывал, совершенно для меня неприемлемо и результаты его самые плачевные: за последние пять месяцев я не написал ни одной строчки.

После долгого и всестороннего обдумывания сложившейся ситуации я пришел к твердому выводу, что единственно возможное для меня решение проблемы — это возврат к статус-кво, в котором я находился до публикации романа, возврат в единственно для меня приемлемое амплуа рядового автора, который работает и живет в тишине, без суеты, оставленный всеми в покое.

Для меня совершенно ясно, что если я не вернусь в это прежнее статус-кво, не вернусь к положению рядового автора, то, как пишущий, я, во всяком случае, погиб.

¹ Копия письма А.А.Беляеву — в архиве В.О.Богомолова.

В отличие от большинства пишущих я вполне доволен своим положением в литературе и в обществе и не желаю никаких, даже почетных изменений. (За последние полгода я раз десять наблюдал вблизи жизнь трех известных писателей, лауреатов и отчетливо осознал: вся эта суета, публичность образа жизни и необходимость почти ежедневно перед кем-то лицедействовать, все это для меня органически противопоказано и совершенно неприемлемо).

Хочу быть правильно понятым. году в 1967-м, по представлению Отдела культуры я был награжден орденом «Знак Почета» (за кино) и принял это наверняка меньшее, чем Государственная премия, поощрение с искренней благодарностью. Но «Знак Почета» ничего не менял в моем положении, в случае же если бы роману присудили Государственную премию, чем неоправдимо изменили бы мое жизненное статус-кво, как пишущий я бы, несомненно, перестал существовать.

Обращаясь к Вам с этим доверительно-официальным письмом, убедительно прошу Вашего, Альберт Андреевич, содействия в освобождении романа от выдвижения на премию. Убежден: литературное произведение после опубликования должно жить самостоятельно.

С уважением,
заранее признательный

Богомолов
25 июля 1975 г.»

Аналогичный по смыслу, но более категоричный отказ я отправил и по второму адресу, в Московскую писательскую организацию СП РСФСР.

После выхода романа и его переизданий, а главное, появления положительных рецензий, «ведомства» вдруг почувствовали свою причастность к этому событию, они вдруг уверовали, что только с «их благородной помощью» это произошло, они, наверное, прочли роман уже не как цензоры, а просто как обыкновенные читатели — и он их впечатлил.

В.Ф.Кравченко мне потом не раз звонил и даже поздравлял с успехом и просил для сотрудников и себя лично надписать книги, которые они предусмотрительно приобрели и, когда будет удобно, доставили бы мне с курьером.

Воистину, в глаза — божья роса!

Я неоднократно по телефону посылал их подальше, но впоследствии многим оставил автограф без всякого там «на добрую память» и, тем более, «с уважением».

В 1979 году, как проницательно в 1974 г. рекомендовал И.С.Черноуцан, я без труда восстановил главное название романа «Момент истины», а в скобках обязательно указывал («В августе сорок четвертого...»), дав расшифровку понятия «Момент истины» как «момента получения информации, способствующей установлению истины», это название наиболее емко и точно отражало суть романа.

В 1999 году, к 25-летию со дня выхода романа, в многочисленных средствах массовой информации это событие было отмечено публикациями «25 лет — мировому бестселлеру». К этому времени роман был издан практически во всех, как тогда говорили, братских союзных республиках и странах социалистического лагеря (кроме Польши!) и многих капиталистических — в Европе, на американском континенте и в Азии. Как выяснилось на исходе XX-го века, роман «Момент истины» по количеству изданий и тиражам оказался абсолютным чемпионом в последние 25 лет среди многих тысяч опубликованных отечественных литературных произведений, причем он издавался ежегодно и бесперебойно и после громогласно объявленных похорон советской литературы.

В условиях антитеррористической борьбы роман оказался настольным пособием для правоохранителей и спецслужб при осуществлении на территории России так называемого «предельного режима».

В обиход русского языка и, прежде всего, в лексику правоохранительных органов и спецслужб, были введены такие понятия, как «момент истины», «прокачать», «бутафорить», «качание маятника» и др. Термин «качание маятника», означающий наиболее оптимальные действия и поведение при огневых контактах с противником, оказался объектом внимания зарубежных спецслужб и руководителей отрядов командос, что в последующие годы инициировало появление целого ряда инструктивных разработок не только для специальных, но, позднее, и для войсковых, в первую очередь, десантных подразделений.

Опыт мой свидетельствует, если учесть, что в огромной литературной империи прошлых десятилетий, где наличествова-

ло свыше десяти тысяч только членов Союза писателей, я не занимал ни одной, даже самой незначительной должности, более того, и дня не состоял ни в одном творческом союзе, никогда не членствовал и не участвовал («из деликатности»): для судьбы литературного произведения, для того, чтобы быть в литературе, для того, чтобы твои произведения бесперебойно выходили в свет и через 20, и через 35 лет после первой публикации, совершенно не обязательны ни какое-либо членство, ни участие в литературных группировках, ни общественная деятельность — она десятилетиями сводилась и сводится к обслуживанию, поддержке и, более того, восславлению правящего режима; совершенно необязательны ни подмахивание конъюнктуре, ни пресмыкательство перед властью имущими, ни мелькание в средствах массовой информации, ни элементы паблисити — все это ненужная корыстная суета... Для того, чтобы писать прозу, достаточно иметь бумагу и ручку или карандаш...

Я убежден, что литературное произведение после опубликования должно жить самостоятельно, без каких-либо подпорок и поддержек, а автор должен обходиться без каких-либо поощрений, без различных ярлыков и этикеток.

Это не сегодняшняя моя позиция — в этом убеждении я пребываю уже несколько десятилетий. ...Я не претендую на непогрешимость и никогда не предлагал другим свой образ жизни и поведения, хотя и не считаю их неверными.

А закончить это повествование мне хочется словами неизвестной читательницы Юлии, оставившей сообщение на интернетовском сайте в мае 2004 года (через полгода после смерти В.О.Богомолова):

«Несколько лет назад подруга спросила меня, не читала ли я «Момент истины»?»

— Нет, — ответила я.

У нее глаза стали большие-большие и дыхание перехватило:

— Как я тебе завидую! Ты ЭТО еще не читала! У тебя эта книга еще впереди!

Книгу я прочитала на одном дыхании. Богомолов — это классика. То, что называют «золотым фондом». Трудно не быть конформистом. Трудно идти против всех. Но уступишь немного, а потом еще немного, и еще... И все!

Наверное, только творческие люди могут испытать, что значит «отрывать голову собственным детям». Убери страницу, замени эпизод...

Не убрал и не заменил. И плевать на все внешние почести!

Сейчас таких людей, наверное, уже нет. Всем важны эти самые внешние почести, важно, чтоб их знали, говорили о них, ценили, а еще лучше – оценивали. А он – боец!

Лучшее – рождается в борьбе, а на просто «хорошее» он не был согласен.

Это великолепная книга, и очень хочется, чтобы те, кто не читал раньше, обязательно прочли ее».

Публикацию подготовила

Раиса Глушко
Москва, 2006 г.

К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА

В настоящий сборник повестей и рассказов Владимира Богомоллова включены не только широко известные произведения, как-то повести «Иван», «Зося», рассказы «Первая любовь», «Кладбище под Белостоком», «Сердца моего боль», неоднократно переиздаваемые, так и менее известные читателям короткие рассказы и миниатюры, а также рассказы «Академик Челышев», «Десять лет спустя», несколько новелл, находившихся в творческом наследии писателя, и эссе «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...».

Книга названа «Десять лет спустя» не только потому, что так озаглавлено одно из ранее неопубликованных произведений В.Богомоллова, но и как дань памяти: Владимир Осипович ушел из жизни в последние дни 2003 года. И вот, десять лет спустя этой горькой даты, впервые выходит из печати рассказ, давший название всей книге. Рассказ, на первый взгляд, стоящий особняком в творчестве писателя, а на самом деле он типично богомолловский — в чем-то неспешный, в чем-то резкий, а по сути — вневременной. Как будто автор писал его не полвека назад, а сегодня. И неважно, что В.Богомоллов пишет о коллизиях начала 60-х годов. Важно, что он размышляет о проблемах, не ушедших из нашей жизни и сегодня.

Владимир Богомоллов ворвался в литературу и сразу заявил о себе как зрелый художественный мастер, первая его повесть «Иван» появилась на страницах журнала «Знамя» в 1958 году. История ее создания и публикации изложена Владимиром Осиповичем в очерке «Автор о себе».

Отвечая в последующем на многие интересующие читателей и критиков вопросы, он пояснял:

«Повесть «Иван» — это моя реакция на невежественные публикации о войсковой разведке; о ней писали очень не квалифицированно. Меня всегда коробило, что писали о войне люди, на ней не бывшие.

...«Иван» — произведение вовсе не документальное. Во время войны мне приходилось встречаться с десятками подобных мальчишек, однако Ивана Буслова как такового в природе не существовало. С одной стороны — это рассказ о трагической судьбе мальчика на войне, с другой — профессионально точное описание «зеленой тропы», переброски через линию фронта разведчика, юного героя повести.

...Главное для меня в «Иване» — это гражданственность, неприятие человеком (в данном случае двенадцатилетним мальчиком) зла и несправедливости, изображение ненависти ребенка к немецким захватчикам и его самого активного противодействия.

...Мальчик в «Иване» не объект жалости. Это мальчик-патриот, Воин и Гражданин, настолько ожесточенный, настолько ненавидящий захватчиков, что удержать его от участия в смертельной борьбе невозможно. Мужественные, суровые люди относятся к нему с любовью и нежностью не оттого, что он потерял мать, сестренку, отца, а потому, что, на каждом шагу, рискуя жизнью, он умудряется делать больше, чем это удается взрослым разведчикам.

...Указание точных дат и места действия, «цитирование» немецкого документа — это всего-навсего художественный прием для того, чтобы убедить читателя в достоверности происходящего. После опубликования «Ивана» я впоследствии получил по запросу из Берлинского архива копии с реально существовавших подобных документов.

...Что касается образа Гальцева в рассказе — как писали, в нем автор изобразил лирическое «я», — безусловно, в нем есть что-то от автора, хотя в войну я был офицером разведки и свое «я», думается, поделил между Холиным и Гальцевым».

Повесть «Иван» отличалась такой художественной зрелостью, что критики единодушно посчитали автора уже вполне сложившимся, «состоявшимся» писателем, сразу и безоговорочно признали появление «Ивана» литературным событием первостепенной важности. Со страниц «Знамени» повесть

шагнула в десятки сборников, антологий и хрестоматий, в «Библиотеку всемирной литературы».

Впервые Владимир Богомолов в отечественной литературе использовал документы и подстрочные примечания в качестве своего рода художественного приема.

Критик Игорь Дедков точно отметил это главное достоинство повести:

«Как бы мы уже ни жалели Ваню Буслова, как бы ни терзалось наше воображение о нем, тот бесстрастный документ словно вырвал мальчика из художественного контекста, сделав вдруг абсолютно реальным, так жившим и так погибшим, и боль наша стала нестерпимой. Словно не было ни рассказа такого, ни такого литературного персонажа, а была только эта жестокая недетская судьба, и была эта от начала и до конца подлинная, несомненная правда».¹

Скупой на похвалы Эрих Мария Ремарк назвал «Ивана» одним из лучших произведений советской литературы о войне, это же признавали и многие зарубежные критики, в частности, Ежи Путрамент:

«Повесть «Иван» — одно из самых сильных антивоенных произведений, хотя здесь нет обычной для военной литературы канонады, грохота танков, гула самолетов. Это история двенадцатилетнего мальчика, чью семью уничтожили гитлеровцы. Психология этого мальчика, преждевременно повзрослевшего, и необычного труда его — его взял к себе на службу начальник разведки дивизии — это потрясающая смесь элементов психики взрослого человека с обрывками реакций ребенка».²

«Двадцать два года назад был написан «Иван», и ничто в том рассказе с тех пор не поблекло, не потеряло смысла. Ничто в нем не побуждает сегодня делать «скидку» на время, обстоятельства, литературную неопытность автора и т.п. А рассказ-то был первый, напечатанный В.Богомоловым. Первый — и сразу замеченный и заставивший запомнить имя нового писателя.

Теперь без «Ивана» наша «военная проза» не представима.

¹ Он был еще совсем ребенком. // Дружба народов. 1975. № 3.

² Литература. 1976. 23 окт.

...О «сыне полка», о краткой и брэнной любви на войне, о приключениях разведчиков и контрразведчиков писали до Богомолова и не раз. Но это не смутило его.

...Война у В.Богомолова нигде не изображена как бой или бои; у него-то и стреляют мало, но какова война — сомнений не остается.

...Судьба Ивана Буслова не располагает к умилению, к рассуждениям о героизме; мешает возникающее сознание огромной неискупимой взрослой вины.

Кажется, помимо трагического исхода, нет ничего горестнее в этой истории, чем одиночество и отрешенность мальчика. Как, в сущности, далек он от всех, кто его любит, как недоступно одинок в своей беде! Он принадлежит миру мщениия, ненависти, смертельного риска; оттуда все остальное, нормальное, — очень далеко, не нужно, не для него.

...Эту отрешенность чувствуют все, и никто не может ее преодолеть. Иногда, когда его никто не видит, мальчик играет: но большого желаниия выжить и жить у него нет; сначала он должен рассчитаться за близких, его «жжет» ненависть, и нет ничего вокруг, что было бы сильнее этой ненависти, что могло его остановить и оставить для жизни...

...Война останется войной, военные заботы — военными заботами, но повсюду у В.Богомолова, во всем, что написано, изображено им, присутствуют и внимательно смотрят широко открытые глаза, вбирающие весь доступный им мир — без изъятия, без небрежения, без каких-либо шор. Да, они смотрят пристально и цепко, эти глаза не притерпелись к злу войны, не обвыклись среди беды и горя. В.Богомоловым открыта боль жизни, ввергнутой в войну. Им открыто и мужество человека, чувствующего эту боль вокруг и в себе и воюющего во имя возрождения человечности».¹

В 1961 году на студии «Мосфильм» режиссер А.Тарковский приступил к экранизации повести «Иван» по авторскому сценарию В.Богомолова.

В августе 1962 г. на XXIII Международном фестивале в Венеции фильм «Иваново детство» был удостоен главной награды — приза «Большой Золотой Лев».

¹ И.Дедков. Никто за нас это не сделает... // Литературная газета. 1979. 28 нояб.

За тридцать лет существования этого престижного кинофестиваля — «Иваново детство» был первым советским художественным полнометражным игровым фильмом, удостоенным этой награды.

Получив широкое признание, он принес А.Тарковскому мировую известность, но в Советском Союзе был тиражирован поначалу небольшим числом копий и — как элитарное кино — даже в кинотеатрах Москвы и Ленинграда в прокате находился всего несколько дней, а затем — как и все фильмы А.Тарковского — почти десятилетие оставался в забвении.

Сейчас трудно представить не только советский, но и мировой кинематограф без фильмов А.Тарковского вообще и «Иваново детство» в частности.

Следует заметить, что первая попытка экранизации «Ивана» предпринималась за два года до выхода фильма А.Тарковского «Иваново детство» режиссером Эдуардом Абаловым.

М.Г.Папава, тогда главный редактор Первого творческого объединения «Мосфильма», в нарушение авторского права, без согласия автора сценария и повести «Иван» В.О.Богомолова, внес в сюжет существенные изменения, которые полностью исказили смысл повести и пафос трагической судьбы ее героя.

Новый вариант сценария был превращен в чудовищный фарс: в угоду тогдашней конъюнктуре Иван не погибал, а каким-то чудом оставался в живых; по замыслу М.Г.Папавы и режиссера Э.Абалова, он вырос, стал передовиком производства и спустя пятнадцать лет после войны ехал с беременной женой поднимать целину. В.О.Богомолов, посмотрев отснятый «шедевр», сделал все, как всегда решительно, твердо, без всяких компромиссов, чтобы фильм был немедленно снят с производства.

Вот как вспоминал об этом он сам:

«Минут сорок беседовал с министром культуры Е.А.Фурцевой, ведавшей тогда кинематографом, и ее заместителем Н.Н.Даниловым. Переубедить меня она не смогла и в заключение сказала: «Вы жестокий человек и ничего светлого никогда не напишете!»

Светлым, по ее пониманию, было то, что Иван оставался в живых, ехал на целину с беременной женой, и то, что «перестук колес сливался в мощную симфонию созидательного труда» (так заканчивался сценарий в варианте Папавы и Абалова)».

Повесть привлекла внимание не только кинорежиссеров. За разрешением инсценировать «Ивана» к В.О.Богомолову обращались многие театры: Юного зрителя в Куйбышеве (1974 г.) и Волгограде (1975 г.), Ленинградский театр драмы и комедии (1982 г.) и другие.

Но, ознакомившись с предложенными ему «сценическими редакциями», Владимир Осипович отвечал режиссерам, что «они убедили его в невозможности создания полноценной пьесы», и сообщал о своем категорическом возмущении против театральной постановки «Ивана».

За 55 лет после создания повесть «Иван» переведена на 47 языков мира, опубликована более 300 раз общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров, причем в ряде зарубежных стран выдержала по 5–7 изданий.

Повесть была признана образцом классики советской и мировой литературы 20-го века и представлена в антологиях «Все шедевры мировой литературы, XX век» (Русская литература XX века), «Шедевры русской литературы XX века. Проза» и «Мировая детская литература».

Повесть «Иван» включена в программу среднего образования (школа, училище, техникум, колледж) в качестве обязательного чтения к урокам русской литературы.

Над повестью «Зося» В.О.Богомолов работал несколько лет, о чем в дневниках имеются скупые записи:

«...разработал сюжетную канву повести» (зима 1955 г.).

«...работал над повестью, двигается очень медленно, буквально на несколько строк. Однако экспозиция героев разрастается сверх меры! Не дай Бог, моя повесть будет грешить многословием» (1958 г.).

«...посмотрел повесть – и не нравится, надо переделать несколько главок» (сентябрь 1959 г.).

В папке «Заметки и справочные материалы к рукописи «Зося»» Владимир Осипович оставил несколько выписок для себя при работе над этой повестью:

Основные моменты:

– обрабатывая сюжет – сохранить местный колорит: подробности, тон, оттенок времени, природу, местность, когда действие происходит;

- психология героев, вышедших из жестокого боя живыми;
- выжить – большое счастье – эмоциональная перестройка;
- внешность героини должна вырисовываться из деталей: указать только характерные черты: глаза, волосы, может быть, родинку на лице, остальное – в движении, действии;

- в конце повести ввести «элемент ложной развязки»: ситуация разрешается как будто, но какое-то обстоятельство (внешнее) возникает – и все меняется;

- в тексте использовать любовные стихи или любовное письмо со штампом «Просмотрено военной цензурой»;

- использовать для усиления или контраста документ, помнить, что «факт – еще не правда, а только сырье, нельзя жарить курицу вместе с перьями».

Работу над повестью «Зося» В.О.Богомоллов завершил в 1963 г. Первая публикация состоялась в журнале «Знамя» (1965. № 1), и затем автор всегда включал ее во все сборники рассказов и однотомники; неоднократно – в антологии «Русский советский рассказ» и «Повести и рассказы о Великой Отечественной войне».

В 1965 году, вскоре после опубликования повести и первых откликов на нее, В.О.Богомоллов поведал о том, что побудило его к ее написанию:

«Людам сейчас очень нужны чувства, большие, чистые, добрые, прежде всего, между мужчиной и женщиной. Во имя этого написана «Зося».

Рассказчик дорог мне не только своей нравственной чистотой, мечтательностью и лиризмом, но в первую очередь тем, что он воин, имеющий на личном боевом счету «больше убитых немцев, чем кто-либо в батальоне».

Хотя действие происходит на фронте, в батальоне, остатки которого после тяжелых боев выводят на отдых, тема войны меня занимала меньше, чем в предыдущих моих произведениях – «Иване» и рассказе «Первая любовь».

О чем эта повесть? И о первой любви, и о нравственной чистоте, и о «красоте человечности», и о том, что в жизни «не состоялось что-то очень важное, большое и неповторимое...»

На появление нового произведения В.О.Богомоллова откликнулись многие критики:

«Образ Зоси написан так, что заставляет вспомнить известное прошлым векам, но ныне почти утраченное искусство словесного изображения женской красоты. В этом образе — воспоминание о собственной юности, предчувствие настоящей любви, которой еще не было, тяготение ко всей красоте мира. Эту красоту заслонила война, чтобы в мгновение боевой паузы позволить ей промелькнуть видением прелестной девушки».¹

««Зося» — по силе живописи, эмоциональному воздействию не уступает «Ивану». Война предстает в несколько своеобразном аспекте — это как бы «свет отраженный». Рассказ ясный и емкий, в нем много эмоций и мысль его о невозможности — пока идет война — насладиться тем земным, что естественно человеку».²

Писатель Василь Быков в одном из личных писем (от 6 января 1975 г.) Владимиру Осиповичу высказал свое отношение:

«Более всего мне близок своей мягкостью, лиризмом и тонкостью письма твой рассказ «Зося». Я бы лично дал бы тебе за него самую высокую литературную премию.

...Я очень, очень люблю весь рассказ, а за фразу — *Я це кохам, а ты спишь* — отдельную награду».

Критики были единодушны, отмечая достоинства литературного языка в «Зосе»: чистоту и тонкость художественного письма, лирические интонации, особую музыкальность повествования, искусство словесного портретного изображения.

«Зося» — это элегия: здесь воздух, шелест ветвей и трав, музыка, стихи, пленительность юного чувства, мягкий, чуть грустный свет **НЕСБЫВШЕГОСЯ**. У В.Богомолова — необычная легкость и прозрачность красок, очаровательность лирической интонации, повесть отличается редкой чистотой художественных линий.

В.Богомолов ни на миллиметр не поступился точностью — именно так и должен был тогда, в 1944 году, смотреть на девушку его герой. Зося естественна и обаятельна, она олицетворение победы человеческого над войной».³

«Читая «Зосю», слышишь, как сопровождает ее ненавязчивая музыка. Как бы фоном, под сурдинку. Это даже не любовь — прелюдия. Первый внешний миг, овеянный поэзией

¹ Л.Львов. Верность традиции и верность себе. // Новый мир. 1965. № 4.

² И.Козлов. Дни нашей жизни. // Наш современник. 1966. № 2.

³ Мих. Кузнецов. Иван, Зося, Таманцев и другие. // Наш современник. 1976. № 5.

Есенина. «Зося» — классика русской литературы, особенная удача В. Богомолова».¹

В рецензиях и критической литературе, посвященных повести и во много раз превысивших ее объем, подчеркивались удачи литературных приемов, использованных В. О. Богомоловым в «Зосе», в частности, введение в текст стихов С. Есенина, так усиливших поэтичность повествования.

Во многих читательских письмах, хранящихся в архиве В. О. Богомолова, эта повесть из военного времени называется «стихотворением в прозе», «задушевной песней», «тончайшей новеллой о невысказанных чувствах».

Свой экранный эквивалент героини повести В. О. Богомолова «Зося» нашли в одноименном советско-польском фильме, снятом на студии им. Горького тогда еще очень молодым режиссером Михаилом Божиным.

Зрители и киноведы высоко оценили достоинства фильма — он сохранил всю поэтику и лиризм повести, чему в немалой степени способствовала замечательная игра исполнителей главных ролей — Юрия Каморного и великолепной польской актрисы Пола Раксы.

На Московском международном кинофестивале в 1967 г. фильм «Зося» получил приз, а Пола Ракса, передавшая своей игрой «неизведанное очарование несостоявшегося романа», — была названа лучшей иностранной исполнительницей 1967 года (по данным опроса журнала «Советский экран»).

Фильм называли лирическим и проникновенным, определив как нельзя лучше понимание «Зоси»: «очищение любовью, духовным светом от вынужденной жестокости».

«Зося» — это фильм-поэма о любви. Поэзия фильма рождена из лирического подтекста рассказа, из контраста между жестокостью смертельного сражения, требующего высшего напряжения, суровой воли, и нежностью, чистотой человеческих чувств. Любовь, показанная в фильме, подобна маргаритке под грозовым ветром», — так отзывался о фильме польский киновед Ежи Плажевский.

Владимир Осипович очень хорошо принял фильм, а с Михаилом Божиным всю жизнь поддерживал теплые дружеские отношения.

¹ Мих. Кузнецов. Иван, Зося, Таманцев и другие. // Наш современник. 1976. № 5

В 1967 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «За заслуги в развитии советского кинематографа и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся» В.О.Богомоллов, как *кинодраматург*, был награжден орденом «Знак Почета» за авторские сценарии фильмов «Иваново детство» и «Зося». Об этом событии автор с юмором поведал в своем рассказе «Как я получал орден», представленный в этом сборнике.

В творческом наследии Владимира Богомоллова обособленное место занимают три рассказа: «Первая любовь», «Десять лет спустя» и «Академик Челышев». Написанные в 1958–1967 годах, они абсолютно разные по теме, эмоциональному накалу, языку и мироощущению.

Самый короткий и наиболее пронзительный из них рассказ «Первая любовь» — второе в творчестве писателя произведение — впервые опубликован в «Литературной газете» в январе 1959 года. В 1965 году В.О.Богомоллов включил его в сборник рассказов «Сердца моего боль», а в последующем вводил во все переиздания однотомника «Роман, повести, рассказы». Неоднократно рассказ публиковался и в антологиях русского советского рассказа.

Критика отмечала: «...и во втором шаге литературного новичка нет и следа главной болезни новичков — многословия».

«Военные рассказы В.Богомоллова, подчеркнул военный писатель Юрий Бондарев, — настолько нравятся мне, что я не нахожу в них изъянов и недостатков, и отношу их — к одним из лучших произведений, ибо в них звучит та мужественная правда и нежность, которая всегда высекает в сердце читателя соучастие... Рассказ «Первая любовь» особенно близок мне».¹

Михаил Кузнецов, выделив стержень антивоенного пафоса рассказа, дал ему точное определение: «любовь, войной убитая». «Рассказ «Первая любовь», — писал он, — поражает не «открытием темы», нет, а другим — необычайной сжатостью маленькой трагедии, почти математической ее лаконичностью и точностью. Это рассказик всего-то на пять страниц книжеч-

¹ Взгляд в биографию. // М. 1971.

ки карманного формата, но сколько в нем густоты, душевной простоты!»¹

Позднее Игорь Дедков напрямую связал написанный рассказ с военной биографией автора:

«Боль жизни, терзаемой войной, резче всего обнаруживает себя в рассказе В.Богомолова «Первая любовь», — через гибель или несбыточность молодых надежд. И спустя пятнадцать лет его герой помнит «все так, будто это было только вчера». Так пронзительно показать, и так сказать, что любая жизнь, особенно молодая, расцветающая, и война — несовместимы, мог только тот писатель, который сам прошел войну в возрасте своих героев».²

Все произведения В.О.Богомолова были объектом не только пристального внимания и интереса маститых критиков, писателей и литературоведов, но стали предметом научных исследований. В частности, М.Б.Лоскутникова в диссертации «Творчество В.Богомолова второй половины 50-х — начала 60-х годов и проблема трагического в русской советской прозе о Великой Отечественной войне» (1988 г.), сделала вывод: «Рассказ В.Богомолова «Первая любовь» был практически первым среди произведений, утверждавший бессмертие человеческой души: так обнаженно, конкретно, с непередаваемой болью в рассказе показано непреходящее значение нравственной ценности и понимания невозполнимости утраты. Писатель В.О.Богомоллов является одним из тех, чье творчество ознаменовало второе рождение советской прозы о Великой Отечественной войне».

И читателей рассказ «Первая любовь» не оставил равнодушными. В многочисленных письмах-откликах, сохранившихся в личном архиве Владимира Осиповича, содержатся восторженные отзывы, многих настолько впечатлил рассказ своей реалистичностью, что они были убеждены, будто автор поведал в нем трагическую историю своей первой любви и выражали ему искреннее сочувствие.

Рассказ «Десять лет спустя» В.О.Богомоллов закончил в феврале 1963 года. В нем показано время после смерти Сталина и отношение к его личности людей разных поколений.

¹ Мастерская Владимира Богомолова. // Наш современник. 1976. № 5.

² Никто за нас это не сделает. // Литературная газета. 1979. № 48.

История его такова: главный редактор ленинградского журнала «Нева» П.Кустов давно просил у Владимира Осиповича что-нибудь из написанного для публикации в журнале, и в январе 1964 г. В.О.Богомолов направил в редакцию журнала рукопись рассказа. 6 марта 1964 г. он получил письмо от П.Кустова:

«Дорогой Владимир Осипович! Рассказ, в конце концов, дошел до меня. Я его прочитал и он мне понравился, но сразу появились сомнения его напечатания у нас в «Неве». Читали его и другие. Говорят, что написано хорошо, добротнo, но касаться затронутых в нем вопросов в той интерпретации, в какой они выглядят в рассказе, едва ли целесообразно. Мне очень неудобно перед Вами, особенно потому, что я выступал в роли заказчика».

Как впоследствии выяснил Владимир Осипович, перестраховка П.Кустова была обусловлена тем, что незадолго до того редакцию журнала «Нева» штормило: из-за допущенной в тексте незначительной ошибки, приведшей к издевательски-смешному искажению смысла — цензоры усмотрели в ней политическую подоплеку, — в журнале была проведена кадровая чистка и кампания по повышению политической бдительности.

Владимир Богомолов больше ни в одно издательство рассказ не посылал. Рассказ, как и письмо главного редактора журнала «Нева» П.Кустова, находятся в личном архиве В.О.Богомолова.

В этом рассказе Владимир Богомолов скупо, но объективно и жестко, отобразил трагические исторические моменты в жизни страны и поколений: и арест отца в 1937 году, и судьба его сына, «вражьего сучонка», и репрессии за рассказанный анекдот, и отсутствие права, по законам людоедской морали того времени, занимать достойное положение в обществе из-за анкетных огрехов.

Автор запечатлел и разные отношения к личности Сталина после его смерти и его эпохе: от страха — «Что же теперь будет, а?.. Лишь бы все осталось, как было при нем...», сомнений — «Зачем все это ворошить и устраивать разборки с прошлым?», смирения и соглашательства одного из персонажей и полного отрицания личной вины другого в происходившем до обвинений молодыми людьми поколения отцов и дедов в «соучастии преступлений», называя всех огульно «пособниками режима и рептильными патриотами».

В.Богомолов словами своего персонажа «...лет через двадцать пять—тридцать история схарчит и Сталина, и всех вас! С дерьмом смешает!» предвидит, что в недалеком будущем «...не испытывая никаких сомнений, так легко, походя, не задумываясь, без сожаления и угрызений совести объявят каждого продуктом, точнее субпродуктом, эпохи, и действительно разотрут, перемелют, размажут, смешают с дерьмом». Пророческое предвидение!

Рассказ «Десять лет спустя» публикуется впервые.

«Академика Челышева» Владимир Осипович, судя по его планам, задумывал в виде повести. Из краткой аннотации, сохранившейся в архиве, автор планировал рассказать в ней «о талантливом, душевно щедром крестьянском пареньке, который в годы советской власти проходит путь от батрака до академика, выдающегося ученого, задаче — созданию крупного, выразительного и, в то же время, типического характера, а также показать перемены, произошедшие в общественной жизни и в отношениях между людьми, за последние десятилетия», но сохранился в архиве как законченный рассказ, написанный им в 1967 году. Никак не связанный с войной, рассказ из гражданской жизни. В основе сюжета внезапная кончина выдающегося ученого академика Челышева и ритуал его похорон, забюрокраченный и местами гротескный, как и все, что в то время было в жизни, передан автором с удивительной точностью в деталях.

После повести «Иван» в последующее десятилетие (1958–1967 годы), когда были написаны и уже опубликованы рассказы «Первая любовь», повесть «Зося», закончены и лежали в столе рассказы «Десять лет спустя» и «Академик Челышев», В.О.Богомолов параллельно работал и проявил себя в самом лаконичном жанре прозы — новелле-миниатюре и коротком рассказе.

Подступаясь к самому трудному из видов прозаического изображения, Владимир Осипович в дневниках и записных книжках определяет для себя положения, которым должен следовать в работе над коротким рассказом, чтобы развить свой собственный стиль:

«— Я должен четко представлять: что хочу показать в рассказе и для чего хочу показать?»

– В литературном творчестве труднее всего дается сжатость, диктуемая размером (объемом) рассказа;

– новелла-миниатюра – очень гибкое и острое оружие. Рубленая проза не должна быть самоцелью – только смысл, выраженный ясно и лаконично;

– каждая мысль должна стать образом;

– начало рассказа должно быть обязательно простым и лишено всякой вычурности;

– показывать, а не сообщать свои мысли и наблюдения; идея, мораль, призыв, лозунг должны быть растворены в действии, в образе, в примере, должны вытекать из них;

– язык – максимально простой, ясный, точный; всеми силами выдавливать многословную дребедень;

– постоянно искать новые, броские, выразительные мысли и образы;

– при работе над текстом и в 5-й, и в 20-й раз – стараться максимально сконцентрироваться на том, чтобы убрать все лишнее, отказаться от подробностей, хотя бы великолепных, если они не бьют в цель и ничего не прибавляют к общему впечатлению – выпаривать текст, фразу – тогда соли (смысла) будет больше;

– с фразой расставаться не раньше, чем вложишь в нее все совершенство в смысле точности и естественности. Буду часами думать над каждой строкой – это уж моя страсть!

– Конец рассказа лучше оборвать, чем наговорить лишнего, чтобы не получилось так, как сказала одна девочка, 13 лет: «Очень странно, пока читаешь, очень увлекательно, даже уши горят, а потом словно смородины объелась. Кислятина!». Устами ребенка глаголет истина!

– Ежедневным тренингом настраиваться на работу, для чего использовать психологические приемы:

– перед началом работы – произвести ревизию души;

– просыпаясь поутру – посмотреть на полку книг с любимыми классиками и думать о том, как ты мал и ничтожен, и вместо утренней физзарядки заряжаться интеллектуально, чтобы не стать добросовестной посредственностью или умственным лилипутом».

В 1963 году В.О.Богомолов записывает в дневнике: «Написал цикл из семи рассказов. Рассказиками-миниатюрами доволен».

Журнал «Новый мир» (1964. № 8) опубликовал пять миниатюр из цикла «Короткие рассказы»: «Кладбище под Белостоком», «Второй сорт», «Кругом люди», «Сосед по палате», «Сердца моего боль».

А.Т.Твардовский, тогда главный редактор «Нового мира», прочитав их еще в рукописи, сразу отметил, какие они разные: в каждой свой ритм, свои интонация, композиция, движение сюжета, своя, не повторяющаяся, художественная задача и «особая тонкость письма» — и поздравил автора с успешным овладением самым трудным жанром — рассказом-миниатюрой.

В 1965 году издательство «Советская Россия» выпустило сборник произведений, который В.О.Богомолов назвал «Сердца моего боль»: помимо повестей «Иван», «Зося», рассказа «Первая любовь» и коротких рассказов, опубликованных в «Новом мире», в него вошли две новые миниатюры: «Сосед по палате», «Участковый».

В последующем рассказы из книги «Сердца моего боль» в различных подборках — по два—четыре, но среди них обязательно «Сердца моего боль» и «Кладбище под Белостоком» — В.О.Богомолов включал в разные сборники и однотомники.

Критики были единодушны:

«“Сердца моего боль” — это девиз В.О.Богомолова, его общественное и эстетическое кредо, определяющее его творчество».¹

«Рассказы написаны необыкновенно плотно, без малейших пустот и зазоров, все детали выверены и «пригнаны». Степень художественной концентрации, умение извлечь из минимума текста максимум образной выразительности так высоки в них, что они близки к стихотворению в прозе. «Сердца моего боль» — это ключ к творчеству Богомолова: неутихающая боль сердца, чувство неоплатного долга, не дающая покоя память о тех, кто отдал жизнь. И читатель ощущает эту неутихающую боль сердца автора. В даровании В.Богомолова столько обаяния и самобытности, что маленький сборник «Сердца моего боль» — одна из лучших книг о войне».²

¹ Мих. Кузнецов. Мастерская Владимира Богомолова. // Наш современник. 1965. № 5.

² Л.Лазарев. Рассказы В.Богомолова «Сердца моего боль». // Новый мир. 1965. № 1.

И много лет спустя Вл. Гусев еще раз подчеркнул и выделил основной стержень, присутствующий в каждом рассказе:

«Пафос рассказов В. Богомолова — это пафос ответственности, побуждение автора очень высокого порядка — “до боли клешнит сердце” — это чувство ЕГО личного бесконечного долга перед всеми, кто погиб на войне, и перед теми, чьи близкие не вернулись с войны».¹

Возвращаясь к «мастерским коротким рассказам» В. Богомолова спустя шестнадцать лет после их публикации, А. Акимов отмечал:

«У прозы Богомолова свое, ни на кого не похожее лицо. И дело здесь не только в жизненном материале, документальности, но и в самой манере говорить о жизни и воспроизводить ее. В каждом из своих рассказов В. Богомолов прикасается к главным смыслам и ценностям, превращая их в притчу с лаконизмом и обнаженностью этической мысли. В каждом из них присутствует такая глубина, которая всегда будет заставлять задуматься».²

В жанре короткого рассказа В. Богомолов работал постоянно. В его архиве сохранились несколько рассказов и миниатюр, написанные им в разные годы (1958–1963–1967 гг.). Они включены в настоящее издание в виде новелл-миниатюр: «А может, это и не вы...», «Пиво», «Истинная вера», «Житейская философия», «Не защитила», «Сам писал!», «Воспитание чувств», «Неподкупная» и коротких рассказов: «Наддай!», «Случай в госпитале», «Презрение», «Ожидание».

Еще в 1951 году у В. О. Богомолова появляется замысел приключенческой повести для юношества «Осенью сорок четвертого», и он начинает серьезную подготовительную работу: «горы бумаги, все, кажется, ясно»; в 1953-м определяет место действия повести (на границе Белоруссии и Литвы, левобережье Немана), набрасывает сюжетную канву (теперь повесть называется «Позывные КАОД»), и тогда же на страницах дневника впервые появляются фамилии будущих героев — Егоров, Блинов, Таманцев, Алехин.

¹ Вл. Гусев. Память и боль сердца. // Новый мир. 1981. № 9.

² А. Акимов. Роман, повести и рассказы В. Богомолова. Л. 1981.

«История создания романа «В августе сорок четвертого...» — от замысла до его воплощения — воссоздана и хронологически прослежена по дневниковым записям и рабочим планам В.О.Богомолова и опубликована в 2008 году («Момент истины», т.1, М., Вагриус).

Весной 1956 г. В.О.Богомолов разрабатывает «основные положения, которым должен следовать и придерживаться, чтобы избежать наиболее частых штампов в детективной литературе». Он с самого начала придает огромное значение фактологической точности будущего произведения, с тщательностью картографа привязывается к местности — месту действия будущего романа, неоднократно сам выезжает в Белоруссию, ведет наблюдения за погодой в этом районе, подмечает различные детали и пр. — и все для того, чтобы впоследствии быть предельно достоверным.

Так же тщателен он и в разработке характеров будущих героев: биография, внешность, поведенческие и речевые особенности, скрупулезная, до мелочей конкретизация деталей поиска.

В 1971 году рукопись повести под названием «Убиты при задержании» (первый вариант) была принята в журнале «Юность», но еще в течение трех лет автор продолжал интенсивно работать над произведением, расширял и углублял сюжет, дописывал главы, усиливал и доводил художественный текст до совершенства и завершил его, когда уже ни убавить, ни прибавить в нем, по его очень строгой самооценке, было невозможно. И в окончательном варианте под условным названием «Возьми их всех!» («В августе сорок четвертого...») представил роман в 1974 году в журнал «Юность». Однако он так и не появился на его страницах.

Сейчас трудно себе представить, однако своевременному выходу в свет романа предшествовала длительная борьба писателя с различными «бдительными» редакторами и охранительными ведомствами, борьба за жизнь произведения и право быть опубликованным.

История публикация романа «В августе сорок четвертого...», представленная в сборнике, — это, по сути, еще один, едва ли не детективный, роман о романе. И рассказана эта история самим Владимиром Осиповичем увлекательно и с

привлечением многих документов. Читателям предоставлена возможность ознакомиться со знаковым явлением того времени — с советской цензурой (под которой имеется в виду отнюдь не только пресловутый Главлит): многоликим закулисным монстром, уродовавшим произведения многих талантливых прозаиков и поэтов, «ломающая им хребет» (выражение Владимира Осиповича), вынуждавшим идти на уступки, быть сговорчивее ради того, чтобы их детище, пусть даже в оскопленном виде, дошло до читателя.

И в этом противостоянии позиция В.О.Богомолова была уникальной в истории советской литературы 70-х годов прошлого века: девять месяцев он противостоял всем номенклатурно-охранительным ведомствам и не поступился ни одним словом, не согласился ни на одну, даже минимальную купюру, не изменил в романе ни одного термина (что жестко предписывали ему «доброжелательные» редакторы и цензоры), сохранив твердую гражданскую и нравственную позицию, волю и силу духа до конца.

Роман «В августе сорок четвертого...» вышел в 1974 году в журнале «Новый мир» (№№ 10, 11, 12), а в начале 1975 года — отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия» с посвящением «Немногим, которым обязаны многие». С 1976 года роман при переизданиях выходит под двойным названием «В августе сорок четвертого...» («Момент истины»), а с 1979 года В.О.Богомолов восстановил главное название — «Момент истины», но, чтобы читатели не приняли его за новое произведение, обязательно в скобках указывал («В августе сорок четвертого...»).

Самые первые отзывы пришли от профессиональных писателей.

Василь Быков, писатель, г.Минск (из писем 24.11.74 г. — июнь 1975 г.):

«... Весь вчерашний день общался с тобой в «Новом мире» — твоей фразой, образами, твоими столь близкими мне мыслями. Очень умно, точно, честно и значительно, так, как умеешь лишь ты. Хотя время и места действия мне очень знакомы, но материал совершенно новый, то, что во время войны мы лишь наблюдали со стороны, теперь, благодаря тебе, увидено изнутри, и это интересно.

...Я очень люблю тебя и твою прозу, о которой когда-то давно еще прочитал у Бондарева, что он не видит в ней недостатков. Я — тоже.

... Очень понимаю все тобой пережитое.¹ К сожалению, все это в порядке вещей, это — издательская практика, самая рутинная. В данном случае лишь с той разницей, что им попался не обычный автор, а такой, как ты: с таким талантом и соответствующим ему характером. Я на такое не способен, поэтому почти ни одна моя вещь не выходила в ее первоначальном виде, все потрошилось и переиначивалось.

В последней повести я немного заупрямился, настоял хотя бы на названии «Волчья стая», никак не хотели пускать, как не пустили мои названия «Проклятая высота», «Ликвидация» («Атака с ходу», «Сотников»), переделали концовку «Западни» (в той же «Юности»).

... Сердечно желаю тебе как-нибудь добежать до финиша и сделать дело. Кажется, немного уже осталось.

... Роман твой прекрасный, написан превосходно, я давно уже ничего подобного не читал с таким наслаждением от слова, образа, действия, завидую твоей в нем филигранности и обстоятельности, драматизму тоже.

Третья часть — вершина напряженности, не дающая возможности перевести дыхания. Каждое твое слово в контексте — червонец, это великолепно. Образы до того зримы, что кажется ты их действительно знал в жизни.

... Тебя за него будут хвалить (уже хвалят, «ЛГ», «ЛитРоссия»), выдвинут на премию и, вполне возможно, дадут ее, потому что ничего подобного в литературе нашей никогда не было как по содержанию, так и по форме, и это будет заслуженно, справедливо и пусть это будет! Я бы лично дал бы тебе самую высокую премию еще раньше — за «Зосю».

М.Л.Галлай, писатель, г.Москва, 15 января 1975 г.:

«... Я давно не читал произведения с таким чувством нетерпения узнать, чем же это кончится, произведения с такими неожиданностями. Я был загипнотизирован логикой действий и поступками персонажей, с нетерпением ждал очередного

¹ Имеется в виду прохождение цензуры.

номера журнала и досадовал на то, что печатание затянулось на несколько номеров. Ваш реалистический роман о войне, о контрразведчиках показал, что умение на войне — очень существенная вещь, а пафос достоверности и документальности столь высок, что ничего подобного в нашей литературе еще не было. Уверен, что урок достоверности, урок мужества окажет благотворное влияние на умы и сознание читателей и сохранится на долгие времена.

...Сцена со Сталиным, с Верховным Главнокомандующим — лучшая сцена, которая когда-либо появлялась в нашей литературе. В необычайно короткой и лаконичной сцене Вы сумели передать всевластие Сталина, когда три министра стоят и смотрят на его морщинистый затылок, а он... ходит. Холодок по хребту проходит, когда представляешь себя на секунду в том кабинете. Даже одна эта сцена делает Ваш роман явлением в нашей литературе».

Анджей Дравич, литературовед, г. Варшава, 6 августа 1975 г.:

«...Вы прекрасно показали работу оперативной группы контрразведки, ее методы, приемы, способы действия, развенчивая дешевые стереотипы криминальных историй. Все это воспринимается настолько достоверно, что кажется самым правдивым на сегодняшний день.

Это уже вопрос вне литературы: Вы просто чуть-чуть подвинули историческую правду вперед, с ее добром и злом, и за это Вам низкий поклон.

Вы сказали новое слово в избранном Вами жанре, раскрывая его новые возможности, Вы идеально использовали контрапункт цитируемых документов — иногда драматических, а иногда и иронических или деловых.

...В короткой сцене у Сталина Вам удалось то, что было не под силу многим маститым писателям и что на жаргоне Ваших контрразведчиков называется «моментом истины». Это не карикатура и не панегирик; Вы показали государственного деятеля и вождя и, одновременно, сатрапа, который, ломая все правила действия, во имя собственных убеждений и методом психического террора, мобилизует все огромные силы и средства, ради цели, которую он считает главной. А методы эти — не эффективны, несмотря, или, наоборот, вследствие страха, который вселяет генералиссимус в своих подданных:

небольшая группа специалистов, если ей не мешать и не подгонять ее, четко сделает то, на что разнузданный сталинский волюнтаризм направил множество солдат и чистильщиков, генералов, начальников спецслужб и НКВД, где все друг другу мешают и явно оказываются лишними.

Ваш роман продуман до мельчайших подробностей, и эпизод со Сталиным — пресловутая капля воды под писательским микроскопом: небольшое дело приоткрывает механизм системы.

Вам блестяще удалось создать огромное напряжение среди обычных действий, бесплодных, подчас, усилий, а в конце, доведя это напряжение до апогея, внешне простыми средствами раскрыть внутреннее состояние героя, который самостоятельно, один должен спровоцировать противника и тем самым обнаружить себя.

Можно Вас поздравить: в 1974 г. показать такое, опубликовать — это настоящий успех...»

Едва роман вышел из печати, он сразу оказался в центре внимания литературной критики: в одном лишь 1975 году было опубликовано более шестидесяти рецензий, откликов, критических заметок, упоминаний и статей, в которых говорилось о новизне темы, мастерстве автора в построении динамического сюжета и разработке характеров, богатстве изобразительных средств, точности деталей, глубоком знании реалий военного времени, правдивости, современности, честности, глубоком психологизме и эмоциональном накале, о «литературе жизни» и сразу был признан новым, ни на что не похожим явлением современной литературы.

Критики и литературоведы также были единодушны: ничего подобного роману «В августе сорок четвертого...» ни в русской, ни в мировой литературе еще не было.

С.С.Смирнов, автор знаменитой «Брестской крепости», лауреат Государственной премии: «... Этот роман таков, что он ставит Владимира Богомолова в первую шеренгу наших лучших военных писателей. Это незаурядная книга, выделяющаяся высоким профессионализмом самого автора и всех его героев. Впервые в нашей литературе появилось произведение, убедительно и глубоко показывающее «черный хлеб» повседневного труда контрразведчиков — физические, психологические и чи-

сто технические особенности их профессии. И именно потому, что все это написано с великолепным знанием дела, героизм людей, не декларированный автором, а наглядно раскрытый в их обыденной работе, захватывает читателя».¹

Вместе с тем подчеркивалось, что и в этом произведении В. Богомолов остался «верен своему основному творческому принципу — ставить во главу повествования ЧЕЛОВЕКА и через дело, которому он служит с полной отдачей физических и духовных сил показать жизнь страны в критических обстоятельствах».²

«В бесконечном многообразии литературы о войне, — писал Д. Иванов, — появился роман, восполнивший одну из страниц летописи Великой Отечественной войны, впервые столь откровенно, столь драматично, столь захватывающе и увлекательно рассказавший о доселе никому, кроме узких профессионалов, неизвестной работе контрразведчиков и их вкладе в общую победу».³

«В. Богомолов «не ложится» ни в какие творческие «параллели», оказывается «за сеткой координат» среди всех военных произведений, — подчеркнул А. Елкин, — в его романе особую роль играют тональность, ритм, вся музыкальная оркестровка».⁴

«В романе В. Богомолова нет «жира» пустословия, «проходных» глав, искусственных «мостиков» между частями, нет и хаоса подробностей; здесь все выстроено по законам лаконизма, динамичности, целенаправленности, — отмечал Михаил Кузнецов. — Роман стоит, как обелиск, где все устремлено ввысь... Он не только занимателен, он красив своей архитектурной, эмоциональной экспрессией, высоким профессионализмом, захватывающих читателя целиком и героев которого помнишь долго и живо. Ибо степень правды в нем высока».⁵

Спустя двадцать с лишним лет критик С. Земляной в статье «Литературное амплуа: заместитель Бога по розыску»⁶ добавит:

¹ Люди высокого подвига. // Правда. 14 янв. 1975.

² «Момент истины». // Дружба народов. 1975. № 5.

³ Хранить вечно. // Огонек. 1975. № 3.

⁴ На свинцовом ветру. // Комсомольская правда. 1975. 8 янв.

⁵ В критической ситуации. // Наш современник. 1976. № 5.

⁶ Свободная мысль. // 1998. № 2.

«Богомолов в «МИ» («Момент истины») сделал то, что ни у кого еще в русской литературе подобным образом не получалось: он показал Россию за работой. Не за молитвой, не за гульбой и водкой, не в погоне за очередной идеологической химерой, не под бюрократическим прессом, не за побиванием камнями «лишних людей» и «врагов народа». За РАБОТОЙ.

Россию за работой до Богомолова никто еще так не увидел и такой не нарисовал. И не суть важно, что нарисована она за особой работой — за ратной страдой в ее специфическом обличье: за ловлей шпионов и диверсантов».

Очень скоро роман был переведен на многие языки мира. Зарубежные писатели, критики и читатели оценили его также высоко:

«Роман виртуозно профессионален, это образец нового романа в современной литературе, — отметил в интервью журналу «Латинская Америка» Габриэль Гарсия Маркес, — талант Богомолова — в любви к людям и вера в них».

«Богомолов показал неизвестный нам мир контрразведки с необыкновенной точностью и мастерством, — писал известный польский литературовед Ежи Путрамент в журнале «Литература». — Но он показал также некоторые иные, значительно более широкие явления, относящиеся к работе государственного механизма, государства тех времен. И все это не в виде панегирика, как когда-то, не в виде пасквиля, как потом, а с неумолимой точностью и достоверностью. Автор поражает совершенством прозаического мастерства. Отличительные признаки таланта прозаика Богомолова — образное видение места и людей, постоянно возрастающее напряжение. С каждой страницей книга все больше захватывает читателя, а в конце он уже не в состоянии от нее оторваться. Роман кончается как рассказ; так и хочется продлить его на несколько страниц. Ничего более значительного на эту тему еще не было сказано никем».

Многомиллионная армия читателей тоже встретила роман с огромным интересом: с первых страниц захватывали и сам сюжет — поиск и поимка военными контрразведчиками опаснейшей группы шпионов, — и подробно, с мельчайшими деталями описанные способы, методы и техника этой ратной работы, и никогда прежде не виданные оперативные документы

с грифами «Совершенно секретно», записки по «ВЧ», шифротелеграммы и пр. — все это не отпускало внимания читателя до последней страницы, накаляя эмоциональное напряжение по мере стремительного приближения «момента истины». Роман будоражил воображение, рождал вопросы.

Публикация вызвала поток читательских писем (в архиве В.О.Богомолова их сохранилось несколько тысяч). Восхищаясь романом и его героями, люди хотели понять, как удалось автору добиться такого гипнотического воздействия на чувства и мысли читателя? События, описанные в романе, придуманы или взяты из жизни? Как удалось добиться разрешения на публикацию секретных документов из архивов?

Многих читателей (да и не только читателей, но и литературоведов и даже друзей) занимал вопрос и они просили Владимира Осиповича раскрыть секрет: в ком из своих героев наиболее ярко выражен сам автор, и (или) кто из действующих персонажей романа автобиографичен, и были ли у героев реальные прототипы?

В.О.Богомолова отвечал: «Все образы в романе собирабельные. Насчет «автобиографичности» Блинова — то сходство тут только возрастное. Люди, знающие меня близко, довольно дружно утверждают, что автор более всего выражен в Таманцеве, Аникушине и в ...генерале Егорове. Как говорится, со стороны виднее, и я даже не пытаюсь это опровергать.

Буквального прототипа в романе быть не может, ибо образы в процессе творческой работы меняются, персонажи вступают во взаимоотношения друг с другом, и это опять вносит свои коррективы в характеры. Самый сложный процесс — типизация, это то, что откристаллизовывается при многократных редакциях рукописи. Прообразами послужили люди, которых я знал во время войны:

— прототип Алехина — вскоре погиб при задержании вражеских агентов в декабре 1944 года в Польше;

— прототип Таманцева — погиб зимой 1945 года в окопном бою при неожиданном прорыве танковой группы немцев;

— прототип генерала Егорова — умер вскоре после войны, не дожив до 50 лет;

— прототип Блинова — кстати, во время войны был артиллеристом и в контрразведке ни одного дня не служил. Закончил

войну Героем Советского Союза, после института стал ведущим инженером;

– прототип подполковника Полякова – самого гражданского человека из героев романа, – после войны совершенно «вышел из образа»: закончил военную академию, стал генералом и прослужил в армии еще четверть века;

– прототип Аникушина – буквальный и соответствует всему до деталей. Я знал такого офицера, который, находясь после ранения на службе в комендатуре, был привлечен к одной операции розыскников и во время нее повел себя в точности, как Аникушин. В результате погиб старший оперативно-розыскной группы, а этот офицер получил тяжелое ранение, но выжил».

А на часто задаваемый впоследствии вопрос: «Откуда возник (из чего родился и вырос) сюжет романа?» Владимир Осипович лаконично ответит: «Из жизни».

Достоверность коллизий романа, жизненность, узнаваемость и осязаемость его героев достигалась В.О.Богомоловым с помощью выработанных им еще на заре творчества принципов – «нужно писать только о том, что ты знаешь сам и знаешь эти проблемы лучше всех» и «делать только то, что кроме тебя никто не сможет».

По поводу романа он сказал: «Как бы хорошо я ни знал материал, я не полагаюсь на память: любая информация, любая деталь мною обязательно подвергается перекрестной проверке и только после этого является для меня достоверной. Справочные и подсобные материалы для романа «В августе сорок четвертого...», как оказалось при разборке архива, состояли из 24 679 выписок, копий, вырезок различного характера».

Достоверность описанного в романе оказалась столь велика, что некоторые из читателей – участники войны – восприняли придуманную автором и описанную в романе военную операцию «Неман» как реально существовавший факт и были убеждены, что принимали непосредственное в ней участие. Один из читателей даже прислал Владимиру Осиповичу подробные воспоминания об этом и фотографии «убитых в романе диверсантов».

Есть и щемящие письма, наполненные болью и трагизмом, которые невозможно читать без слез: их авторы и спустя 30 лет после окончания войны разыскивают своих погибших на во-

йне или пропавших без вести родственников. Встреченные созвучные фамилии в сюжете, документах, оперативных сводках вызвали у них робкую надежду и даже уверенность, что В.О.Богомоллов, «если его роман не вымышленный, а документальный», знал этих людей лично, описал в романе именно их родственников, а значит, может сообщить что-нибудь об их дальнейшей судьбе или хотя бы месте захоронения. Каждому из таких адресатов, считая это своим моральным долгом перед памятью погибших, Владимир Осипович вынужден был с большим сожалением отвечать: «Упомянутый в романе ... к Вашему отцу (сыну, мужу, брату) никакого отношения не имел».

Есть письма-отклики с глубоким и обстоятельным анализом романа, проведенные не критиками и литературоведами, не филологами, а читателями — геологом, химиком и инженером.

«Владимир Осипович, спасибо Вам за «Зосю», «Ивана» и особенно «В августе сорок четвертого...». Жестокая, скупая, беспощадно правдивая проза. Лишенная внешнего проявления авторских эмоций, как она будоражит чувства читателя, какие вызывает ассоциации!.. Вы оставляете место для воображения читателя на то, что в Вашем романе подспудно еще несколько романов.

Например, жена Васюкова, которая «убегла в город с фелшаром». У Чаковского ее бы замучили немцы, у А.Иванова она бы героически погибла в бою, а у Вас — «убегла в город с фелшаром». Сошлась с окруженцем, видно, крепко полюбила его, если и сынишку родила, и все тяготы жизни в партизанском отряде переносила, и... вот пришли наши. Казалось, теперь можно вздохнуть. А жизнь стала еще круче — банды, зверские убийства. Вот еще роман, да такой, что и не знаешь, сможешь ли безоговорочно осудить эту женщину?

А какой сынишка Васюкова — безрукий мальчонка с улыбочивой замурзанной мордашкой, цепким кулачком! И Алехин не сглатывает тугой комок, не лезет в карман за кусочком сахара, а «Алехин был не сентиментален и за войну перевидал всякое...» — это шедевр, это читатель сглатывает тугой комок.

Игорь Аникушин написан так здорово, что даже кто-то из критиков вслед за Таманцевым назвал его пижоном (для критиков такое простодушие непростительно).

И все-таки раздражение Таманцева и недоумение Блинова мне передались — какая же Вы умница! Когда Аникушин по-

гибает, мне становится не столько жаль его, сколько того, что он погиб, не успев переменить мнения об Алехине, Таманцеве и Блинове, которых я полюбил; погиб, продолжая считать их такими же дуболомами как тот особист, по которому он судит всех работников «Смерш».

Оперативные документы... Страницы, полные драматизма, сменяются хроникой, подлинными документами: возьмете за душу, сожмете и отпустите, потом опять сожмете. Оперативные документы у Вас не только и не столько помогают развитию сюжета, сколько служат эмоциональными отдушинами!

Как большой автор, столь завладевший вниманием, Вы даже малость озоруете, что можете позволить себе до-о-олгую паузу: «... Сахар заменить кишмишем из расчета...». Ах, как здорово!

...Отменно подобраны фамилии. Особенно молодецкая фамилия Таманцев. И хорошо, что он из Новороссийска. Вы и здесь избежали расхожести: а как соблазнительны были бы одессизмы, которые бы одушевили образ. О Сталине написано здорово. То, что нужно и так, как нужно.

... Хорошо, что не появился фильм. Я против экранизации литературных произведений, особенно талантливых. У Вас появится столько соавторов, сколько читателей.

Вам природа подарила волшебный дар – способность, глядя на чистый лист бумаги, вообразить и создать портреты героев, их походку, голоса, манеру говорить, интересы, каждый видит своего Таманцева (Алехина, Блинова и т.д.). ... Зритель фильма – не творец, не соавтор, а потребитель. И неблагодарная вещь – экранизация, кино все преподносит зрителю на тарелочке режиссера. Если зритель читал роман, то в фильме увидит не так, как он себе представлял, и это вызовет неприятие фильма. А если он сначала посмотрел фильм, а потом прочтет роман – будет еще хуже; кино оказывает читателю медвежью услугу – преподносятся зрительные стереотипы и наглухо давит творческое воображение.

... Ваш замечательный роман будет жить самостоятельно, не портите впечатления экранизацией даже сверхталантливым режиссером. Никто из них не сможет вложить душу так, как это сделали Вы». (В.В.Овечкин, геолог, сын знаменитого писателя В.Овечкина, г.Ташкент).

«... 10 или 20 раз прочитал роман, и буду еще читать...

Ваша книга достойный представитель нашего времени в русской классической литературе. Горд тем, что в России есть писатель, который на таком уровне знания жизни и войны, на таком накале сработавший чудо-книгу, в которой ничего нельзя ни переставить, ни отнять, ни прибавить. Она призывает и помнить, и думать, последнее особенно отчетливо видно по Игорю Аникушину.

... Для меня живы не только главные герои — Алехин и его ребята, Поляков и Егоров, но и Басос с Хрустальевым, убитые до начала действия романа; Юлия и Казимир Павловский (это — характер интересный); Борискин, Гусев и Коляныч, изготавливающий портсигар за бутылку, с надписью «Смерть фашистам... оккупантам...».

Только подумать: руками этих простых шоферов, механиков тоже «дворачивалось» колесо войны...

Не буду перечислять сильных мест романа — я не нашел слабостей. Все на месте, мелочи точны, крупные детали — до мелочей отделаны. Впечатление такое, что слова, поднятые ветром, сами легли в книжку в неповторимом варианте, приоткрыв одну из ушедших тайн, показав все живо, ярко. ... Окулич — это открытие. Каким только не выходил человек из-под штампа войны, но Окулича ни у кого из писателей нет.

И какая же емкая Ваша книжка! Все в ней есть, даже эта щемящая душу мелодия «Перепелочка».

Об одном прошу: к этой книге обязательно сунутся киношники. Не пишите сценарий, не содействуйте. Не было хороших фильмов, сделанных на базе талантливых книг: в лучшем случае получались доброкачественные иллюстрации, а этой книге они не нужны.

Тема Великой Отечественной — святая тема и Ваша книга — пример того, как надо работать над темой войны 41–45 гг.» (В.Соляников, химик, Московская обл., пос.Черноголовка).

«... Эта книга нужна не только тем, чью жизнь пересекла, искалечила страшная война. Она нужна всей молодежи для ее патриотического воспитания, закалки, понимания жизни. Эта книга лучшая из лучших о Войне, она как песня «День Победы».

Ее надо читать и перечитывать. С ее героями расставаться — нельзя, это наши товарищи по оружию, наши дру-

зья на всю жизнь». (К. Вительс, инженер, участник Великой Отечественной войны, г. Ленинград)

На многие письма Владимир Осипович отвечал, особенно был благодарен за обоснованные замечания и даже выявленные читателями опечатки, непременно их учитывал при переизданиях романа, о чем лично сообщал адресатам.

Среди огромного числа читательских писем много просьб к автору написать продолжение, где бы все герои оставались живыми, «замечательные, бесстрашные, умные ребята, жалко с ними расставаться, они словно взяли нас с собой и повели вместе по жизни, как по лесным тропам, навстречу опасностям и подвигам».

Иные письма, достаточно наивные и бесхитростные, но подкупающая искренность авторов и желание стать такими, как герои романа, не могут не восхищать и сейчас: «прочитав роман, я твердо решил поступать в военное училище», «я так полюбил роман, что решил выучить его наизусть и читать его друзьям и знакомым», «я решил идти служить только в погранвойска и быть, хоть немного, похожим на Таманцева», «я дважды прочел Ваш роман, теперь это самая любимая книга. Таманцев стал моим кумиром. Напишите, какие упражнения делал Таманцев, разрабатывая суплес, как при «качании маятника» у него совмещались тело, ноги, таз, голова, где находились руки и какие движения они в это время выполняли?», «...в перерывах между вахтами захлеб прочитали «Ивана», об «Августе сорок четвертого...» и говорить нечего, она ходит по рукам. Как хорошо иметь такую книгу, которая может поднять душу в крутую минуту. Когда узнали, что прообраз Таманцева все же погиб, матросы долго молчали, а механик Максимыч сказал: «Як же це так, такий хлопец, бив их як собак об колено, а загинув...». По поручению экипажа хотим узнать, случайно ли погиб Таманцев или кто-то из врагов оказался в большем числе? Надеемся на продолжение, но только оставьте Таманцева живым».

Блестящий пример того, как одушевляемые герои произведения — «не поверю, что Евгения Таманцева в жизни не было», «чем сейчас заняты чекисты и куда им можно написать?», — оказывают своим примером и поступками воздействие на юношество и молодое поколение — делать бы жизнь с кого —

в воспитании у них характера, силы воли, патриотизма и мировоззрения.

Эти письма были дороги Владимиру Осиповичу своей непосредственностью и своим безоглядным мальчишеским романтизмом. Особенно восторженным, но уже с ярко обозначенным волевым характером юношам Владимир Осипович вместо ответа на просьбу выслать им инструкции по физической подготовке, «суплесу», «качанию маятника» и «стрельбе по-македонски», чтобы стать такими, как Таманцев, отправлял надписанную книгу: «На добрую память от автора с пожеланием здоровья и незаурядной судьбы».

Вместе с тем среди критиков, и отечественных, и зарубежных, разгорелись дебаты: к какому жанру отнести это произведение – приключенческой повести? детективу? или роману с использованием детективных приемов?

Не секрет, что в литературном мире иногда используют термин «детективный» для дискредитации произведения, чтобы вызвать у потенциального читателя некоторое пренебрежительное отношение, ибо жанр приключенческой и детективной литературы, какой бы талантливой она ни была, заведомо несет в себе некоторый элемент облегченности чтения и восприятия.

Поэтому возникли чисто терминологические споры и литературно-вкусовые обсуждения: в какую жанровую нишу поместить «В августе сорок четвертого...»? Ведь и сам Владимир Осипович в процессе многолетней творческой работы над произведением пересмотрел в итоге свое отношение к нему – как по определению, так и по жанру. Задуманная им поначалу как приключенческая повесть для юношества, по мере накопления материала, расширения и более тщательной разработки сюжета превратилась сначала в детектив, а затем привнесенный в него психологизм и глубинное осмысление описываемых событий, обогащенные документами, вывели произведение за рамки повести, превратив в роман, который в конечном варианте уже никак нельзя было отнести ни к жанру приключений, ни к жанру детектива.

Константин Симонов, прочитавший рукопись романа еще до получения официального разрешения на публикацию, первым увидел и подчеркнул исключительную особенность ро-

мана и полностью отверг его принадлежность к популярному детективному жанру: «Это роман не о военной контрразведке. Это роман о советской государственной и военной машине сорок четвертого года и типичных людях того времени».

О неприемлемости однобокой жанровой характеристики романа созвучно высказались и зарубежные литераторы.

«В мире произведений, не имеющих литературной, человеческой и художественной ценности, есть шедевры. Таков роман Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четвертого...»). На Кубе его роман имел ошеломляющий успех на всех читательских уровнях: и у неизменных приверженцев детективного жанра, и у студенческой молодежи, и даже у писателей. Все единодушны в его восприятии. Богомолов написал не просто хороший, а один из прекраснейших романов, который я когда-либо читал, — утверждал признанный мастер детективного жанра Луис Рохелио Ногерас, — и с моей точки зрения, выдающийся роман — детектив в том понимании, что талантливое многоплановое произведение Богомолова не может быть обозначено одним жанром, как «Пармская обитель» — это роман о любви, а «Дон Кихот» — приключенческий роман».

Его поддержал и известный немецкий издатель и литературовед Леонард Кошут: «Богомолов создал нечто гораздо большее, чем гимн контрразведке, достижения которой он соотносит с общегосударственными аспектами. Это блестящий роман, который читается на одном дыхании и героев которого запомнишь четко и надолго».

Что касается определения — приключенческая это книга или роман? Ни то и ни другое, как если бы повесть Пушкина «Дубровский» отнесли к приключению, а «Преступление и наказание» Достоевского — к детективу».

В советской литературе 70–90-х годов не было более известного и знаменитого произведения, чем роман В.О.Богомолова «В августе сорок четвертого...» («Момент истины»). Он стал мировым бестселлером и был признан классикой советской и мировой литературы.

Почти за сорок лет, прошедших после первой публикации романа, вышло сто с лишним его изданий (точнее — 122) более чем на пятидесяти языках мира, и по количеству изданий

и тиражей оказался абсолютным чемпионом среди опубликованных отечественных литературных произведений.

Роман поистине стал народным.

А в Московском физико-техническом институте имени Баумана студентам даже было рекомендовано начинать изучение прикладной математики с чтения романа В.Богомолова «В августе сорок четвертого...», так как в нем представлена модель, алгоритм любого поиска, в том числе и научного: накопление экспериментального материала, информации, поиски новых данных, осмысление гипотез, отказ от некоторых зашедших в тупик идей, и выбор новых, подготовка и проведение специальных экспериментов, и завершение — конечный результат.

По всей стране прошли читательские конференции книголюбов: стихийные и организованные, объединившие учащихся школ, студентов техникумов, институтов, интеллигенцию техническую и гуманитарную, рабочих, военных, пенсионеров.

Естественно, динамичность, драматизм романа и его яркие герои не могли не вдохновить многих театральных режиссеров на создание сценических версий этого произведения.

В архиве В.О.Богомолова сохранились обращения многих режиссеров с просьбой разрешить им театральную постановку. К ним приложены — абсолютно идентичные — ответы автора:

«Я отношусь сугубо отрицательно к любым попыткам сценической инсценировки романа «В августе сорок четвертого...» (о чем неоднократно сообщал и театрам и Министерству культуры), и потому ничем не могу быть Вам полезен. Находясь в этом убеждении, считаю нецелесообразным знакомиться с присланным Вами вариантом».

Столь же категорически отрицательно относился Владимир Осипович и к эстрадным композициям: он называл это «делать шарж» на роман. В письменных ответах актерам-чтецам — И.Домбеку (Ленконцерт), И.Д.Золотареву (Воронеж), Б.Чулимову (Запорожье) и другим В.О.Богомолов сообщает: «Вместить содержание романа, его образы и сюжетные линии в один, два или даже три сценических вечера невозможно. Что же Вами берется для композиции? Куски детективного характера — поэтому я принципиально против всякого рода композиций».

Только в 1995 г. — к 50-летию Победы — режиссер Леонид Хейфец, к тому времени почти полтора десятка лет возглавлявший Центральный Театр Российской Армии, осуществил постановку на Радио-1 «Останкино» семисерийного радиоспектакля «Момент истины».

Не раз роман предлагали экранизировать. Но каждый раз Владимира Осиповича одолевали большие сомнения: он отдавал себе отчет в том, что, как бы талантлив ни был режиссер, фильм будет снят по «мотивам» романа, и, посему, будет нести в себе элемент вторичности (в чем его убеждало «Иваново детство» А. Тарковского).

Владимир Осипович был убежден: работа по киноинсценировке должна вестись так, чтобы кинопроизведение приближало литературное произведение к читателю, а не заменяло его. Как пример он вспоминал экранизацию «Чапаева»: «Кто из миллионов читателей знает (читал) глубокий блестящий роман Д.А.Фурманова «Чапаев», написанный в 1923 году? В сознании зрителей навеки запечатлен созданный режиссерами братьями Васильевыми облик «лихого Чапая», исполненный талантливым актером Б.Бабочкиным. Из фильма, снятого в 1934 г. в духе соцреализма, ушла вся драма и глубина романа. В фильме односторонне отражено главное: время, трагедия гражданской войны и судеб сотен миллионов людей, вовлеченных в мясорубку исторического перелома России».

О трудностях, с которыми столкнется режиссер при переложении романа В.Богомолова на язык кино, дальновидно предупреждал Г.Товстоногов — главный режиссер Ленинградского Большого Драматического театра им. А.М.Горького — в интервью «Люблю кино медленное».¹

На вопрос журналистки: «Какие новинки советской литературы, по Вашему мнению, заслуживают внимания?», — Г.Товстоногов ответил: «В первую очередь роман Богомолова «В августе сорок четвертого...».

— Какие опасности при этом могут подстергать создателей фильма?

— Опаснее всего — перевести это художественное произведение в жанр детектива. В фильме должна остаться психологиче-

¹ Советский экран. //1975. № 12.

ская подробность всего происходящего, деталь, необходимая для полнокровного образа, характера. Сопряжение частного и общего, масштаб, глобальность происходящих событий и локальность самого действия. Зрители должны ощущать непрерывность сопоставления одной человеческой судьбы и судьбы фронта. И «вверху» и «внизу» события не должны быть простым фоном для главных героев. Это та социальная среда, в которой три — только три! — человека и режиссер их действий — Поляков — делают свое локальное, конкретное дело, от которого со всей очевидностью зависит судьба огромного мира вокруг них — фронта, десятков тысяч людей... Если такого сопоставления не будет, все выльется в банальный детектив «поймают — не поймают».

Экранизировать роман хотел Андрей Тарковский — он был убежден, что сделает очень сильный, значительный фильм. В этом был уверен и В.О.Богомоллов, однако, к сожалению, экранизации не суждено было состояться. После выхода картины «Зеркало», вызвавшей возмущение Сулова (тогда главного идеолога КПСС), на А.Тарковского начались гонения, он стал персоной нон грата и, несмотря на личное обращение В.О.Богомоллова к директору «Мосфильма» Сизову и самое доброе отношение Сизова к Тарковскому, ничего сделать не удалось.

В 1975 году на студии «Мосфильм» режиссер Витаутас Жалакявичюс приступил к съемкам двухсерийного фильма «Момент истины». В октябре 1975 г. картина была остановлена в связи со смертью исполнителя одной из главных ролей (генерала Егорова) артиста Бронислава Бабкаускаса.

Просмотренный материал, снятый, как выяснилось, по сценарию, самовольно видоизмененному режиссером В. Жалакявичюсом, вызвал серьезные замечания у автора сценария В.О.Богомоллова, консультантов фильма и дирекции студии.

После длительных и мучительных для всех сторон переговоров — как для автора, так и для режиссера и дирекции студии, — работа над фильмом была прекращена.

После этого В.О.Богомоллов в течение двадцати пяти лет не соглашался на экранизацию романа — ни в кино, ни на телевидении. А в 2000 году, после серьезных размышлений, все же решил пойти кинематографистам навстречу. К сожалению, как и предвидел умный Г.Товстоногов, получился

«детективчик», на экран вышел фильм весьма средних достоинств, хоть и с хорошими актерами («В августе сорок четвертого...», Беларусьфильм, 2002, режиссер М.Пташук). В.О.Богомолов снял свою фамилию из титров создателей фильма, согласившись на ссылку – фильм снят по мотивам романа В.Богомолова.

В 1975 году издательство «Молодая гвардия» и журнал «Новый мир» выдвинули роман «В августе сорок четвертого...» на Государственную премию. Владимир Осипович направил в отдел культуры ЦК КПСС письмо с просьбой о содействии в освобождении романа от этого выдвижения с мотивацией:

«...После долгого и всестороннего обдумывания я пришел к твердому выводу, что единственно возможное для меня положение – это амплу рядового автора, убежден, что литературное произведение после опубликования должно жить самостоятельно. В отличие от большинства пишущих я вполне доволен своим положением в литературе и не желаю никаких, даже почетных, изменений, отчетливо осознаю: вся последующая за этим суета, публичность образа жизни и необходимость почти ежедневно перед кем-то лицедействовать для меня органически противопоказаны и совершенно неприемлемы».

Выбранному для себя пути «рядового автора» В.Богомолов придерживался всю свою творческую жизнь.

После длительного молчания – с момента выхода в 1974 году знаменитого романа «В августе сорок четвертого...» («Момент истины») прошло почти двадцать лет – В.О.Богомолов публикует в 1993 году повесть «В кригере».

Она была написана еще в 1986 году, но как самостоятельное произведение повесть вначале в сокращенном варианте под названием «Твой коньяк – мои лимоны» была напечатана в газете «Калейдоскоп» (18 июля 1993 г.) и газете «Сегодня» (27 июля 1993 г.), полный вариант ее текста Владимир Осипович представил в журнал «Новый мир», и, как он вспоминал, «повесть ушла в производство в тот же день, как мною была представлена рукопись». Повесть «В кригере» опубликована в журналах «Новый мир» (№ 8, 1993 г.) и «Честь имею» (№ 10–12, 1993 г.) и с 1994 года она обязательно входила в состав однотомника произведений Владимира Богомолова.

В беседах с критиками и в интервью журналистам В.О. Богомолов объяснил, что послужило мотивом для ее публикации:

«Долгое время я работаю над романом «Жизнь моя, или ты приснилась мне...» о многих десятилетиях жизни человека моего поколения и шести десятилетиях жизни России. Действие книги заканчивалось примерно в 1989 году и работа близилась к завершению — я занимался усилением и доводкой текста. Однако после августовских событий 1991 года роман невольно въехал в начало девяностых годов. Было бы непростительной ошибкой упустить такую учиненную и подкинутую жизнью драматургию, как распад Советского Союза, нарастающий развал России и армии, разрушение экономики и обнищание десятков миллионов россиян, обезчеловечивание общества и успешно осуществленную криминализацию всей страны.

Происходившие процессы требовали тщательного осмысления, отчего, не оставляя работы над романом, я поднял сюжетные наброски и решил доделать их текстуально и запустить в обращение несколько небольших произведений — повестей, в которых дается представление о героях романа, но совершенно не раскрывается его содержание и форма, поэтому они могут существовать как самостоятельные произведения.

Таковой является повесть «В кригере», я называю ее «офицерской повестью». Написанная от первого лица, она не является ни вымышленным сочинением, ни воспоминанием. Волею судеб в шкуре основных персонажей романа я физически провел свыше четверти века и почти всегда оказывался не только в одних местах с главным героем, но и в тех же самых положениях.

Действие повести происходит глубокой осенью 1945 года во Владивостоке, в отделе кадров Дальневосточного Военного Округа, где офицеры, прошедшие войну в Европе с Германией и в Азии с Японией (Маньчжурией), получают назначения для прохождения дальнейшей службы, определившие их судьбу и даже жизнь. Для изображения специфичности армейской среды, тональности коллизий и эмоциональности речевой окраски персонажей мне было не обойтись без использования богатой русской лексики: в тексте встречаются крепкие выражения. Надо учитывать, что армия — это не консерватория и даже не пединститут, а боевое содружество здоровых, вполне

совершеннолетних мужчин, которые в жизни (даже в современной армии) редко выражаются литературным языком.

Коренными прототипами основных персонажей были близко знакомые мне во время войны и после нее офицеры.

«В кригере» сохранены подлинные фамилии офицеров военного времени, с которыми я служил: П.И. Арнаутова, А.С. Бочкова, И.Н. Карюкина, М. Коняхина и Венедикта Окамова».

Предваряя текст публикации, редакция журнала «Честь имею» поместила свой комментарий:

«Каждое произведение Владимира Богомолова становится событием в литературе. Между публикациями — знаменитого и широко известного романа «Момент истины», имевшего ошеломительный успех, и повестью «В кригере» — долгое молчание: писатель не спешил напомнить о себе во что бы то ни стало, печатал лишь то, что выдерживало его строжайший суд, что отвечало жестким требованиям к себе, к литературному делу. Уровень этих требований проверен временем: Богомоловская проза несет в себе «момент истины», не устаревает и не подвергается переоценкам.

Автор неуклонно следует принципу — «писать лишь о том, что знаешь досконально». И, изведав жизнь в разных ее проявлениях — от самых светлых до самых мрачных, грязных, жестоких, он не стремится сгладить трагические противоречия мира, не боится шокировать читателей «крутыми выражениями», беспощадностью оценок.

Писатель знает, что есть такая жестокая правда жизни, которую нельзя даже пытаться «причесать» или «пригладить» — она должна предстать во всей своей суровой и страшной наготе.

Такова и новая повесть Владимира Богомолова».

В последовавших за публикациями откликах на эту повесть ее причисляли к «третьей волне» военной прозы, где «писатель спешит сказать свою последнюю правду о войне, об армии, о времени и о себе»; характеризовали как «блистательную прозу, которая читается залпом»; в ней видели «художественный образ времени». Критики соотносили повесть «В кригере» с нравственным постулатом ее героя — «Береги честь смолоду!» и «Честь офицера», готовностью в любую минуту отдать жизнь за Отечество», — с «офицерской» прозой Куприна, размышлениями Лермонтова и Толстого о русской офицерской

традиции; подчеркивали особую современность повести, «пророчески показавшей причины — общее бесправие в тоталитарном режиме и заложенные тогда основы бесправия рядовых и беспредел начальников любого ранга в армии, со временем многократно усиленные до жестокости и уродливых форм, — приведшие к развалу самой сильной в мире армии».

«Рассказ хорош и светлой грустью по мальчишкам сороковых годов, и точно переданной атмосферой кригеров, и каким-то грозovým ощущением.

Репутация писателя В.Богомолова уникальна. Его имя ни разу не возникало в «очерняющих» контекстах, на которые столь щедры были многие. В.Богомолов в литературе — вроде эталона или символа неучастия в мышинной беготне, недостижимой степени свободы».¹

«Повесть В.Богомолова «В кригере» обособлена от потока литературной макулатуры, заполонившего журналы и газеты. Это — вещь в себе, глоток воздуха и ошеломляющее впечатление. В повести Богомолова поражает точность — и это не черта его характера, а эстетическая характеристика, литературный прием, он не позволяет себе сфальшивить ни в чем, и ненавидит эту фальшь в других и в критике. В.Богомолов — мастер старой школы, «писатель в законе», не подвластный сиюминутным веяниям моды. В.Богомолов — еще и «офицер в законе», из тех, что спасали Отечество, невзирая на конъюнктуру. Так же непоколебимо, как он служил Отечеству, он служит и литературе — настоящий профессионал прозы».²

«Литература — это правда, и назначена рассказывать, как оно было на самом деле и каков был истинный глагол времени.

В повести «В кригере» В.Богомолов — один из последних могикан, староверов, хранителей древностей, былого и дум — представляет не пир победителей, а драму офицеров. Нигде нет сбоя интонации. Точность «вещных» деталей, непосредственность психологических движений окрашены той светлой ироничностью, которая дается при взгляде из зрелых годов на детство и юность, сколь бы горестными они ни были.

¹ Л.Перкина. После двадцати лет молчания В.Богомолов опубликовал новую повесть // Литературная газета. 1993. 6 окт.

² В.Бондаренко. Честь офицерская. // Литературная Россия. 1993. № 42–43. 26 нояб.

Как и во всех произведениях В.Богомолова, и в этом присутствует боль сердца автора, выраженная словами героя: «Спустя тридцать и сорок пять лет я не могу без щемящего волнения смотреть на молоденьких лейтенантов», автору видится в них «Ванька-взводный времен войны... безответный бедолага — пыль войны и минных предполий...» В его повести ощущается грядущее роковое поражение поколения фронтовиков — пыль войны, пыль державы, пыль партии».¹

«Очередное произведение В.Богомолова — бесспорная классика «военной прозы». Стержень творчества В.Богомолова — показ трагизма служения Отечеству, несмотря на жесткое давление, откуда бы оно ни исходило. ...Вся страна оказалась в таком «кригере» и до войны, и во время, и после нее...»²

«Страшную, талантливую повесть написал В.Богомолов, впрочем, каждая новая встреча с этим писателем — шоковая. Жестко, точно, до болезненности ощутимо передана тоска молодого существа, которому уготована не людская доля. Сухо, но, как всегда у В.Богомолова, филигранно «прописано» миропонимание героя — смесь цинизма (это от раннего опыта) и романтических мечтаний о блистательном офицерстве. Сцена, где четыре покалеченных войной кадровика унижают мальчишек-лейтенантов, дурят их, давят, чтобы сломить робкое сопротивление и загнать в дыру, где сгинет их молодость, — это сцена преисподней, ничего страшней в нашей литературе не было».³

В.О.Осипов, писатель, директор издательства «Раритет», анонсируя в 1995 году повесть для перевода и зарубежных изданий, подчеркнул:

«Яркая, беспощадная, правдивая повесть проникнута юмором, насыщена точными деталями времени; русские офицеры-победители показаны с такой достоверностью, языковой точностью, какой еще не было ни в советской, ни в зарубежной прозе».

Использование автором в тексте «крепких выражений», специфической лексики было воспринято критиками не-

¹ А.Бочаров. Времена прошедшие, но не ушедшие. // Литературное обозрение. 1994. № 5/6.

² А.Тимофеев. Моменты обмана и истины. // Завтра. 1994. № 10.

³ Т.Блажнова. Огонь по своим на поражение. // Книжное обозрение. 1995. № 10.

однозначно: кто-то был задет «ненормативной лексикой и грубоватостью», но большинство отмечало, что «язык произведения — не эпатация автора и вряд ли могут шокировать виртуозно-матерные сочетания и реплики персонажей»; в повести отражен «солдатский интим необычайно яркой тональности: энциклопедически точно, предельно лаконично автор дает неуставное определение армии».

Об особенностях языка как инструмента, использованного в этой повести В.Богомоловым, говорили многие критики:

«В.Богомолов — прозаик в высшей степени современный, что проявляется на уровне интонации и на уровне синтаксиса. Тщательность выделки фразы сочетается у него с абсолютной речевой естественностью.

...Выход повести совпал с оживленными спорами о допустимых пределах использования «ненормативной» лексики. Мат — это материал, одна из полосок языкового спектра, одна из лексических красок, и никаких количественных нормативов быть не может — все дело в общей художественной мотивированности. У Богомолова — каждый персонаж разговаривает (в том числе и матерится) по-своему, индивидуально, а из зоны авторской речи мат выведен совершенно».¹

Свое мнение о ненормативной лексике В.О.Богомолов изложил в статье «С матом по жизни», опубликованной в «Общей газете» (1994. 11–17 марта) и представленной в настоящем сборнике.

Замечу, что попытка перевода повести на английский язык (по заявке издательства «Раритет») так и не увенчалась успехом: передать лексические особенности текста оказалось невозможно.

И последнее, как личное отступление: повесть очень современна, особенно для юношей, которым предстоит служить в армии, и особенно для тех молодых людей, которые выбрали в жизни военную профессию.

А каково служить в армии сегодняшним парням? Как жаль, что для каждого из них не находится своего Арнаутова — старого русского офицера — с исторически сложившимися просты-

¹ Вл.Новиков. В кригере и вокруг себя: проза В.Богомолова в контексте времени и культуры. // Независимая газета. 1993. 21 окт.

ми истинами и заповедями об офицерской чести, в которые надо так же просто, без затей непоколебимо верить: «Не угодничай, не заискивай, ты служишь Отечеству, делу, а не отдельным людям!»

Вторая такая «офицерская повесть» В. Богомолова «Вечер в Левендорфе», как самостоятельное произведение, при жизни автора опубликована в журналах «ЭР» (№1. 2000), «Воин России» (№ 11. 2000), газете «Новая газета» (№ 31. 7–13 мая. 2001.

Приоткрывая лишь одну из сюжетных линий своего будущего романа «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...», но не раскрывая ее полностью, В.Богомолов в предисловии к публикации писал:

«Действие в повести происходит в Германии вскоре после войны в последнюю (третью) субботу сумасшедше-победного мая сорок пятого года.

Главного героя — девятнадцатилетнего старшего лейтенанта, командира разведроты стрелковой дивизии Василия Федотова — приглашает его близкий друг Володька Новиков, тоже офицер, с которым все три года войны прошли вместе, на день рождения своей невесты, операционной медсестры. На мотоцикле герой едет за десятки километров в армейский госпиталь, расположенный в немецкой деревне Левендорф, чтобы присутствовать на этом торжестве.

К сожалению, для главного героя в этот вечер все складывается неудачно: Натали, медсестра, с которой его собирались познакомиться, в упор его не замечая, танцует с немолодым, лысым грузином, капитаном медслужбы.

Не складываются отношения и с виновницей торжества и с ее подругами, которые значительно старше по возрасту и поэтому не воспринимают его как перспективного жениха и сформировавшегося мужчину.

Оскорбленный в лучших чувствах, желая доказать свою состоятельность, Василий совершает несколько мальчишеских поступков, эпатируя гостей: отплясывает русскую, сопровождая танцевальные коленца разухабистыми частушками.

Среди гостей присутствует старшая хирургическая сестра госпиталя — Галина Васильевна, рослая, атлетического сложе-

ния, лет тридцати пяти, которая до войны была знаменитой спортсменкой — «чемпионкой или рекордсменкой страны, а может, и всего мира по толканию ядра». Она оказывается единственной женщиной, проявившей внимание к герою, и не только не осуждает его за мальчишеское поведение, но проявляет интерес к его внешности и спортивной фигуре. Ощущающий себя одиноким и никому не нужным, герой особенно польщен вниманием столь известного и выдающегося человека, припоминает даже ее фамилию — Егорова.

Когда они курят на веранде, Галина Васильевна, поняв его состояние, говорит ему: «Василий, ты попал в вагон для некурящих. Идем отсюда!» — и, ухватив за локоть, уводит его».

В этой повести, как говорил В. Богомоллов, изображены «молодые, успешные, боевые офицеры, романтики в душе, но смелые и мужественные в поступках», «баловни судьбы», которым, несмотря на трехлетнее пребывание на фронте, ранения и контузии, посчастливилось закончить войну без увечий; они живут в ощущении предстоящей, но еще не известной им мирной жизни — «весь мир лежит у их ног, судьба улыбается в 32 зуба и каждый из них держит Бога за бороду».

Многообещающее начало мирной жизни, мечты и планы навсегда связать свою офицерскую судьбу со служением Отечеству могут быть нарушены совершенно новым, что входит, помимо воли, в их жизнь — неожиданное и грубое вмешательство природы, естества, превращающего мужественного юношу в полноценного мужчину.

Романтика любви — и реальность жизни; юношеская наивность, девственная чистота помыслов, трепетное и уважительное отношение к женщине, воспитанные бабушкой и матерью, — и муки одинокой взрослой жизни, чью бабью долю искорежила война.

Свою боль за покаченные и деформированные войной человеческие судьбы В.О.Богомоллов выразил словами героя: «Галина Васильевна осталась в моей памяти вдовой погибшего офицера, несчастной, обездоленной женщиной с несколько преувеличенными физиологическими потребностями. И спустя десятилетия я ее понял и пожалел...».

Повести «Вечер в Левендорфе» и «В кригере» — неотъемлемые части романа «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...»,

который впервые полностью опубликован в 2012 году издательством «Литературный клуб 36,6».

Последнее десятилетие прошлого века вызывало у Владимира Осиповича двойственное отношение:

«Я в последнее время стал с особенной остротой чувствовать и понимать то, что чувствовал уже давно: до чего я человек иного времени, до чего я чужд всем ее «пупам» и всей той новой твари временщиков, которая беспрестанно учит народ с их точки зрения «правильно жить», сами при этом хватают все ртом и жопой, плотоядно раздирая Россию на куски. Эти люди так называемой «новой жизни» правы в одном – к прежнему, к прошлому возврата нет. «Новое» уже крепко и нахраписто они внедряют в будни, и я физически ощущаю и вижу, как истончается и рвется хрупкая связь между людьми, властью и окружающим миром. Я все больше и больше отрешаюсь от него и ухожу в тот, с которым когда-то был связан я. Несоответствие между общественным положением человека и его нравственными принципами – вернейший признак попрапия истины, болезни общества», – говорил он.

И с горечью добавил: «Сегодня в России, скорее всего, по недоумству, чрезвычайно много сделано для того, чтобы нация и культура, в том числе художественная литература и книгоиздание, оказались в положении брошенных под электричку. Пора, наконец, понять, что подобная «экономия» на науке и культуре, кроме резкого снижения интеллектуального и нравственного потенциала и неизбежной обвальной деградации, ничего России и русской литературе принести не может».

Этому посвящена и его заметка «О положении в литературе», включенная в сборник.

Случившаяся переоценка человеческих и исторических ценностей, попрание основополагающих нравственных принципов, глумление над такими понятиями, как «патриот», «патриотизм», «Родина» и «служение Отечеству», заставили В.О.Богомолова обратиться к более актуальной для него в то время теме.

Издание историко-публицистического исследования «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...» было приурочено к пя-

тидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне и напечатано на страницах «Книжного обозрения» (1995. 9 мая. № 19), затем в журналах «Свободная мысль» (1995. № 7) и «Воин» (1995. № 7), книге «Сердца моего боль» (М., т.2, 2008).

О побудительных мотивах, заставивших В.Богомолова взяться за работу над «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...», автор сообщил во вступлении к публикуемому отрывку – «Новое видение войны», «новое осмысление» или «новая мифология»?

Работа была сложной и трудоемкой. В архиве В.Богомолова хранятся несколько тысяч документальных материалов из архивов Белоруссии, России (Брянск, Смоленск, Подольск, Краснодар), Центральных военных ведомственных архивов, ответы на его запросы из зарубежных архивов (Германии, Чехословакии, Венгрии), а также выписки из мемуаров бывших гитлеровских генералов и биографов генерала Власова, изданных как за рубежом, так и в России. (В кабинете Владимира Осиповича на трех полках подобраны по этой теме десятки книг, в каждой из них сохранены оставленные им многочисленные закладки).

В.Богомолов следовал неизменному правилу: при указании на какой-то факт, событие, историческое лицо иметь не менее трех-четырёх документальных подтверждений из разных компетентных источников. Он был убежден: такой подход позволяет автору не впадать в ложную патетику, избегать личностных, вкусовых характеристик, художественных домыслов и предположений.

В сборнике представлен лишь фрагмент из одноименной книги «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...», в которой В.Богомолов ставил перед собой задачу скрупулезно восстановить и описать одну из трагедий Великой Отечественной войны: разгром 2-й Ударной Армии, гибель и пленение десятков тысяч советских военнослужащих, обстоятельства пленения командующего армией генерала Власова, его предательство и затем – до самого конца войны с Германией – добровольную и верную службу вермахту, развенчать и убедительно опровергнуть измышления (в основе которых умолчание и подтасовка фактов, односторонняя оценка событий и личности Власова)

некоторыми современными литераторами, пытающимися принизить значение нашей Великой Победы, вплоть до отрицания решающей роли России в разгроме фашизма.

Убедительно, с привлечением документов, показать, что психология предателя и мотив предательства на войне — всегда одни и те же: сохранить себя и свою шкуру любой ценой и любыми средствами, — не возникают вдруг, они гнездятся глубоко в подсознании каждого, преступившего нравственный рубикон. Истоки морального крушения человека, имя которому предатель и предательство, — в его воспитании и жизни.

Владимир Осипович считал своим нравственным долгом восстановить историческую правду и доказать, что Власов, которого Г.Владимов в своем романе «Генерал и его армия» представил как «спасителя Москвы», а некоторые последователи и псевдоисторики затем, создав ему легенду убежденного антисталиниста, возвели в ранг чуть ли не спасителя России, банальный предатель, не достойный никаких оправданий, а предательство — самое гнусное и чудовищное преступление перед Родиной и своим народом.

Такой же оценки придерживался и писатель Анатолий Рыбаков¹:

«Роман Г.Владимова «Генерал и его армия» состоит весь из военных ошибок, вызванных не только незнанием автором войны, но и преднамеренным грубым ее искажением... Но самое главное, что этот роман — апологетика измены и предательства... Власовцы стреляли в русских солдат, участвовали в самых отвратительных акциях. И славословить их — позор!»

Публикация «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...» произвела сильное, если не сказать, ошеломляющее впечатление как на критиков, так и на читателей. Последние были убеждены, что присуждение в год 50-летия Победы премии Букера произведению, содержащему апологию измены и предательства, германофильство и русофобию — идеологическая акция, оскорбительная в отношении многих миллионов живых и мертвых участников войны.

П.Кузнецов, участник Великой Отечественной войны, полковник-инженер в отставке, доктор технических наук:

¹ Книжное обозрение. 1995. № 45

«Струей чистого воздуха явилась публикация писателя В.Богомолова «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...» Это настоящий подарок к юбилею Победы всем, кому дорога правда истории. Именно ее защищает автор от «просвещенных патриотов», от тех, кто готов в любой момент переписать историю в угоду корыстной и, в данном случае, подлой конъюнктуре. В.Богомолов делает святое, без преувеличения, дело, защищая от очернения Отечественную войну и десятки миллионов ее живых и мертвых участников. С каким бесстыдством Г.Владимов в своем романе «Генерал и его армия» — в нем нет ни того, ни другого — восславляет генерал-предателя Власова, выдавая его за «спасителя Москвы».

С.И.Лещев, участник войны:

«В полном недоумении от того, что некоторые критики восприняли роман Г.Владимова как «шедевр» и «новое прочтение войны». Кому-то выгодно извращать историю войны, чтобы оправдать и даже восславить изменников и предателей нашей многострадальной страны».

На яростную критику в адрес В.Богомолова, прозвучавшую в статьях М.Нехорошева¹, В.Кардина², Е.Лямпорта³ и А.Немзера⁴, В.Лукьянин ответил:

«В обширном исследовании «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...» В.Богомолов подверг уничтожающей критике документальную основу романа, и, как следствие, его художественную концепцию. Трудно поверить, чтобы простая человеческая неудовлетворенность заставила немолодого талантливого писателя совершить этот поистине титанический труд, здесь были задеты глубинные нравственные и мировоззренческие основы его личности».⁵

И читатели в своих многочисленных письмах полностью разделяли позицию В.Богомолова.

С.Д.Романцев, инвалид войны, Герой Советского Союза:

¹ Генерала играет свита. // Знамя. 1995. № 9.

² Страсти и пристрастия. К спорам о романе Г.Владимова «Генерал и его армия» // Знамя. 1995. № 9

³ Букер-экспресс. Новые заметки о ежегодной премии: литературный влосовец. // Независимая газета. 1995. 1 дек.

⁴ Глашатаи правды. // Сегодня. 1996. 19 янв.

⁵ Партия нас вела к победе. // Урал. 1995. № 5.

«Публикация такой мощной и убедительной статьи В. Богомолова очень смелая и своевременная. Хочется надеяться, что история минувшей войны будет освобождена от грязных доморощенных хулителей нашего народа».

Н.В. Соколова, участница войны:

«Прочитала статью и вот не могу молчать. Написать Вам не сразу отважилась, потому что реакция – шок, ярость, остервенение... До каких глубин патологии сознания надо дойти, чтобы писать о Гудериане и Власове как о людях! Ведь действительно можно поверить в «благородство» Гудериана, а предательство – счесть за достоинство. Разве можно допускать подобные кощунства над памятью павших и так больно оскорблять нас – живых?»

Г.Г. Мазурина, участница войны:

«Ваша статья убеждает нормальные умы и сердца людей разного возраста, включая и юное поколение: глумление над трагедией Великой Отечественной войны – опасно для жизни Отечества, опасно для каждого здравомыслящего человека».

В ответ на публикацию «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...» Г. Владимов – «человек, писатель, патриот России», как он себя позиционировал, – в декабре 1995 года направил в «Книжное обозрение» открытое письмо В. Богомолову, в котором не столько отвечал по существу на его критику, на указание содержащихся в романе «Генерал и его армия» и статье «Новое следствие, приговор старый»¹ недостоверных исторических фактов, передержек и подтасовок, сколько бросался необоснованными (по незнанию или злему умыслу) обвинениями, прямыми и грубыми оскорблениями и клеветой в адрес В. Богомолова.

Редакция «Книжного обозрения» предложила В. Богомолову ответить Г. Владимову так же публично. Ознакомившись с аргументированными доводами В. Богомолова и представленными им свидетельствами и официальными документами, редакция «КО» сочла целесообразным одновременно опубликовать и письмо Г. Владимова «Когда я массировал компетенцию...», и ответ В. Богомолова «Ложь и клевета – не аргумент в споре»².

¹ Знамя. // 1994. №№ 4, 5, 8.

² Книжное обозрение. 1996. 19 марта. № 12.

Поскольку газета солидаризировалась с В.Богомоловым, его статья была опубликована как редакционная. Рукописный текст этой статьи находится в архиве В.Богомолова.

Дискуссия о романе Г.Владимова продолжалась несколько лет. В ней приняли активное участие многие критики, литературоведы и историки. Одни, даже несмотря на отмечавшиеся художественные несовершенства романа, исторические перекосы и недостоверности, отстаивали корпоративные интересы и наградили автора за роман «Генерал и его армия» Букеровской премией, другие – разделяли принципиальную, аргументированную документами, критику и позицию В.О.Богомолова.

Спустя пять лет Рейн Карастин¹, возвращаясь к этой полемике, заключил:

«Разгоревшийся в 1996 г. спор по поводу романа Г.Владимова «Генерал и его армия» – в основе своей нравственный: это расхождения исторического, документального с литературным воспроизведением. Вопросы совести у В.Богомолова оказались неразрывно связанными с вопросами истории».

В последние годы отношение к этой теме и предмету расхождения мнений, а главным образом, к оценке личности Власова, несомненно, стало более взвешенным и трезвым. И в этом, безусловно, большая заслуга писателя-фронтовика В.О.Богомолова.

В защиту ветеранов войны Владимиром Осиповичем и был сделан набросок статьи «О льготах участникам ВОВ».

Книга «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...» не была завершена. Огромный черновой и подготовительный материал находится в архиве В.Богомолова.

Владимир Осипович человек крайне не публичный, за всю свою творческую жизнь ни разу не принял участие ни в одном публичном мероприятии: конференции, обсуждении, теле- и радиовыступлениях о себе и своем творчестве, и очень редко, неохотно, только по крайней необходимости давал интервью. В. Богомолов был убежден, что комментировать свою работу, а тем более уточнять или прояснять написанное

¹ Два генерала. // Звезда. 2000. № 3

произведение — занятие, по меньшей мере, довольно странное; считал, что все, что он хотел сказать — сказано в его произведениях, и желал лишь, чтобы о них судили не по законам внешнего успеха, а по законам литературного мастерства, все остальное — и личность автора, и его частная жизнь, и детали творческой работы, и многое другое — суета сует.

Вместе с тем в частных беседах с литературоведами, критиками и журналистами был абсолютно искренен, прямолинеен, до конца откровенен, всегда четко определял свою позицию, когда речь шла о том, что его волновало или что было смыслом его жизни.

Он неоднократно повторял: «Трагедия жизни человека и причина его страданий — несоответствие желаний и возможностей. Человек — это дробь, у которой числитель — достоинство, а знаменатель — его мнение о себе. Большинство людей в жизни довольны собой и недовольны своим положением и оценкой их в обществе. Я же недоволен только собой и вполне доволен своим положением в обществе — никому не служить и не прислуживать, ни от кого не зависеть, сведя до минимума контакты с госструктурами (кроме домоуправления). Меня абсолютно не волнуют внешние атрибуты успешности».

Владимир Осипович всю жизнь кропотливо, требовательно работал над языком, фразой, манерой изложения, выработав свой, «Богомоловский», стиль», который не спутаешь ни с одним писателем, когда одно лишь слово или фраза, как броневой снаряд, точно попадает в цель.

Творческое наследие, оставленное Владимиром Богомоловым, не столь велико, но даже из представленного в этом сборнике можно понять, каким разноплановым талантом он обладал: ни одно из его произведений ни в чем не повторяется — ни в сюжете, ни в образах, ни в языке.

Но надо было еще не столько уметь блестяще писать, сколько иметь честь, совесть и чувство нравственной ответственности, чтобы, пропустив через душу и боль своего сердца, передать и донести читателям свою любовь к людям. Память его сердца всю жизнь хранила горький след войны, и все его произведения — ответ на «заказ» собственной совести.

В жизни и быту Владимир Осипович был скромным человеком, никогда и никому не завидовал, не подсиживал и не плел

интриги, жил, как хотел, и умел быть свободным от условностей, занимаясь только тем, чем его одарила природа — талантом творчества, никогда не поступался своими принципами, что позволяло ему быть НЕЗАВИСИМЫМ.

В 1984 году в связи с 50-летием Союза писателей, в котором Владимир Осипович никогда не состоял, его наградили орденом Трудового Красного Знамени, от получения которого он отказался. В литературной тусовке, обсуждая его отказ, ему приписывали политический или общественный протест, что побудило В.О.Богомолова дать пояснения:

«Я не общественный человек и не стал бы говорить о политическом или общественном протесте, которые, как правило, предаются огласке. Я противник популистских действий, для меня существенны мои убеждения, а не имидж.

Вся система награждений, поощрений и обвешивания различными ярлыками и этикетками, особенно в эпоху Брежнева — Черненко, была превращена, не только в литературе, в откровенную порнографию и, кроме поначалу брезгливости, а позднее — омерзения, ничего не вызывала.

И в литературе, и в искусстве людей более всего поощряли не за творческие свершения и талант, а за идейное единение с Системой, за безоговорочную поддержку и восславление всех мероприятий Коммунистической партии и Правительства, за активное участие в пропагандистских кампаниях и, более всего, за поддержку и одобрение в угоду властям репрессивных карательных функций в отношении Сахарова, Солженицына и других инакомыслящих, — палачество вознаграждалось с наибольшей щедростью.

Поэтому награда не может быть принудительной. Правом Черненко было кинуть мне «железку», а брать ее или не брать — это уже мое личное дело».

Владимир Богомолов рассказал: «В 2001 году в Москве и Екатеринбурге озаботились тем, что я уйду из жизни, не имея никаких поощрений, и выдвинули меня на присуждение премии А.Д.Синявского «За достойное творческое поведение в литературе» и еще двух, в том числе и восстановленной в этом году премии имени замечательного разведчика Николая Кузнецова, но принять их я не мог в силу своих убеждений.

Я убежден, что литературное произведение после опубликования должно жить самостоятельно, без каких-либо подпорок и поддержек, а автор должен обходиться без каких-либо поощрений, без различных ярлыков и этикеток. Это не сегодняшняя моя позиция – в этом убеждении я пребываю несколько десятилетий. Я не претендую на непогрешимость и никогда не предлагал другим свой образ жизни и поведения, хотя и не считаю их неверными».

В апреле 2003 года решением комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО В.О.Богомолов был награжден почетным дипломом и медалью «За выдающийся вклад в мировую культуру».

Как сказал Владимир Осипович: «Это единственная принятая мной награда за многолетний литературный труд».

Таким Человеком и Писателем был Владимир Осипович Богомолов.

Раиса Глушко
2013 г.

Содержание

Автор о себе	5
ПОВЕСТИ	
Иван	13
Зося.....	74
РАССКАЗЫ	
Первая любовь.....	127
Десять лет спустя	131
Академик Чельшев.....	165
МИНИАТЮРЫ И КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ	
<i>Миниатюры</i>	
А, может, это и не вы.....	179
Пиво	179
Истинная вера	180
Житейская философия.....	181
Не защитила.....	181
Сам писал!.....	181
Сосед по палате	182
Кругом люди.....	182
Участковый.....	184
Сосед по квартире	184
Воспитание чувств	185
Неподкупная.....	185
Надай!	186

Короткие рассказы

Случай в госпитале	188
Презрение.	190
Второй сорт	191
Кладбище под Белостоком	193
Ожидание	194
Сердца моего боль	195

СРАМ ИМУТ И ЖИВЫЕ, И МЕРТВЫЕ, И РОССИЯ.....	197
--	-----

ЗАМЕТКИ

Как я получал орден	245
О положении в литературе.	249
О льготах участникам ВОВ.	254
С матом по жизни	257

ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИИ РОМАНА «В АВГУСТЕ СОРОК ЧЕТВЕРТОГО...»	261
--	-----

<i>Р. Глушко. К творческой биографии Владимира Богомолова</i>	331
---	-----

Литературно-художественное издание

БОГОМОЛОВ
Владимир Осипович
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ

Редактор

Н.Б.Мордвинцева

Художественный редактор

Т.Н. Костерина

Технолог

М.С. Кырбаш

Оператор компьютерной верстки

А.Ю. Бирюков

Корректоры

О.Н. Архипова

Подписано в печать 20.03.2013

Формат 60х90/16

Тираж 5000 экз.

Заказ № 4601.

Книжный Клуб 36.6

105082, Москва, Бакунинская ул., д. 71, стр. 10

Тел.: +7 (495) 926-45-44

email: club366@club366.ru

Информация в Интернете: www.club366.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Ульяновский Дом печати»
432980 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

ISBN 978-5-98697-306-7



9 785986 973067

